

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 5 (2 2) / 2 0 1 8



ЮРИЙ
ФАНКИН
МУРОМ

4



ЕЛЕНА
ТУЛУШЕВА
МОСКВА

53



ЕВГЕНИЙ
СЕМИЧЕВ
НОВОКУЙБЫШЕВСК

67



ЛЮДМИЛА
ЕФРЕМОВА

73



ДЕНИС
ЛИПАТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

84



АНДРОНИК
РОМАНОВ
МОСКВА

104



ДИАНА
КАН
ОРЕНБУРГ

119



ДМИТРИЙ
ЛАРИОНОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

129



АЛЕНА
АЛЕКСЕЕВА
С.-ПЕТЕРБУРГ

148



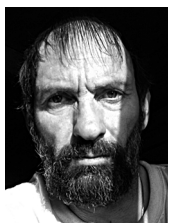
АННА
СЕНИЧЕВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

165



РОМАН
СЕНЧИН
ЕКАТЕРИНБУРГ

171



МИХАИЛ
ТАРКОВСКИЙ
С. БАХТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

191



ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН
МОСКВА

198



АНДРЕЙ
РУМЯНЦЕВ
МОСКВА

205



КСЕНИЯ
КУЗНЕЦОВА
АРЗАМАС

239

В НОМЕРЕ

Проза

Юрий ФАНКИН СОЛОВЬЕМ ЗАЛЁТНЫМ.....	4
Инна ЧАСЕВИЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕСА	27
Владимир КЛИМЫЧЕВ ПЛАГИАТ	35
Александр и Сергей ЮДИНЫ КУРЬИ НОГИ	40
Елена ТУЛУШЕВА ПАПА	53
Владимир СЕДОВ НЕРАВНЫЙ БРАК	62

Поэзия

Евгений СЕМИЧЕВ ОСКОЛКИ НЕБЕСНОГО СВЕТА	67
Людмила ЕФРЕМОВА НЕ ПРЯЧА СПИНЫ	73
Михаил ПЕСИН ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТЕТРАДЬ	79

Проза

Денис ЛИПАТОВ НАСЛЕДНИКИ ШАМБАЛЫ	84
Татьяна ПАНКРАТОВА ВОВКА.	90
Лев ГУРЕВИЧ «ЧАРДАШ» МОНТИ	97
Андроник РОМАНОВ РОДИНА.	104
Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ МУЗЫКА ИХ ДЕТЕЙ	110
Павел ТИХОНОВ НОЧНЫЕ СТРАННИКИ.	113

Поэзия

Диана КАН ...ЧТО ОТ ВЕКУ ЗОВУТ ЕЁ – МАГДАЛИНА	119
Эльвира КУКЛИНА ТЫ ДЫШИШЬ, ПОЧВА, – НЕЗАМЕТНО ГЛАЗУ...	125
Дмитрий ЛАРИОНОВ ОСТАНЕШЬСЯ С СОБОЙ НАЕДИНЕ...	129
Владимир БОЛОХОВ ОКТЯБРЬСКИЕ ОКТАВЫ.	133

Из будущих книг

Олег СУХОНИН

ГОЛОВЫ УЖЕ НЕТ, А КУРИЦА ЕЩЁ БЕЖИТ 136

Переводы

Алёна АЛЕКСЕЕВА. Из древнекитайской поэзии 148

Фестивали

Катерина КРУПНОВА

С ЛЮБОВЬЮ, ПЕПЕЛ. Рассказ 154

СЧАСТЬЕ С УСАМИ. Рассказ 157

Анна СЕНИЧЕВА. Стихи 165

Наталья КРАСИУКОВА. Стихи 167

Ирина БАТАРЕВА. Стихи 169

Публицистика

Роман СЕНЧИН

ПО ПОВОДУ И БЕЗ. Заметки о литературе, театре, кинематографе 171

Михаил ТАРКОВСКИЙ

УХОДЯЩАЯ НАТУРА ЕНИСЕЙСКА 191

Евгений ШИШКИН

КЛЕВЕТНИКАМ «БЕЛЕЮЩИХ БЕРЕЗ» 198

Вехи памяти

Андрей РУМЯНЦЕВ

«...ВСЯ СУТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ»

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 205

Алексей ШОРОХОВ

ТУРГЕНЕВ: РУССКИЙ ОТВЕТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

(Культурно-исторические типы Запада и России) 215

Валерий СУХОВ

«ВЕКОВ ТРУБЫ ЭТУ ПРОТРУБЯТ ВСТРЕЧУ». 221

Литпроцесс

Андрей КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ

КРОВЬ И ПРАХ, или Русская «Игра престолов». 225

Лариса МИРОНОВА

ЭД ПОБУЖАНСКИЙ: «Я СЛОВАМИ ЛИШЬ И ОБРАЗОВАН» 233

Стихи по кругу

Евгения ОРЕХОВА 235

Сергей СКУРАТОВСКИЙ. 235

Валерий СЕРЯКОВ 236

Игорь ЛУНЁВ 237

Андрей ГАЛАМАГА 238

Ксения КУЗНЕЦОВА 239

Юрий ФАНКИН

Родился в 1940 году в деревне Крюковка Березовского района Липецкой области. Окончил историко-филологический факультет Муромского педагогического института. После окончания службы в Советской армии работал в городских школах, педучилище и радиотехникуме.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал – XXI век», «Русская провинция».

Автор исторических романов «Осуждение Сократа» и «Императорские игры», повестей «Городушки», «День поминанья и свадьбы», «Очищение огнем», «Прощай, лес, прощай, дуброва!», «Ястребиный князь», «Межа», «Баю-баюшки-баю», сказов о муромских святых. Рассказ «Прощание с Дэлиром» включен в антологию советских рассказов, изданную на немецком языке в Лейпциге.

Лауреат Международного литературного конкурса им. Андрея Платонова (2003), лауреат областной премии имени С. К. Никитина (2007). Награжден памятной медалью «К 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова» Российской муниципальной академии (2005).

Член Союза писателей России. Живет в Муроме.

СОЛОВЬЕМ ЗАЛЁТНЫМ...

Повесть

1

Ранней солнечной осенью, под лепет падающих листьев, так похожих на спокойный шорох слепого дождя, писатель Полудин возвращался из продуктового магазина в свою квартиру. И вдруг, подходя к подъезду, он ощутил неожиданный толчок в спину. Толчок не был бесцеремонно-грубым – он даже походил на давно забытую детскую шалость. И всё же в этом толчке угадывалась обидная жёсткость.

Полудин оглянулся и никого не увидел.

За его спиной стояла... старость.

Как только перевалило за семь десятков, Полудин по-другому ощутил движение времени. Казалось, остатние годы обрели особые, полётные, крылья: не успеешь с весной распротиться, как слёзная осень в окна стучится. Накопилась возрастная усталость, которую многие люди, не особенно вдумываясь, склонны принимать за лень. И всё чаще, несмотря на свою изжитость, у Полудина возникало странное ощущение возвращения в детские годы: так же, как когда-то, стал бе-

лым волос, появилась неустойчивая – в пору материнскую руку ищи – походка, а голос истончился до ломкости.

Ему часто вспоминалась бабушка по отцу, Варвара, прожившая почти сто лет. Угнетённая немощью, она не раз обращалась к Богу: «Господи! Когда же ты возьмёшь меня к себе?» Тогда, в пору беззаботной молодости, Полудин не понимал эту искреннюю мольбу. Казалось, бабушка в душе лукавит и ищет у ближних обыкновенного сочувствия.

Теперь Полудин с особым интересом разглядывал в семейных альбомах старые фотографии. Он сравнивал знакомые лица с обликом тех, кто давным-давно ушёл в мир иной, и ему становилось грустно. Он замечал, что некий, «усреднённый», образ человека терял черты былой открытости и простодушия.

Порой, мысленно отстраняясь от всего бренного, Полудин ощущал себя каким-то пришельцем, невольным соглядатаем в земной жизни, и тогда многие человеческие поступки виделись ему нелепыми, непонятными, да и сам телесный облик человека вызывал у него удивление.

Перед ним, как и перед каждым человеком, оказавшимся на обрыве земной жизни, вставал неумолимый, волнующий своей тревожностью вопрос: а что будет дальше? Да, тело бренно. Да, душа бессмертна. Но что ожидает весь род человеческий? Рано или поздно, по своей вине или по воле Божьей, человечество исчезнет, повторив судьбу отдельного человека. Гениальные книги превратятся в прах. Навсегда умолкнет земная музыка. И каково будет нашим осиротевшим душам, лишившимся церковного поминовения?

Кто вспомнит нас на безлюдной Земле, которая тоже не вечна и когда-то превратится в бесплодную пыль? И как, видя такое будущее, не опустить бессильно руки и не впасть в тяжкий грех уныния и безразличия?..

Полудин мучился, осознавая бесполезность своего писательского труда, и всё же, в силу какой-то непонятной инерции, подходил к своему письменному столу, где застыла, как изваяние, его пишущая машинка, и начинал, как он выражался, «отаптывать место» для новой повести: записывал на маленьких листочках отдельные слова, фразы.

Он знал, о чём будет писать, но, чтобы стронуться с места – не хватало первой фразы. Этой фразе Полудин придавал особый, магический, смысл. Эта фраза могла быть короткой, простой. Она могла быть довольно длинной, цветистой. Но в любом случае первая фраза должна была тронуть душу и вызвать неудержимое желание писать дальше. Писать, как дышать. Не считаясь со временем и со своими сомнениями.

Полудина волновали картины былой охоты. Перед глазами вставал покойный отец – страстный охотник по перу. И, отдавшись воспоминаниям, в каком-то блаженном забытии, Полудин тянулся к стене, где висела его ижевская двустволка. Он оглаживал приклад, трогал замершие курки, и ему явственно, как будто это было вчера, слышались терпеливые отцовские наставления:

«Левый глаз закрой! Твёрже стой! Крепче прижимай приклад к плечу! Мушку веди снизу вверх! Так, так... Довёл до цели, притаил дыхание и плавненько-плавненько нажимаешь курок...»

Постаревший Полудин, прищурившись, начинал целиться в чучело глухаря. Дуло немножко гуляло, и Полудину требовалось некоторое время, чтобы успокоить его.

Однажды, когда он намеревался спустить курок, в его кабинет заглянула жена:

- Ты что делаешь?
- Да вот... – замылся Полудин. – Охочусь!
- Убрал бы ты его подальше! – посоветовала жена. – От греха...
- Куда подальше? – возразил Полудин. – В землю, что ли, закопать?

И, вернув ружьё на прежнее место, начал копаться в раздвижном ящике с патронами. Он искал спичечный коробок с уже использованными дробинами. Как утверждал старый охотник Ерофеич, патрон с такими дробинами никогда не даст «пуделя», точно поразит цель.

«Счастливая» дробь, подобно первой художественной фразе, будоражила воображение Полудина.

«А не махнуть ли мне в деревню, к Полковнику?» – думал он. Когда он отвлекался от своей немощи, это желание казалось ему таким простым, бытовым.

Полковник, брат жены Полудина, почти его одноклассник, проводил всё лето в благодатных некрасовских местах, в лесной деревне Алешунино. В свою московскую квартиру он не спешил. Несколько лет тому назад после изнурительной болезни ушла в мир иной его жена Полина, оперившиеся детишки-слётки разлетелись по разным городам и весям, и оставшийся в одиночестве Полковник тянул с возвращением в новопрестольную не только до прощальных журавлиных криков, но и до «первых мух» Покрова.

Иногда, сильно заскучав, Полковник звонил Полудину:

- Физкульт-привет! Как поживает рыцарь печатного образа?
- Слава богу! – настраиваясь на шутейный лад, отвечал Полудин. – Вашими молитвами, как колами, подпираемся!
- В гости не собираешься?
- Да вот... – соображал Полудин. – Думаю!
- Чего думать? – наседал Полковник. – Надо прыгать!
- Ладно! – соглашался Полудин. – Может, на следующей неделе!
- Давай! Давай! – торопил Полковник. – Поговорим вдоволь! Хватим по грамммульке!
- По капелюшке! – улыбался Полудин.
- Да, да, по капелюшке, возведённой в определённую степень! – соглашался Полковник. – Ушицу сварганим, а бог даст, и вечерку отстоим...
- Хорошо бы! – вздыхал Полудин.

Полковник, помедлив, сбавлял обороты:

- За себя, правда, не ручаюсь. У меня катаракта на правом глазу. Рюмку без проблем выцеливаю, а вот насчёт охоты. ..
- Да ты не беспокойся! – утешал Полудин. – Вдвоём и с одним ружьишком можно поохотиться. Я прицельюсь – ты нажмёшь!
- Разве так... – соглашался Полковник. И снова в его голосе появлялся командирский напор: – Ну давай! Давай! Не тяни кота за хвост! Составь компанию отшельнику!

«Знаем мы этого отшельника!» – усмехался Полудин.

И, пожалуй, сомневаться в глубоком одиночестве Полковника у него были все основания. Однажды, во время очередного телефонного разговора, Полковник резко понизил голос и кому-то ласково сказал: «Ну что, подруга? Ещё плеснуть пивка?»

После разговоров с Полковником Полудин оживал.

- Надо ехать! – говорил он себе. – Ну конечно же, надо ехать!

И удивительное дело – словно подстёгивая его – Полудину стали сниться яркие охотничьи сны.

Вот он с ружьём наперевес приближается к тетеревиному току. Он даже не перебирает ногами – плывёт, словно невесомый утренний туманец. Ветерок-тиховей слегка шевелит багряные листья осинника.

На полянке, отороченной узколистым ивняком, он видит свежие наброды, пух и перья. Пуха невероятно много – такое ощущение, что на этом месте кто-то, озорничая, располосовал с десятков пуховых подушек.

«Почему так много следов и пуха? – удивлённо думает Полудин. – Ведь сейчас осень... Время токов отошло...»

Словно желая изменить картину, налетает сильный ветер, разносит пух в разные стороны, и место весеннего токовища начинает покрывать косо летящая листва.

«Конечно, осень!» – говорит он себе, и это означает, что ему нужно идти через сосновый бор к брусничным болотам. По осени тетерева кормятся ягодой, а ночуют они чаще всего на деревьях, предпочитая нижние ветки высоким.

Он идёт, не испытывая усталости, и такое ощущение, что само ружьё, которое он держит наперевес, увлекает его вперёд. Только держи крепче – иначе оно вырвется из рук. И он держит его изо всех сил, плотно прижимает к плечу, хотя в этом как будто нет никакой необходимости.

«Зарядил ли я ружьё “счастливым” патроном? – волнуется Полудин. – Кажется, зарядил...»

Впереди заполошно заверещала сорока.

«Предупреждает!» – досадуя на лесную ябедницу, думает Полудин. И плывёт ещё осматрительнее, осторожнее, то и дело поглядывая себе под ноги – как бы не наступить ненароком на притаившийся сухой сучок...

Он увидел его, а скорее, почувствовал, ещё не видя, но уже рисуя добычу во всей дикой красе.

Большой чёрный глухарь тяжело, словно индюк, переступал на сосновом, в золотистых чешуйках, суку. Он забавно наклонял голову и иногда издавал хрипловатый горловой звук. Казалось, лесной петух пытается откашляться после брусники, которая не успела пройти в его тугой лоснящийся зоб.

Полудин заволновался. Казалось, сердце колотится уже не в груди, а где-то в горле. Ещё немного, и он станет откашливаться, как этот сытый матёрый глухарь.

Крадучись, Полудин двинулся дальше – от дерева к дереву. И неожиданно, с каждым шагом всё больше и больше, он почувствовал, как его ружьё, прежде такое лёгкое, обретает вес, тяжелеют ноги, а в правой руке появляется предательская осиновая дрожь.

Он не сводил восхищённых глаз с этой дивной иссиня-чёрной краснобровый птицы и неудивительно, что, заглядевшись, наступил на скрытую в листве сухую ветку. Раздался треск.

Лесной петух насторожённо, по-гусиному вытянул шею.

Полудин стоял на одной ноге, как болотная цапля, боясь сделать лишнее движение. Задрал голову, он смотрел на потревоженную птицу и был готов, если бы это было возможно, превратиться в одну из неподвижных сосен.

Ему начало казаться, что он и дикая птица смотрят глаза в глаза, и он, обеспокоенный напором чёрных, смородиновых зрачков, опустил голову и перевёл свой взгляд на валежину, которую предстояло перешагнуть.

Глухарь вышел на голый сук, остановился. Ещё мгновение, и он может взлететь.

«Резче! Резче делай вскидку!» – сказал себе Полудин. И вдруг, совсем нехстати, засомневался: на какой курок нажать? Почему-то подумалось, что правый курок слабее и может подвести.

«А если ударить дублетом?» – подумал он и сразу вспомнилось мнение Ерофеича: дублетом бьёт тот, кто не верит в первый выстрел.

Полудин знал: по осени косачи, как никогда, крепки к выстрелу. Куда следует метить? Может, прямо в голову?

Ружьё продолжало тяжелеть. Медлить было нельзя.

Быстрым, выверенным движением Полудин поднял ружьё и попытался нажать спуск. Но указательный палец, коснувшись крючка, застыл, словно парализованный.

Косач с грохотом сорвался с дерева и, закудахтав, словно курица, скрылся среди прямых, строевых сосен. Сизоватое пёрышко, как напоминая о нём, покружилось в воздухе озорным пропеллером и упало на сосновую иглицу со следами птичьего помёта.

Полудин опустил – будто уронил – свое тяжёлое, как дедовская «фузья», ружьё и поднёс к заслезившимся от напряжения глазам указательный палец.

Палец был жёстким, безжизненным.

Полудин поморщился и стал с усердием растирать холодные фаланги.

«Да бог с ним, с этим глухарём! – подумал он. – Вернуть бы палец!»

– Вернуть бы палец! – сказал он, просыпаясь.

– Что с тобой? – спросила жена.

– Да так... – неохотно отозвался Полудин. – Приснится же такая ерунда! – И украдкой потрогал тёплый указательный палец, несколько раз согнул...

Нормальный палец, но почему подвёл?

Этот сон до глубины души всколыхнул Полудина: надо собираться к Полковнику, в деревню! Сколько ещё можно тянуть?..

Ах, как радостно, на удивление легко проходили его бывлые охотничьи сборы! Не нужно было ломать голову, что с собой взять, составлять список-памятку. Необходимое помнилось, словно таблица умножения: ружьё, патронташ, сумка, термос с горячим чаем, еда. Он отбирал патроны с разной дробью: нолёвка – для гуся, четвёртый номер – для уток, пятый или шестой – для тетерева, восьмой – для вальдшнепа.

Его действия были почти машинальными. Руки творили своё привычное дело, а охотничья душа уже гуляла в желанных некрасовских пределах.

Теперь же Полудин сосредотачивался на самых обыкновенных бытовых действиях и злился, когда что-то не получалось. Как на грех, куда-то запропастился прорезиненный плащ, а когда он нашёлся в чулане, то на нём не хватало несколько пуговиц. Жена начала пришивать. А потом она обнаружила дырку под рукавом.

«Когда всё это кончится! – досадовал Полудин. – Ну сколько можно!»

Перед сном он подошёл к окну. Лиловые облака, вытягиваясь, ползли над погружающим во мрак городом, и Полудин поймал себя на постыдной мысли: а вдруг пойдёт дождь, и он, в очередной раз, отложит утомительную поездку. ..

Однако на всякий случай внимательно осмотрел ружьё, проверил курки. Всё было в порядке: правый, который ему казался во сне ненадёжным, работал легко.

«Зачем брать с собой патронташ? – думал Полудин. – Лишняя тяжесть... Возьму-ка парочку патронов с той самой, “счастливой”, дробью, и хватит!»

На рассвете, протирая глаза, Полудин подошёл к окну. Синее, очистившееся от облаков небо не давало ему никаких шансов на отсрочку.

– Ну что, брат? – вздохнул Полудин. – Надо прыгать... Ни пуха тебе ни пера!

Жена трижды перекрестила охотника, и он, вялый, недовольный, как школьник, которого только что оторвали от сладкого сна перед отправкой в школу, вышел на безлюдную улицу. И чем дальше он удалялся от своего городского дома, чем сильнее чувствовал ружьё, которое поддавливало плечо, тем легче становилось на душе.

«Всё-таки я молодец! – говорил себе Полудин. – Ну, конечно же, молодец!»

2

Он вышел возле деревенского магазина, потоптался, приходя в себя, и по каменистой, раскрошенной в мел, дороге направился к дому своего шурина.

Из крайней избы ему навстречу вышла пожилая женщина с пустым ведром. Заметив Полудина, она улыбнулась и возвратилась назад к крыльцу. Похоже, она верила в старую примету: пересечёшь кому-то дорогу, и уже не будет встречному человеку пути.

– Доброе утро! – крикнул Полудин. – Спасибо!

– С добрым утречком! – певуче отозвалась женщина. – На охоту собрались? Удачи вам!

– Как повезёт! – неуверенно сказал Полудин.

– А почему не повезёт? Всё у вас получится! – Женщина говорила уверенно, и эта уверенность невольно передалась старому охотнику.

Он открыл знакомую калитку, и к его ногам, потряхивая ушами, бросилась рыжая охотничья собака.

– Дамка! Дамка! – ласково сказал Полудин. Кажется, она вспомнила его: потёрлась в ногах, заглянула в глаза. И помчалась к распахнутой двери, чтобы предупредить своего хозяина.

– Гав! Гав! – словно не пролаяла, а проговорила Дамка, и это означало: к нам гости!

А гость уже поднимался по давно некрашенным ступеням, входил в просторный коридор, разглядывая вешалку, на которой сложно было рассмотреть какой-либо крючок – так много висело разной одежды: весенней, летней, осенней и даже зимней.

Над дверной притолокой торчала вделанная в берёзовую круговину большая щучья голова с оскаленной пастью. Полудину показалось, что голова, по сравнению с его предыдущим приездом, усохла, а белёсая щётка зубов заметно передела.

– Ну наконец-то! – сказал Полковник, встречая Полудина.

Они обнялись, похлопали по плечам.

Полудин с живым любопытством приглядывался к старому гусару. Пожалуй, Петрович не очень изменился внешне. По-прежнему держится с вальяжной прямоотой, ничуть не стесняясь своего выпирающего колесом живота. А, собственно, чего стесняться? Как говорит Петрович, «всё, что выше пупка, можно считать грудью». И на расхожий вопрос

о здоровье у него всегда есть достойный ответ: «Хуже, чем было, но лучше, чем будет».

И его тёмные усы ещё не стали уныло-бульбовскими.

– Пра-ашу к столу! – Полковник сделал широкий гостеприимный жест. – Чем богаты...

На столе, в глубокой миске, желтели губастые сосновые рыжики, приправленные густой деревенской сметаной и посыпанные кольцами лука. А из кухни уже тянуло сладковато-пряным духом ухи и слышалось, как смачно, по-тетеревиному, чуфыкает яичница на сале.

Полудин стал раздеваться.

– Да складывай всё на лавку! – не выдержал Полковник. – На мою вешалку повесишь – не скоро найдёшь! Сапоги в угол поставь! Дамка, подвинься! Дай место человеку!

Полудин улыбался. Ему нравилось, что Полковник не заморачивает себя бытом, живёт, как ему хочется, без оглядки на досужих людей. Та уверенность, с которой держался Полковник, могла убедить каждого, кроме женщин, что он поступает правильно.

– А я, признаться, маленько накатил! – разглаживая усы, сказал Полковник.

– Ну что ж... – согласился Полудин. Глядя на уютного, довольного собой, шурина, и ему захотелось выпить. А ведь в городе его не тянуло к спиртному. Вина, которые он держал на всякий случай, про запас, вполне могли превратиться в коллекцию.

– С чего начать? – задал Полковник известный ленинский вопрос и без лишних колебаний, присущим оппортунистам, бодро ответил: – Начнём с ушицы и моей «целебной». Твою казёнку пока уберём.

Налили янтарную, играющую солнечными блёстками, ушку в большую общую миску и дружно взялись за деревянные ложки.

– Ну, за встречу! – проникновенно сказал Полковник и, смежив живые карие глаза, которые так не вязались с его возрастными морщинами, опорожнил рюмку. – Ух!

– Сам ловил? – спросил Полудин.

– Частично, частично... – признался Полковник.

– Стреляешь? – пытал Полудин.

– Какая на хрен стрельба! С этой катарактой всякую охоту забудешь... Рыбку, правда, полавливаю. Да и то с берега. Лодка разохлась, прохудилась, а смолить да конопатить лень.

– Лень! – как эхо, отозвался Полудин. Он вполне понимал своего сверстника.

– Возраст, брат! – задумчиво сказал Полковник. – Молодость ни за какие деньги не купишь! – И тут же бедово, словно косач на весеннем току, повёл широкими плечами. – Но ничего, жить ещё можно. Пока карман с шириной не путаю!

Полудин заулыбался.

Полковник вытер губы и деловито, словно охотник, работающий с баркляем, стал приминать флотский табак в прокуренной трубке.

– Как Абориген? – спросил Полудин. – Не завязал?

– Куда там! Бальзамируется. Со ссылкой на фараонов. Говорит: «Курить буду, но пить не брошу!»

– Охотится?

– Бывает. Если тетерева с домашним петухом не перепутает. – Полковник разжёл трубку и пустил в потолок тугую струйку дыма.

Полудин, задумавшись, стал сгибать и разгибать указательный палец.

Полковник насторожился:

– Ты чего пальцем барабаешь?

– Тренируюсь. Боюсь, как бы рюмка из руки не выскользнула.

– Молодец! – похвалил Полковник и, задорно поиграв глазами, скомандовал: – Чашки наголо!

«Чашки», конечно, не «шашки», но Полудин, отозвавшись на гусарский клич, быстро поднял очередную рюмку. От любовно выделанной «целебной», настоящей то ли на ягодах боярышника, то ли на калгановом корне, ему стало тепло и по-особому уютно.

Уйдя в себя, Полудин вспоминал свой недавний сон и представлял, как завтра пойдёт в лес, на тетеревиные тока. Разумеется, сейчас, по осени, не бывает жарких тетеревиных свадеб, и всё же, как правило, лесные петухи держатся недалеко от своего токовища.

Мощная сосна с обломанным, почти засохшим, суком, возле которого тогда угнездился матёрый косач, вставала перед его мечтательными глазами. И почему-то, может быть, очень наивно, думалось: возможно, и сейчас тот же самый тетерев, поджидая Полудина, сидит на той же самой вековой сосне. Их поединок будет продолжен. С той разницей, что главный палец не подведёт его.

И снова Полудин задвигал пальцем. Наколов вилкой тугой, пахнущий хвоей рыжик, рассеянно спросил:

– Как там Маришкин ток, возле Косой лощины?

– И-ишь че-его! – насмешливо протянул Полковник. – Нашёл что вспомнить! Было когда-то токовище. Там, местные говорят, до ста петухов собиралось...

– И что теперь?

– Был ток, да весь вышел. На птицу какой-то мор напал. Одни подошли, а других, ослабших, филины закогтили.

– Неужели ни одного не осталось? – удивился Полудин.

Полковник потянулся к бутылке, чтобы налить:

– Ерофеич говорил: только один уцелел. Самый матёрый. Абориген его недавно в осиннике видел, возле Ям. Сидит себе на самой верхотуре, горькие листочки поклёвывает...

– В осиннике... – задумчиво повторил Полудин, и в голове пронеслось: «Значит, не на сосне. Не там...» – И что же дальше? Неужели не подстрелил?

– Нет, не взял! – Полковник осторожно, чтобы не разлить, чокнулся с Полудиным, помолчал, а после неспешно, отвлекаясь на закуску, продолжил: – Говорит: не захотел. Я ему: «Признайся! Под наркозом был?» А он своё: «Нет, Петрович, ни в одном глазу!» Я, естественно, спрашиваю: «Так в чём же дело? Почему отказала хотелка?» А он ощерился: «Ну сам подумай: зачем мне этот петух? Старый, как мой дед, мясо жёсткое – не ужуёшь! Неужели мне из-за него последних зубов лишаться?»

Полудин рассмеялся, но вскоре, посерьёзнев, призадумался: Абориген, похоже, лукавил...

Полковник, забавляясь, словно подросток, пускал к потолку с пристывшими осенними мухами голубые колечки дыма.

И Полунину, глядя на него, тоже захотелось закурить, по-настоящему почувствовать давно забытую табачную горечь.

– Сигареты есть? – спросил он.

Полковник не удивился странной просьбе, и это очень понравилось Полудину.

Неловко придерживая, он стал разжигать тонкую сигарету с фильтром. Было слышно, как в соседней комнате заливается на разные голоса телевизор.

– Зачем он работает? Выключи! – попросил Полудин.

– Ты его слышишь? – удивился Полковник. – А я привык. Я его даже по ночам не выключаю. Как-то спокойнее с ним...

Полковник, кивнув головой, как будто согласился с просьбой Полудина – да-да, конечно, нужно выключить! – но, потянувшись к рюмке в очередной раз, начисто забыл обо всём.

А Полудину было неловко напоминать: всё-таки в чужой монастырь не ходят со своим уставом.

Дамка лежала возле дверей на цветастом домотканом коврикe. Она, слегка потряхивая головой, поглядывала на пирующих мужиков. В её взгляде порой проглядывала осмысленность, не свойственная животному, и впечатлительному Полудину начало казаться, что Дамка, привыкшая к человеческой речи, всё понимает.

– Та-ак! – сказал Полковник. – А где у нас пиво? – И, почесав лоб, потянулся к стоящему у него за спиной большому холодильнику.

Полудин удивился: Петрович никогда не мешал пиво с «целебной», а если и принимал, то с хорошего похмелья.

– Что с тобой? На пиво повело?

Полковник не ответил. Орудя столовым ножом, открыл тёмную, не успевшую запотеть, бутылку, деловито провёл рукой по стеклу и, взглянув на собаку, спросил:

– Ну что, подруга, ударим по пивку?

Полудин открыл от удивления рот.

Полковник нагнулся к столу, отыскал у себя под ногами замызганную плоску и деловито, словно врач, отсчитывающий больному целебные капли, стал лить живое пиво.

Запахло терпко, хлебно.

Дамка подбежала к миске. Лизнула. Потом, словно стесняясь, покосилась на чужого человека. Полудин пожал плечами: пей, коли хозяин разрешает. Успокоившись, Дамка отвела глаза от Полудина и стала громко, не стесняясь, лакать.

– Как бы не спилась твоя подруга! – сказал Полудин.

– Не позволим! – успокоил его Полковник. – Мы, брат, свою норму знаем. Да и как отказать ей, если хочется? Пей, милая, пей! Может быть, это твоя последняя радость... Ну хватит, хватит! – голос Полковника стал подчёркнуто строгим. – Место! Кому говорю? Место!

Но Дымка не спешила уходить. Слово стараясь задобрить хозяина, она сделала возле пустой миски охотничью стойку.

– Хватит! Хватит! – осаживал Полковник, но собака, похоже, чувствовала в голосе хозяина то ли слабину, то ли трудно скрываемую нежность, и преданно заглядывала ему в глаза. И старый ружейный охотник, вспомнив былые охоты, разразился такой восхитительной тирадой, что Полудину, слушая его, захотелось взять эту речь на карандаш:

– Ах, какая чутыстая была! Работала и верхним чутьём, и нижним. А потяжечка, потяжечка! И стойка! Встанет, как кремлёвский курсант на часах, даже шёрстка не шелохнётся. По птице замечательно работала. Я из-под неё столько гусей-уток заполевал – не счастье. Что делать,

брат! И у меня стойка уже не та. Всё прошло. Как говорится, соловьём залётным юность пролетела.

Дамка помахала послушно лопухой головой и даже не отошла, а как-то отползла к своей лёжке и прикрыла тёмные, с красной окалиной, глаза.

– Лежи! Лежи! – продолжал Полковник. – Слушайся старших по званию! Выпила малость, и на боковую. Верно, Плешивка?

– За что ты её так? – удивился Полудин. – Всё-таки дама.

Полковник заулыбался:

– Однажды забавная история случилось. Дело было весной. Как раз у Дамки линька началась. Лежит она у крыльца. Солнышко припекает. Разомлела моя собачка, глаза закрыла. Вдруг откуда ни возьмись сорока. Прыг моей Дамке на спину и вырвала клоч шерсти. Дамка, естественно, взвыла – и ко мне. Жаловаться на обидчицу. Я хотел по ней из ружья шарахнуть, а её и след простыл. Так и улетела с собачьей шерстью в клюве. Себе гнездо мастерить. Ну а моя Дамка с тех пор всех сорок возненавидела. Как увидит, обязательно облает. Ну и я...

Полковник повинно склонил голову:

– Ну и я иногда, когда не в духе или ради шутки, её Плешивкой называю. Но она не обижается. Правда, Дамка? Гляди: кивает! Вот что значит женское сердце!

За разговорами не заметили, как завечерело. За окном кружились жёлтые листья, скользили по облупленным рамам, прилипали к радужному от старости стеклу.

– А неплохо бы сейчас покомарить! – зевнул Полковник и, словно сдаваясь, протянул руки к потолку.

Полудину такое предложение пришлось по душе: после поездки и обильного застолья он заметно подустал.

На столе всё оставили как было. Даже остывшие куски шуки Полковник не прикрыл тарелкой. Хорошо знал: Дамка пищу со стола никогда не возьмёт, ну а если с потолка сорвётся какая-нибудь сонная муха, то он не из брезгливых!

Полудин сменил брюки на трико и устроился на диванчике возле русской печи. Вместо подушки у него под головой оказалась чья-то куртка-пуховка. И Полковник, не обременяя себя раздеванием, завалился на свою холостяцкую кровать.

Они спали недолго, но крепко. И проснулись, как по команде – словно первые петухи прокричали им полуночную побудку.

Сели за стол чаёвничать. Полковник сразу же, для полноты ощущений, опрокинул рюмку «целебной». Глядя на его ухарство, и Полудин не удержался: плеснул себе половинку. Ну а дальше... Дальше словно и не отвлекались на травяной, вызывающий к благоразумию, чай. Зазвучали во всю мощь душевные пожелания «Будь здоров!» и «Будь здоров!». Полудин почувствовал, как разгорается аппетит...

Полковник, расправив плечи, богатырствовал за столом.

– Обожаю рыбы глазки! – признался он, разделявая руками щучью голову.

– Ну ты и гурман! – рассмеялся Полудин. Чтобы понять шурина, он извлёк из другой щучьей головы белый глаз, похожий на горошину. Осторожно помусолил во рту и догадался, что могло привлечь склонного к изыскам Полковника: рыбий глаз обволакивал нежный жирок.

Два старика сидели за праздничным столом, ели и пили, не думая о возможных последствиях, и их разговор всё больше и больше напоминал голубиное воркованье.

– Хорошо! – сказал Полковник и, отодвинув стол животом, выпрямился во весь богатырский рост.

– Хорошо! – поддержал Полудин и тоже поднялся. Так хотелось размять застывшие ноги...

– А не пора ли нам? – таинственно начал Полковник и, улыбнувшись, замолчал. Его глаза по-молодому загорелись, и Полудин понял, что неугомонного Полковника, как когда-то, потянуло на ночные подвиги.

То, что в таких случаях приходило Петровичу в хмельную голову, очень напоминало какое-то закоренелое мальчишество, блажь, граничившую с глупостью, но почему-то всё, что он предлагал, не вызывало в душе Полудина отторжения.

– На Вишу? – неуверенно спросил Полудин. Сколько раз, завершив дружескую трапезу, они уходили на Озеро – разводили там костерок на тихом берегу, пекли в углях картошку и, если дело было летом, устремлялись наперегонки к стремнине, посеребрённой зыбким лунным светом.

– Далековато, брат! – вздохнул Полковник. – Сейчас не дойдём. Всё-таки полтора километра... – И, чувствуя, как напрягся Полудин в ожидании ответа, сказал: – Лучше сходим к Грушеньке. Давно мы у неё не были. Наверно, заждалась...

Полудин согласно кивнул.

Полковник собирался быстро, деловито: что-то, прищурившись, аккуратно переливал, старательно рассовывал по карманам длинного полевого плаща. А Полудин совсем заблудился в ворохе чужой одежды и, махнув рукой, напялил на себя стёганый ватник с оторванными петлями и даже попытался, вместо своей утеплённой фуражки, надеть на голову замусоленную фетровую шляпу.

– Не по сезону! – отрубил Полковник и, словно заботливая мать, нахлобучил ему, почти по самые глаза, лисью, с выпадающим волосом, шапку.

– Покорно благодарю! – вежливо поклонился Полудин.

Вялым неустойчивым шагом они вышли на улицу, немного постояли, наслаждаясь сладким воздухом. После прокуренной избы голова, казалось, слегка, какими-то пульсирующими толчками, отделяется от тела. Полудину захотелось посидеть на скамеечке, возле крыльца, немного прийти в себя, но Полковник поторопил:

– Не будем тянуть волынку. А то и к рассвету не вернёмся ...

Привыкая к темноте, они вышли на деревенскую дорогу, отделяющую один порядок от другого, и пошли направо, к лесу.

В глубокой необъятной тишине слышался лепет срывающихся листьев. Иногда этот звук походил на сдержанные, затаённые всхлипы. Над странными полуночниками шевелились и мигали крупные осенние звёзды. Дорога, по которой они шли, терялась в дымке дневных испарений – казалось, она, разделяя лес, упирается в звёздное небо.

Они шли рядом, поддерживая друг друга. Хмель постепенно выветривался, и всё же Полудин ощущал в себе заметную неустойчивость, которая даже теперь, на свежем отрезвляющем воздухе, казалась непреодолимой. Оставалось одно: привыкнуть к себе, собраться и, словно подранок, дотянуться на перебитых крыльях до ближайшей деревеньки Красный Бор.

В какой-то момент они оба почувствовали, что, находясь рядом, почти плечом к плечу, не столько помогают друг другу одолевать путь,

сколько мешают: ощутимо толкаются и вот-вот могут подставить подножку. Порвав смычку, они пошли гуськом: Полковник – впереди, посвечивая себе полицейским фонариком, Полудин – позади, стараясь держаться, как человек, шагающий по сугробам: нога в ногу.

Полудин, отключаясь, находился в вязком забытьи. Он не ощущал ни расстояния, ни времени. Иногда ему казалось, что эта дорога будет длиться вечно. И тогда в душе возникала тоска от бесконечности и неопределённости пути.

«Куда мы идём? – сонно спрашивал себя Полудин и вдруг, словно очнувшись, вспоминал: – Ах, да! К Грушеньке...»

И на душе становилось спокойнее.

Он хорошо знал эту дорогу. Но теперь, после долгого отсутствия Полудина в этих краях, лес, примыкающий к дороге, сильно изменился, диковато загустел, и напрасно Полудин старался угадать, где находится «лосиный брод», пересекавший дорогу метрах в ста от Красного Бора. Приходилось полностью полагаться на уроженца этих мест – Полковника.

И всё же, когда Петрович, задумчиво потоптавшись на обочине, свернул с дороги на лесную тропу, Полудин засомневался: верно ли идём?

Опавшие ветки, запорошенные листопадом, постреливали под ногами. Однажды, проходя мимо разлапистой ели, Полудин неловко пригнулся – ветка ловко подцепила его шапку и отбросила в темноту. Полковник, недовольно бормоча, долго водил лучом по жёлтой, под цвет старой лисьей шапки, лиственной опади, а потом, отчаявшись, переключился на ветки. И когда Полудин ощутил на своей голове пробирающий до корней волос холодок, шапка обнаружилась на верхушке можжевельного куста.

Обходя берёзовый пенёк, Полудин споткнулся о выпирающий из земли скользкий корень.

– Куда ты завёл? – не выдержал Полудин.

– Спокойно, спокойно! – отозвался Полковник. – Здесь, даже если очень захочешь, не заблудишься.

«Только не при наших способностях!» – усмехнулся Полудин.

Они продирались сквозь колючие кусты терновника и одичалой сливы.

– Да вот она! – радостно заговорил Полковник. Он широко, словно собираясь кого-то обнять, распростёр руки.

– Здравствуй, Грушенька! – тихо сказал Полудин, дотрагиваясь до сердца – оно колотилось так, как будто он после долгой разлуки пришёл на любовное свидание.

Они стояли у старинного надгробья, припорошенного осенней листвой...

Грушенька! Что они знали о ней? Местные люди рассказывали, что когда-то, может быть, в некрасовские времена, дочь помещика Бурцева, писаную красавицу, невесту на выданье, ужалила в лесу змея. Безутешный отец решил похоронить единственную дочь недалеко от своего дома, в парке, который граничил с садом. Наверное, немолодой, к тому же страдающий болезнью ног, помещик Бурцев очень хотел, чтобы его дочь, даже упокоенная, была как можно ближе к нему.

Они сняли головные уборы.

– Помянем! – тихо сказал Полковник.

– Царствие тебе небесное! – У Полудина было такое чувство, что Грушенька за годы их тайных ночных свиданий стала для него родным, близким человеком.

Не торопясь, тягуче – словно принимая причастие – старики выпили из маленьких металлических стаканчиков, которые брали с собой на охоту. «Целебная», от которой недавно захватывало дух, показалась Полудину очень мягкой, с заметным оттенком густой сладости, напоминающей церковный кагор.

Стояла оглушающая своим безмолвием тишина. Казалось, даже ветхие листья, боясь нарушить земной покой, перестали срываться с деревьев. Полудин неотрывно смотрел на тёмно-синий, с мигающими огоньками, небесный купол. Ему подумалось, что, может быть, в последний раз они посылают земную весточку – поминанье забытой всеми юной Грушеньке. И от ощущения неуютя, острой тревоги ему вдруг захотелось в знакомую избу, где всё так просто, заземлённо и даже строгий лик Спасителя несёт отрадный покой, а не будоражит, как это ночное бездонное небо.

Полковник, закусывая, похрустывал яблоком. А Полудин уже вглядывался в глубину заросшего, соединившегося с диким лесом, помещицкого парка. И вдруг ему привиделась девичья фигура в длинном платье.

– Смотри! – тихо сказал Полудин и показал рукой.

Полковник перестал жевать:

– Туман! Обыкновенный туман!

– Ты посмотри! Посмотри! – настаивал Полудин. – Неужели не видишь?

Полковник хмыкнул:

– С каких пор ты веришь в привидения?

Полудин пожал плечами.

– Туман! – решительно сказал Полковник, и девичья фигура – словно потревоженная бесцеремонным звуком – стала быстро таять и менять узнаваемые очертания.

– Кто знает... Может быть, туман! – неожиданно для себя уступил Полудин, и тут же почувствовал, как потяжелело – будто налилось свинцом – его брэнное тело. Было такое ощущение, что Полудина из недолгого состояния невесомости опустили на грешную землю. Похоже, и Полковник, прислонившийся к гранитному надгробью, тоже был во власти изнурительной тяжести.

Они решили присесть на поваленную, упёршуюся сучьями в землю, старую сосну. Полковник, помедлив, стал откручивать крышечку своей походной фляжки. Полудин безучастно наблюдал за его неторопливыми, выверенными движениями. И так же безразлично, будто это не касалось его, принял из рук Полковника бутерброд с сыром.

– Помянем! – вздохнул Полковник. И, не дожидаясь Полудина, тихо выпил.

А Полудин почему-то медлил. Он словно ждал чего-то...

Колючая ветка царапнула его рукав.

«Терновник!» – приходя в себя, подумал Полудин. И, протянув руку, стал осторожно шарить в ветках, чтобы найти позднюю ягоду. И отыскал её, холодную, мягкую, с надорванной от спелости кожицей.

«А ведь это их ягода! – догадался Полудин. – Из барского сада...»

Не переставая думать о Грушеньке, он неторопливо выпил и закусил сладкой, с едва заметным перебродом, ягодой.

3

Полудин почувствовал, как кто-то, видимо, желая разбудить его, вежливо трясёт краешек свисающего одеяла. Он разлепил глаза, увидел над собой пространство, обшитое сосновыми досками, и вздрогнул от испуга: «Где же я?», но тут же вспомнил, что находится в гостях у своего шурина, а его беспокоит смышлёная Дамка. Догадался он, что хозяин только что встал: иначе Дамка не решилась бы тревожить спящего гостя.

В горле першило. Полудин кашлянул.

– Проснулся? – насмешливо отозвался из смежной комнаты Полковник. – Ну, как головка? Бобо?

– Есть немного! – признался Полудин. Голова, действительно, побаливала, но на душе было спокойно.

– Дур-раки! – сердито, словно отчитывая кого-то из подчинённых, проговорил Полковник. – Ду-ураки!

– Дураки! – легко поддержал Полудин, но, подумав, пошёл на попятную: – А почему, собственно, дураки?

И Полковник, сделав невинные глаза, засомневался:

– Да, действительно... А почему дураки? Что мы такого натворили?

– Никого не убили! – сказал Полудин.

– Никого не ограбили! – с достоинством продолжил Полковник.

– Не спалили! – нашёлся Полудин.

– Не обманули! – проговорил Полковник.

– Даже не оскорбили... – сказал Полудин.

Полковник поднатужился, стараясь отыскать в человеческой породе очередную пакость, но так и не нашёл. Сожалеюще пошевелил пересохшими губами и сделал заключение:

– Стало быть, всё в ажуре. Наша совесть чиста...

– Кто бы сомневался! – улыбнулся Полудин.

Полковник помахал руками и даже попытался сделать несколько приседаний. Но предательски скрипнули суставы, и Полковник, застыв в позе часового, спросил с придыханием в голосе:

– Ну, какой сегодня... сценарий? Точнее, сюжет?..

– Сходим в лес, на Озеро, – сказал Полудин, выбираясь из постели и с трудом пытаясь попасть босыми ногами в растоптанные тапочки. – Может, стрельну пару раз...

– Почему пару? – удивился Полковник.

– Да я взял только два патрона... – признался Полудин.

– А-а! – понимающе протянул Полковник. – Лень тащить? Так в чём проблема? Бери мои. У меня этих патронов, как у дурака махорки.

Полудин промолчал. Неторопливо, с передышками, оделся, поплекал на опухшее лицо из рукомойника на кухне, а потом подошёл с бокалом к лоснящемуся от жара электрическому самовару.

– Ну как? – подмигнул Полковник. – По лампадочке?

– Попозже! – отказался Полудин. – Вечером.

– Вольному – воля! – Полковник с показной лихостью опрокинул рюмку и поправил прокуренные усы. – Предлагать можно, а неволить – грех!

Полудин, не торопясь, попил чайку с зверобойной заваркой и стал собираться на Озеро. Об охоте почему-то не думалось, и всё же он, на всякий случай, решил захватить с собой старое испытанное ружьё. Полковник безучастно поглядывал на его сборы, посасывал горькую трубочку

и, казалось, навсегда пристыл грузным телом к венскому, старинной работы, стулу. Но по мере того как Полудин всё больше и больше преобразался в охотника, Полковник начал проявлять заметные признаки интереса: зашевелился, даже привстал и, размышляя, потёр загорелый, с глубокими морщинами, лоб. И когда Полудин расчехлил ружьё, Полковник уже стоял у него за спиной со связкой бамбуковых удочек.

Пропустив вперёд радостно заскулившую Дамку, они вышли на улицу.

– Может, завести машину? – предложил Полковник.

– Неужели пешком не дойдём? – удивился Полудин. – Какой-то километр...

– Километр и двести метров! – уточнил Полковник. – Как знаешь! Было бы предложено...

Полудину почему-то казалось, что он без труда одолеет дорогу до Озера.

Когда-то он собирался на охоту, словно на затяжную войну: набивал рюкзак по самую завязку, брал патронташ на двадцать четыре патрона... А теперь? Какое-то ружьишко! Ну сколько в нём будет? Не больше трёх килограммов. Неужели не донесёт?..

Лес начинался вблизи деревенских домов, за огородами. Можно было пройти через ближайший, хорошо прокошенный, прогон, но Полковник решил идти, как ему было привычнее, через свой земельный участок.

Огород Полковника, по-холостячки неухоженный, зарос сорной травой – судя по едва обозначенным грядкам, Полковник ничего не сажал, кроме неприхотливой «закуси»: ранних огурцов да сочного лука-батуна. На красных обгорелых кирпичках, напоминая о шашлычных трапезах, стоял самодельный мангал, а возле мангала, на круглом столике, сиротливо приютились две стопки. Что удивительно, эти стопки были заполнены всклень.

«Дождевая вода!» – догадался Полудин. Давненько же хозяин не заглядывал в свой огород!

В правом углу огорода, в дощатом заборе, были оторваны две доски. Как раз в эту дыру и попытался втиснуться раздобревший от малоподвижной жизни Полковник, но застрял, словно разбухшая гильза в патроннике – ни туда ни сюда.

Полудин, подшучивая, вытолкнул Полковника, и тот, гордо распрямившись, степенно зашагал к рыжей крайке соснового леса, высматривая среди кустов едва заметную тропку. Эта тропка выводила на проезжую лесную дорогу.

Осень брала своё, но она не казалась безнадёжно глубокой. На тёмных кустах можжевела ещё висели голубые неосыпавшиеся ягоды. По обочинам дороги, такой уютно-мягкой от опавшего листа, продолжали цвести нежно-голубые цикории, молочно-розоватый тысячелистник, а близ елей, среди зарослей папоротника, словно желая вернуть вторую молодость, зацвела брусника.

Задорно потряхивая красным хохолком, длиннохвостый дятел так долбил сухую сосну, что щепки летели. На багряных рябинах негромко перекликались жирующие дрозды. Несколько раз тревожно прокричала сойка.

Полудин с жадностью вглядывался в лес, ловил каждый звук – было такое ощущение, что после тяжёлой, почти неизлечимой, болезни он каким-то чудесным образом выздоровел, и теперь самое малое из уви-

денного воспринималось им как драгоценный, дарованный Богом, подарок.

Он медленно шёл и почти не ощущал тяжести своего охотничьего ружья. Целиком поглощённый лесом, он словно хотел навсегда запомнить всё, что открывалось его взору, и такую радость доставила ему старая, почти развалившаяся надвое, берёза с повисшими до земли ветками, так похожими на новогодние гирлянды, с коричневым капом-наростом, который можно было принять издали на родинку, что он остановился и тайком, чтобы его душевного волнения не заметил Полковник, смахнул с лица нечаянную слезу.

До поры до времени зеленовато-мглистые ели скрывали от его глаз то заветное место, к которому он так стремился. И вдруг деревья впереди словно расступились. Посветлело так, как будто шагах в двадцати от них прямо в увядающую зелень опрокинулось голубое небо.

– Озеро! – буднично сообщил Полковник.

Дамка бросилась к воде и стала с жадностью лакать. В её глазах заиграли живые искорки.

Полковник бросил на землю удочки, расправил плечи. Казалось, он сейчас наберёт воздуха и, глядя на противоположный берег, прокричит по-молодецки, изо всей мочи: «Кто украл хомуты?» И лесное протяжное эхо ответит ему: «Ты-ы! Ты-ы-ы!» Но Полковник почему-то не решился на былое озорство. По-медвежьи потоптался и сел на дубовый пенёк, чтобы раскурить свою трубку.

Полудин оглянулся по сторонам: где бы присесть? Метрах в пяти от него томилась на суше привязанная цепью к сосновому, выпирающему, как плечо, корневищу, старая лодка. Он повесил ружьё на сук и, подобрав ноги, уселся на облупленную корму. С трудом догадался: когда-то лодка была выкрашена в небесный цвет.

Полковник, не выпуская трубку изо рта, поднял спиннинг и сделал широкий, плавный взмах:

– Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Полудин, задумавшись, неотрывно смотрел на другой берег, объятый красным пламенем осинника, который, отражаясь, окрашивал воду в такой же пламенный цвет. И в этом пламени, меняя окрас, плавали утки. Готовясь к дальнему перелёту, они опраивали крылья, чистили клювы. Потом с шумом поднимались на крыло и, сделав несколько прощальных кругов, строились в косяки.

Ветерок проходил мелкой чешуйчатой рябью по стремнине Озера, тихо шелестел в обвялых камышах, среди которых, на светлых чистинках, золотились чашечки кувшинок.

Справа от Полудина, в дали протяжённого Озера-реки, клубился лёгкий туман, рисуя призрачные лодки, похожие на долблёнки, странно одетых людей с длинными шестами. Когда из-за туч проглядывало солнце, видения, размываясь, исчезали. Что это было? Обычный мираж? А может, эфирный оттиск прошлой жизни? И если это так, думал Полудин, то вся наша земная жизнь, от младенческого крика до последнего, излётного, вдоха, запечатлена на небесном полотне. Но разве отражается только брэнная плоть? Наверное, и все наши мысли, как праведные, так и греховные, тоже живут в неведомом для нас пространстве. Нет, не должна бесследно исчезнуть ни одна написанная книга, ни одна музыкальная мелодия. Вечное Небо окормляет и вдохновляет нас, и, кто знает, может быть, гениальный Моцарт, сам того не ведая, играл по небесным нотам...

– Есть! – заорал Полковник.

Полудин вздрогнул. С недоумением посмотрел на прыгающего от радости пожилого человека, возле ног которого извивалась пятнистая щука.

– Есть! – повторил Полковник и, надламывая щуке голову, с торжеством посмотрел на недвижимого, всё ещё погружённого в свои дальние мысли, Полудина.

Полудин пришёл в себя, заулыбался: уж так был трогателен этот человек, радующийся простой удаче.

Лес заманчиво шумел. Несколько бекасов, сбившись в стайку, с криком пролетели над прибрежными камышами и осокой. Полудин оглянулся. Увидел на безжизненном суку своё охотничье ружьё и неожиданно для себя заволновался. Вспомнилось, как он азартно охотился за неуловимым ястребиным князем, и ему вдруг захотелось – кто знает, может быть, последний раз в своей земной жизни! – пойти на знакомые тетеревиные тока, к брусничному болоту и, если повезёт, заполевать того большого краснобрового лесного петуха, который так живо, так приманчиво явился ему в утреннем сне.

– Ты куда? – забеспокоился Полковник.

– Я недалеко... – сказал Полудин.

– Ну-ну! – согласился Полковник и снова уставился на пёрышки поплавок.

Дамка покосилась на уходящего охотника и безразлично закрыла глаза.

И отправился на охоту Полудин один, без вежливой, чутыистой собаки – как говорят в таких случаях ружейные охотники, самотопом. И, наверное, хорошо, что Дамка не увязалась за ним: мало проку охотиться по перу из-под чужой, к тому же старой, собаки.

До Маришкиного тока, самого ближнего, было минут десять хорошей ходьбы. Полудин не торопился. Под ногами приятно шуршала пёстрая листва. Дышалось легко, просторно. И почему-то казалось, что он наверняка вернётся с желанной, обозначенной во сне, добычей.

Тревожно, словно предупреждая о чём-то, прокричала сойка. Однако Полудин, нацеленный всей душой на охоту, ничего не услышал в вещем голосе птицы.

То, что осталось от Маришкиного тока, повергло Полудина в уныние. На знакомом месте уныло торчали жерди охотничьего скрада с поваленными на него рыжими еловыми ветками-присадами. Чёрная заскорузлая шапка-ушанка на колу когда-то была хорошей привадой для горячих косачей.

Напрасно Полудин присматривался к круговине тока, стараясь разглядеть на ней, пусть едва обозначенные, бороздки-наброды, найти хотя бы пару пёрышек. Он не обнаружил ни одной приметы тетеревиной свадьбы. Возможно, они и были, но их припорошила курчавая берёзовая листва.

«А не махнуть ли мне к болотам через Галямин бор?» – прикинул Полудин, снимая с плеча потяжелевшее ружьё. Он пошевелил затёкшим от неподвижности указательным пальцем – словно хотел убедиться, не подведёт ли он его на этот раз. Палец гнулся легко.

И вдруг подумалось:

«А может, зря я взял только два патрона?..»

Он неторопливо шёл вперёд, приглядываясь не только к бронзовым веткам сосен, но и к земле, к глянцевице поплёскивающему

брусничнику, где можно было встретить жирующего на спелой ягоде тетерева-мошника.

Вдруг с фыркающим звуком с полуголой берёзы сорвался хохлатый петушок.

«Рябчик!» – догадался Полудин. Он даже не успел вскинуть ружьё и тут же подумал себе в оправданье: «Ну зачем он мне?»

Он шёл и порой забывал, куда и зачем идёт. Просто нравилось идти. Нравилось вдыхать острый запах смолы, видеть, как в тени хвойных деревьев переливаются, словно чистые зеркала, диски паутины.

«Не убью – так хотя бы посмотрю!» – думал Полудин.

Но в какой-то момент в нём просыпался азартный охотник:

«Всё-таки я возьму его! Должен взять!»

Он спокойно смотрел на выглядывающие из-под лиственного покрова серые и фиолетовые рядовки, но толстый боровик с коричневой шляпкой, покусанной по краям, – то ли поработала улитка, то ли белочка – оказался такой привадой, что Полудин не удержался от желания сорвать его или хотя бы потрогать.

Боровик рос на склоне чашеобразной ямы. Полудин переложил ружьё из правой руки в левую и осторожно, вдавливая стёршиеся каблуки сапог в землю, стал спускаться. И вдруг его нога поскользнулась на мокром листе, пальцы левой руки ослабели, и ружьё, кувыркаясь, полетело в яму.

Провожая взглядом ружьё, Полудин глянул вниз, и его лоб покрылся холодной испариной. Поджилки ног задрожали. Чтобы хоть как-то удержаться, он ухватился за жёсткие стебли полыни...

На дне ямы, сплетаясь в большой клубок, копошились змеи. Гадюки поднимали свои плоские треугольные головы, лениво переползали с места на место. Потревоженные падением ружья, они завозились сильнее, и, казалось, одна из них, самая матёрая, с зубчатой пестриной по хребту, потянулась к ногам Полудина.

Понимая, что полынь его не удержит, Полудин отчаянно шарил сапогом, пытаясь вытоптать местечко понадежнее, поуступчивее ...

То, что происходило с ним сейчас, казалось не явью, а каким-то дурным сном, и вместе с тем он не знал, что делать, чтобы избавиться от этого сна.

– Господи! – тоскливо выдохнул он. И, сам не зная зачем, вскинул к небу правую руку.

И вдруг он почувствовал, как к его, потным от страха, пальцам прикоснулась тонкая женская рука.

«Нет! Не удержит!..» – пронеслось в голове, и в это же мгновение, опровергая логику, какая-то неведомая сила подняла Полудина, словно тополиную пушинку, и твёрдо поставила возле молодой берёзки.

Одну из веток этой берёзки Полудин держал мёртвой хваткой. Он чувствовал, как ноют, по-зимнему заледенев, его пальцы, но не мог их разжать. И всё же тепло медленно поступало к нему. Побелевшие до синевы пальцы оттаивали. Наконец его рука отпустила тонкую, с бархатно-белёсым налётом ветку, и она облегчённо распрямилась.

Полудин глянул вниз. На дне ямы валялся белый боровой гриб с отпавшей шляпкой – видимо, Полудин, взлетая, задел его ногой, – и большая матка-змея обвивала в несколько колец охотничье ружьё. Маленький змеёныш, словно намереваясь проникнуть в ствол, крутился возле дула, но ещё сохранившийся запах пороха отпугивал его.

«Как же достать ружьё? – размышлял Полудин. – Сейчас пригодилась бы колодезная кошка...»

Он смотрел на своё полонённое ружьё, прикидывал глубину ямы и, как показалось ему, додумался. Однако без помощи рыбака вряд ли можно было обойтись...

Полковник встретил охотника без ружья весёлым хохотом:

– Ну ты, брат, даёшь! На охоте, конечно, всякое бывало. Теряли сумки, патронташ. Однажды, было дело, поллитровку возле костра оставили. Но чтобы ружьё... Я умираю! Не могу...

Полудин, мрачный, не улыбочивый, объяснил, что случилось. Полковник посерьёзnel и стал собирать удочки. Одну из них, с прочными, зацепистыми крючками, отложил в сторону.

Вскоре они стояли на краю ямы. Дамка, тревожно поскуливая, смотрела на змеиный клубок, но подобраться ближе не решалась.

Полковник задумался:

– Здесь не более двух метров...

По-стариковски согнувшись, стал распутывать капроновую леску. Вздыхнул:

– Не знаю, выдержит ли...

Осторожно, с задержками, он водил удочку, стараясь подцепить кожаный, потрескавшийся от времени, ремень. Большая змея обвивала ствол и приклад – она словно не собиралась расставаться с редкой добычей. Змеёныш, заглядывающий в дуло, куда-то исчез.

– Проще змею выловить! – сказал Полковник.

Наконец он поймал краешек ускользящего ремня, но крючок зацепился непрочнo. Стоило Полковнику потянуть удочку, как ружьё упало.

Испуганная гадюка соскочила с дустволки.

– Нет худа без добра! – усмехнулся рыбак и снова погрузился в нудную ловлю.

– Чуть-чуть левее! – подсказывал Полудин. – Теперь немного опусти. Так, так...

– Сегодня, кажется, Воздвижение! – вдруг вспомнил Полковник. – В этот день змеи всегда в клубки свиваются...

Рыболовный крючок, то поблёскивая, то совершенно теряясь из вида, скользил по ремню, иногда, обнадёживая, позванивал возле стального кольца, и всё же, в конце концов, бессильно повисал в воздухе.

Полковник покряхтывал, то ли от усталости, то ли от нарастающего от минуты к минуте раздражения. Несколько раз он, словно советуясь, красноречиво взглянул на замершего в ожидании Полудина: «Ну что будем делать? Похоже, пустой номер...», но в какой-то миг, опровергая все сомнения, рыболовный крючок цепко, по-ястребиному, закогтил кожаный ремень.

Полковник удовлетворённо крикнул и легонько, ещё не веря удаче, потянул удочку к себе. Леска натянулась, словно тетива – казалось, она вот-вот зазвенит от напряжения.

Полковник всё понимал, всё учитывал. Боясь обрыва, он не стал поднимать удочку над собой, а повёл в сторону, почти горизонтально, словно ружейный охотник, пытающийся взять птицу «поводком». Он вёл удочку плавно, набирая высоту с таким расчётом, чтобы ружьё приземлилось на краю ямы.

– Есть! – не сдерживая себя, вскричал Полковник. – Есть! – Он радовался так, как будто извлёк из озера ещё одну щуку.

Полудин взял в руки холодное, с прилипшим сердечком берёзового листка, ружьё, долго разглядывал его и даже заглянул в стволы – словно опасался, что там, в пороховой гари, притаился коварный змеёныш.

– Ну что, брат? – посочувствовал Полковник. – Не повезло тебе с охотой?..

– Как сказать... – проговорил Полудин и осторожно пошевелил пальцами ожившей руки. Сейчас, когда опасность миновала, он подробно представлял картину своего спасения и не мог до конца понять, что же случилось с ним: то ли это было чудо? то ли он обязан своей силе, разбуженной страхом?

Вечерело. Лучи закатного солнца, рассыпаясь веером, ложились на неподвижные сосны, зажигая янтарь застывшей смолы, и в гущине леса, в тёмных корявых буреломах, начинал струиться голубоватый туманец, обещая прохладную ночь.

По узкой тропинке, то и дело виляющей среди деревьев и кустарников, Полковник и Полудин направились к деревне. Дамка, зажав в зубах холщовую сумку с рыбой, трусила следом. Было необычайно тихо, только похрустывали сучья под ногами и где-то справа, ближе к Озеру, жалобно, по-стариковски, постанывало дерево. И так неожиданно, словно дело было весной, прозвучало внятное тетеревиное бульбуканье...

Полудин остановился, вслушиваясь. У него не было желания снять с плеча охотничье ружьё. Просто хотелось воскресить в памяти тетеревиную свадьбу.

– Родник! – буднично сказал Полковник.

Они подошли к ветвистой струе, вытекающей из-под гладких коричневых камней-дикарей, и не могли удержаться от желания испить прозрачной, отдающей зимним холодком, воды. Полудин даже умылся.

Быстро темнело. Сучья, упавшие на тропинку, порой напоминали замерших змей, и Полудин, шагая, старался повыше поднимать ноги, пугающе шуршать сухой листвой.

Усталость давала себя знать. Казалось, Полудин сегодня бродил целый день по моховому болоту, среди шатких кочек и высоких, по самую грудь, тростников. Он то и дело перевешивал ружьё с плеча на плечо и в конце концов, не выдержав, положил его на плечи – теперь оно походило на крестьянское коромысло.

Но по-настоящему усталость проявилась тогда, когда Полудин и Полковник, вдоволь потолкавшись плечами, переступили избяной порог. Полковник захохал и стал растирать занемевшую поясницу. Полудин, словно тяжёлый куль, бухнулся на табуретку и, чуть отдышавшись, стал стягивать с себя одежду. Одежда была сухой, но снималась с великим трудом – казалось, Полудин только что побывал под проливным, прохватившим его до нитки, дождём. И даже тогда, когда он освободился от верхней одежды, было такое ощущение, что ватник продолжает давить на плечи.

Покачнувшись, едва не упав, Полудин повесил ружьё на крючок и тихо пожелал:

– Отдыхай!

И тут же повалился на жалобно скрипнувший диван. Глаза сами закрылись. И без какого-либо страха, без старческого опасения – а вдруг уснёт и не проснётся! – Полудин провалился в глубокий здоровый сон

и, проснувшись, почувствовал себя помолодевшим и готовым к продолжению праздника.

Полковник, что-то напевая себе под нос, уже занимался приготовлением коронного блюда: картошки-мятухи со свиной тушёнкой.

– Пожалуй, и сосисочек отварим! – говорил Полковник. – Уж больно хороша эта «Ядрёна копоть»! Охотничьим костерком пахнет...

Полудин решил растопить печку-буржуйку. С плетёной двухручной корзиной он отправился во двор за берёзовыми дровами и поразился, насколько поредела когда-то плотная, словно патроны в гнёздах, поленница. С большим трудом он обнаружил среди сучклявых дров несколько подходящих кругляшей, разделал их на куски затупившимся колуном, а потом набрал сухих веток и коры для розжига...

Печка долго не пускала дым в свои закопчённые бронхи, но через некоторое время, сипло прокашлявшись, задышала свободно. До поры спёртый воздух полетел в трубу с радостным свистом.

«Давненько же он не топил печь!» – подумал Полудин.

Старики, поглядывая друг на друга и беспричинно улыбаясь – просто хорошо было на душе, – сели за широкий крестьянский стол.

– Ну что? – спросил Полковник. – Наполним бокалы, содвинем их разом?.. Как насчёт тоста?

Полудин задумался. И вдруг родилось легко, без особых усилий:

– Давай за жизнь!

Полковник внимательно посмотрел на него и, избежав командирского «отставить», согласился:

– А что? Подходящий тост...

Они выпили и, смакуя вкус лесных трав, не сразу потянулись к закуске.

А в печи весело, с отчаянным треском, горели сухие берёзовые поленья, чтобы вскоре, помигав прощальными огоньками, превратиться в лёгкий сизоватый пепел. Уйти, оставив после себя недолгое тепло.

Полковник покосился на стенку. Там, среди пожелтевших охотничьих фотографий, рядом с бельгийской двустволкой центрального боя, висела его семиструнная гитара.

– Ну что, подруга? Давненько я тебя не обнимал! – Полковник грузно поднялся и, потянувшись всем телом, взял гитару в руки.

Прежде чем запеть, он проверил на широком, набухшем, как у токущего тетерева, горле ворот сатиновой рубахи – не стесняет ли? – и долго, настраивая, перебирал тусклые струны.

– С чего начнём? – спросил себя Полковник и, улыбнувшись, затянул старую охотничью песню:

– В островах охотник
День-деньской гуляет...

Полудин вслушивался в глуховатый баритон Полковника и негромко, стараясь не мешать, подпевал.

Полковник замолчал. Машинально потянулся к рюмке, но передумал. Сделал несколько глотков минеральной воды и задумчиво, глядя куда-то в даль, поверх головы Полудина, пообещал:

– Сейчас ещё спою. Не знаю, вытяну ли?..

Он пошевелил пальцами правой руки. Глядя на него, и Полудин, не удержавшись, поиграл оттаявшей пятернёй.

Полковник начал негромко. И первую фразу даже не пропел, а проговорил так, как будто сочинил её сам:

Соловьём залётным
Юность пролетела...

Он пел просто, без какого-либо нажима, словно исповедуясь перед кем-то, и потому песня по-особому брала за душу:

Пора золотая
Была, да сокрылась.
Сила молодая
С телом изнасилась...

Полковник довёл песню до конца, прикрыл глаза, а в ушах Полудина, повторяясь, словно лесное эхо, ещё звучали грустные слова Кольцова.

В избе стало душно. Полудин поднялся, чтобы открыть форточку. Когда раздвигал выгоревшую от солнца тюлевую занавеску, укололся о колючки большого, согнувшегося под своей тяжестью, кактуса, который остался после смерти Полины, большой любительницы домашних цветов. С удивлением заметил золотистый бутон...

– Да у тебя кактус зацвёл! – воскликнул Полудин. – Вроде бы не время...

– Знаю! – равнодушно сказал Полковник. – Этот бутон только два дня продержится и опадёт.

– Что же ты будешь делать с этим кактусом? Как обычно, отнесёшь на зиму соседям?

– Не знаю, не знаю. Наверно, выброшу. Уж больно он колюч! – Полковник задумчиво поглаживал струны. – Пора и мне определяться с отъездом. Вот дождусь холодов и съеду. Не хочется в Москву, а уезжать придётся. Зимой в деревне скука заест...

– С каких это пор ты стал скучать? Неужели дамы теперь не навещают? – весело, стараясь подбодрить старого гусара, заговорил Полудин. – Неужели по ночам никто не стучится?

Полковник удивлённо, словно его внезапно уличили, посмотрел на Полудина и признался:

– Бывает, стучат...

И, не дожидаясь вопросов, продолжил:

– Думаешь, шучу? Нет, брат, нет. Тут такое дело. Как-то лёг спать и вдруг – стук в дверь. Я оделся, вышел. Нет никого. Я даже за угол заглянул. Пусто! А через месяц такая же история. Опять постучали. И ни души. До сих пор голову ломаю: что за стук? Словно кто-то в избу просится, а может, зовёт куда-то...

Полудин зябко передёрнул плечами и прислушался.

Было слышно, как в соседней комнате цвиркали настенные часы. В этих мерных звуках, напоминающих о бренности земной жизни, было что-то от пыточных капель, ударяющих заключённому в одну и ту же точку. Чтобы сохранить душевное равновесие, нужно было, пусть ненадолго, отключиться, забыть о быстротекущем времени, но Полудин, помимо воли, продолжал вслушиваться в удары часов в ночной, заполненной тягостным ожиданием, тишине. И когда раздался негромкий, но требовательный стук в наружную дверь, он почему-то не очень удивился.

Старики переглянулись. Полковник замер, словно охотник в засидке, и крепко сжал тонко пропевшую гитару. Он умоляюще смотрел на Полудина, и тот, поняв, что хозяину не хочется самому открывать дверь, поднялся из-за стола и медленно, словно откладывая развязку, вышел в коридор.

Осторожно, выставив перед собой колено, открыл дверь..

– Зда-арово! – растяжисто, обнимая Полудина за плечи, заговорил сосед Славка, жилистый, невысокий мужичок с весело поблёскивающей коронкой возле щербы. – С приездом тебя! Вышел я, значит, покурить. Смотрю: что такое? У Петровича свет в двух половинах, гитара разливается. Давненько такого не было! Ну, думаю, надо зайти. Глядишь, и я подпою...

* * *

Полудин, умиротворённый, отдохнувший душой после недавней поездки, сел за свой письменный стол, запорошенный четвертушками бумаги, чуть задумался и легко – будто слова сами просились к нему – записал первую фразу новой повести: «Алый, с крупными старческими прожилками, лист русского клёна, побитый морозными утренниками и влажными ветрами, ещё каким-то чудом держался на восковом черенке, старался прилипнуть своей резной окрайкой к морщинистой тёмной ветке, чтобы побыть как можно дольше с родившим его деревом, не упасть в груды таких же отживших листьев, столь похожих с беглого взгляда, но – если хорошо присмотреться – всё же очень разных и неповторимых...»

Инна ЧАСЕВИЧ

Родилась в Сарове. Окончила Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева, Литературный институт им. Горького, (семинар драматургии). Работала в Дзержинском кукольном театре, в настоящее время – актриса Саровского драматического театра. Публиковалась в периодике, в 20018 году вышла ее книга «Две повести». Живет в Сарове.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕСА

Он выл. В этом звуке не было ничего человеческого. Он выл, как зверь, загнанный, больной, беспомощный. В этом вое было все: жалоба, мольба, вопль умирающего и просто истерика. Он выл без всякой надежды на спасение, просто оттого, что по-другому уже не мог выразить свои чувства. Человек, живущий на чужом огороде в полусарайке-полутепличке, четко осознал – начинаются настоящие холода, а это значит, что его жизнь заканчивается. Сложная, запутанная, времена никчемная, временами светлая, но все равно – жизнь.

Зима в этом году не торопилась в их края, и он получил временную отсрочку своей участи. Хотя жить в доме со стеклянной крышей и стенами было холодно, но пока не наступили морозы – терпимо. Пусть с кашлем, сотрясающим все его существо, пусть вечно дрожащим от холода, но жить... Жить... А была ли она кому-то, и в первую очередь ему самому, нужна эта жизнь? Пару дней назад он, наверное, сказал бы, что нет. Но когда смерть замаячила совсем рядом, жить ему нестерпимо захотелось, только как выжить в морозы в стеклянном, выстуженном сарае, он не представлял. Ужас и породил тот самый жуткий вой, от которого вставали дыбом волосы прохожих, чей маршрут лежал мимо садовых участков...

Только, видать, судьба была ему выжить и в этот раз. Один из «добытчиков» металла, промышляющий по заброшенным и сезонно пустующим дачам, услышав странный звук, пошел прямо на него. Не иначе ангел-хранитель Степана его сюда привел.

– Ты чего, мужик? – почти заботливо спросил нежданный гость заросшего бородой, закутанного в старые куртки «хозяина» сарайки со стеклянной крышей.

– Жить охота, а помирать приходится. Холода наступают. Замерзну напроць, если крысы раньше не сожрут – обнаглели эти твари

в последнее время. Видать, от зимы озверели... Живые существа, понимаю. Но не могу больше терпеть, как они по мне ночью бегают, загрызть норовят.

Он помолчал, потом добавил, глядя с надеждой на вошедшего:

– Хоть бы прибил, что ли, кто... Долбанул по башке...

Мужик не отвечал, тогда Степан продолжил, глядя в пустоту, говоря словно самому себе:

– Или из леса забрал... Может, еще поживу, если Господь даст...

– Долбать не буду, не дождешься, я не по этому делу. С Богом своим сам разбирайся. А наводку, куда податься можно, – дам. Иди на Щелковскую, это конечная синей ветки. Знаешь?

– Знаю.

– Там волонтеры каждый день с горячими обедами стоят. Старшая у них Юля. Говорят, помогает таким, как ты, баба добрая. Всем, не всем – не знаю. По-любому попробуй. Пошел я. Холодно у тебя, околеть можно. Мне еще поработать нынче надо.

«Ангел» в виде спеца по металлолому исчез в снежной дымке, а Степан еле дождался следующего утра. Всю ночь он мерил шагами сарайку, чтобы не заснуть и напрочь не замерзнуть. Он добрался до Измайловской как раз в то время, когда сюда приехали волонтеры и подтянулись те, кто рассчитывал получить бесплатную еду. Без труда вычислив старшую – немолодую женщину с уставшими серыми глазами, он подошел к ней и начал с места в карьер:

– Помогите с работой. Дома нет, денег нет... Жить хочется... Может, в какой монастырь трудники требуются?

Внимательно глядя на новенького, зашедшегося в этот момент в застарелом кашле, Юля ответила:

– Попробую. Но ничего не обещаю. Переночевать можете в наших комнатах. Там и душ, и парикмахер...

Через три дня Степан стоял около автобуса, отправлявшегося в один из маленьких, но важных городов Центральной России, рядом с которым находился скит известного всему православному миру монастыря. Он рассказывал историю своей жизни и, хотя не смотрел на Юлю, но по тихим судорожным вздохам понимал – она плачет. У него не было желаний вызвать жалость волонтера, да и вряд ли они еще раз увидятся, просто она спросила, а он почему-то решил вывалить все...

В автобус прошла высокая женщина с сыном-подростком. Степану показалось, что она не обратила никакого внимания на него с Юлей, но, когда стал пробираться на свое место, находившееся, как выяснилось через проход от них, то уловил взгляд соседки в красном пальто. В нем сквозило недоумение – с каких пор в приличный автобус стали пускать бомжей? Хоть и был Степан выбрит, подстрижен, одет во все чистое и вполне приличное, все равно человека, жившего как и где попало, было видно издали. Она не стала выказывать эмоции по поводу такого соседства, вероятно, решив, что вряд ли человека без определенного места жительства запрягут в автобус. Может, она вообще о нем не думала, просто Степану так показалось из-за обостренного ощущения неприязненного к себе отношения. Он покосился на соседку – та, закрыв глаза, откинулась на спинку сиденья, вероятно, уснув, сын тоже спал, положив голову ей на плечо.

Степан стал смотреть в окно. Попутешествовать в своей жизни ему пришлось немало, но в тех краях, куда он сейчас ехал, бывать не при-

ходило. Поэтому ему все было интересно – городки и поселки, проезжавшие мимо, лес, который теперь, когда он сидел сытый и в тепле, вызывал у него восхищение красотой, а не чувство ужаса, голода и одиночества. Правда, страх в нем все равно сидел. Страх перед тем, что ждет впереди...

Во время остановки, когда соседи отправились в придорожное кафе, он вытащил выдавшую виду флягу, оставшуюся от прежней жизни, и после долгих сомнений и колебаний все-таки сделал большой глоток. Но алкоголь, как ни странно, никак на Степана не подействовал, видать, нервы настолько были напряжены, что привычное средство расслабления не подействовало.

Автобус двинулся дальше, соседи, закупившиеся пирожками, разложили на коленях салфетки и принялись за еду, предварительно перекрестив ее и прочитав молитву. Правда, слов он не разобрал, но сосредоточенный и слегка отрешенный вид женщины подтвердил его предположение. Когда пирожки были съедены, соседи углубились в свои гаджеты: сын достал планшет, а мать – сотовый телефон. Степан подумал, что сейчас самое время заговорить, и обратился к женщине:

– Вы, как я понял, люди верующие.

Женщина отвлеклась от телефона и вежливо улыбнувшись, ответила:

– Стараемся.

– Вы можете помочь другу? – так же улыбнувшись, спросил Степан.

Соседка в красном пальто слегка смешалась, но через несколько секунд, взяв себя в руки, так же вежливо ответила:

– Если смогу, конечно, помогу.

Степан протянул ей карманный молитвослов, у которого страницы были оторваны от корешка – слишком много ему пришлось вынести за время скитаний хозяина, это вообще было чудо, что он сохранился хотя бы в таком виде.

– Вот, почините, пожалуйста, я не знаю, будет ли у меня возможность это сделать самому.

– Конечно, конечно, спасибо, – женщина аккуратно положила молитвослов в дамский рюкзачок, а сын перекрестился и снова уткнулся в планшет, с экрана которого громко вещал герой популярного сериала.

– Сделай тише, ведешь себя безобразно! – одернула женщина сына, но тот, то ли не услышав, то ли сделав вид, что не слышит, продолжил наслаждаться сериальной музыкой. Мать сделала попытку вырвать из рук отпрыска громко распевающий планшет, но она не увенчалась успехом. Соседка зашипела:

– Или выключай, или сейчас заберу и совсем не получишь до нового года!

Сын, пробурчав в ответ что-то типа: «Ага, щас!», все-таки сделал звук чуть тише и, отвернувшись от матери, демонстративно приложил гаджет к уху.

Степан жестом подозвал женщину и, когда та наклонилась к нему через проход, сказал:

– Не дергай его, угрозами ничего не добьешься, лучше по-доброму скажи – понимаю, что хочется музыку послушать, но давай сделаем так, чтобы слышали только мы, а не весь автобус, некоторые спят, зачем людям мешать. Видно же, что пацан у тебя неглупый и пока еще не наглый. Смотрю только, не общаетесь вы, каждый в своей игрушке

сидит. Плохо это... Я вот тоже так сына потерял... Правду, ему уже двадцать три было.

У соседки приподнялись удивленно брови.

– Потерял, потерял, и ты потеряешь... Уже теряешь. Из-за телефонов этих, планшетов, компьютеров, фонов-монов... Мой в институте учился, последний год до диплома оставался, уже и работу неплохую нашел... И тут, как у вас говорят, завис в компьютере... То ли игрушки, то ли общение в сети затянуло, то ли все вместе... Не знаю... Год с женой пытались его образумить, думали, диплом напишет, а он только в компьютере сидел... Попал парень... Через год сказал ему – все! Не хочешь учиться – иди работай, хватит на шею сидеть...

Степан замолчал, вспомнив сына, его улыбку, удивительно синие глаза. Андрея иначе как красавчиком никто никогда не называл. Родители думали – от невест отбивать придется... А он, как засел в интернете, так никто ему не стал нужен – ни девушки, ни учеба, а на красный диплом шел. Соседка молчала, выжидательно глядя на собеседника, потом решила прервать затянувшуюся паузу:

– И как все разрешилось? Институт все-таки окончил?

– Какое там, – махнул рукой Степан, – академ взял, потом еще один, два года прошло, он не учился и не работал. У нас с женой стычки начались, и я, грешник, не выдержал, ушел... Мы всей семьей с Украины уехать собирались, уже все готово к переезду было, а тут мне сын заявляет: «Не поеду, и все!» Жена с ним осталась... Разошлись мы... Я один уехал. Все ей оставил, а собирались домик купить, как в скиту жить... и место присмотрели под Муромом, там такая красота, тишина, радость... Она потом, правда, приехала ко мне, я уже гражданство получил и ей помог сделать... А дальше она меня за дверь выставила... Но я на нее зла не держу. Книги мои у нее остались, она их все редактировать пыталась, я не давал, теперь, наверное, дорвется, – он невесело усмехнулся. – Книги я все-таки неплохие писал, историю хорошо знаю, да и вера была. Мне коллеги в университете говорили, тебе, Степан, уже докторскую писать надо, а ты все кандидатскую никак не закончишь. А я и не хотел заканчивать – зачем? Живого в этих научных работах ничего нет, их для себя делаешь, а книга – она живая, она людям нужна... Я, когда здесь совсем приперло, по электричкам свои книжки продавал... представляешь, покупали! Правда, потом, как кризисы начались – перестали, только календарики еще брали православные, молитвословы карманные иногда могли купить, а вот книги – перестали.

– А сын как же? Он где?

– Андрюшка-то? – Степан вздохнул. – Говорят, работает где-то, не по специальности, конечно. Он в полиграфическом учился, друзья его, ребята с курса, уже свои типографии пооткрывали, а у Андрея хоть и ума – палата, а куда сейчас устроился, даже не знаю, кем – тоже не знаю... Хорошо, хоть где-то работает. Упустил я его, упустил... А все компьютер. Смотри, мать...

Степан с соседкой помолчали.

– Вот дочка, Валентина, она, молодец, хорошо отучилась везде, крепко на ноги встала. Замужем, дите, внучек у меня, Витька, растет, пять лет уже... Валюшка – она женаина, я ее удочерил, когда мы с Анной поженились, девчонке тогда четыре года было, она отцом меня считала, звала «батей». Я так считаю, что все-таки смог ее в люди вы-

вести, хотя проблемы свои были. Лет в шестнадцать подружка у нее появилась, Лизка, не нравилась она мне, я как чувствовал – не доведет она мою Вальку до добра. Запретил им дружить. Так она все равно тайком с ней встречалась. У Валентины косища русая, глаза синие, огромные, красивая девка выросла, умная, книги читала. Чистая... Однажды Лизка эта за ней зашла – на дискотеку звала, я ее за дверь выставил, но моя все равно умудрилась за ней увязаться, пока меня дома не было. Вернулся – сердце не на месте, пошел туда, а на мою Вальку уже кодла напасть готовится... Ну я-то ведь мужик здоровый тогда был, всех расшвырял, дочку забрал, как ее трясло, бедолагу... С тех пор она ни с Лизкой, ни еще с кем ни на дискотеки, ни в компании не бегала. Сидела дома, книжки читала, вышивала, со мной не ругалась.

Замуж неплохо вышла, только через пару-тройку лет задурил он, Макс-то, муж ее... Витюшка маленький был совсем, годик ему, а Макс ширнется – и ему на все наплевать. Валентина потерпела-потерпела, потом собрала сына и ушла, квартиру сняла. Максу сказала – или завязываешь, или нас больше не увидишь. Полгода сама работала и Витьку воспитывала, кормила, одевала, от нас помощи не брала – гордая, знала, что нам брак не очень нравился, ну, и хотела еще, чтоб муж знал – одни они с Витькой, осознал чтоб, что нужен дитю-то. Представляешь, завязал. Он ведь ее правда сильно любил и сына тоже. Не смог без них. Колотья перестал, к жене вернулся, Валька, молодец, помогла ему не сорваться, когда они сошлись... Я Макса ругать не стал – сам в молодости так же чуть семью не потерял...

Степан, слегка скосив глаза, увидел удивление в глазах соседки, которое она из вежливости не стала выражать словами, и, словно отвечая на незаданный вопрос, продолжил:

– Да... Было дело. Пить я не любитель был, но к травке как-то пристрастился. Сначала вроде ничего было, весело даже... Дальше – больше, чего-нибудь потяжелее захотелось. Анна приходит домой, а я в полной отключке валяюсь на полу, рядом шприц... Еле откачали, когда из больницы домой вернулся, тут меня как молния пробила – ради чего я теряю все? Жену, семью, жизнь? Ради травы? Таблеток? Кайфа сомнительного? Короче, смог себя в руки взять, слава богу... Видать, Он и помог... Держит еще меня, грешного зачем-то на земле...

Степан опять замолчал, глотнул воды из бутылочки, заботливо сунутой волонтером Юлей в сумку, и продолжил:

– Валя, дочка, хорошо живет, работа у нее, дом красивый, машина хорошая, какой марки, не знаю, я в этих новомодных не разбираюсь – большая такая, солидная. Со мной, правда, не общается – зачем ей отец-бомж. Ну, это понять можно. Плохо, что и мать не жалует – неудачниками нас считает... И в гости не зовет, и так не встречаемся. Внука мне видеть очень хочется, я б его в шахматы научил играть... Витюшка, когда последний раз встретились, подбежал ко мне, обнял и говорит: «Деда, я тебя люблю, только маме не говори, ладно?» Я на Валюшку зла не держу, слава богу, смог ее на ноги поставить, да она и сама девка серьезная, всего добилась: семья, работа, молодец! Все надеюсь, может, свидимся еще, если человеком опять стану...

Степан неожиданно протянул соседке большой пирожок, который купила ему перед автобусом Юля:

– Возьмите! Я от души! Представляете, за эти несколько дней так отъелся, что совсем есть не хочу... Может, конечно, еще от нервов аппетита

нет... В новую жизнь все-таки еду... В каких только передрыгах не бывал, вроде ко всему привык, думал, спокойно перенесу... Не получается. Потрясывает маленько... Возьмите пирожок, если не брезгуете, конечно.

– Не брезгую, но не возьму – вам нужнее, неизвестно, когда вы еще есть будете. Это мы домой возвращаемся, а вам еще дорога предстоит, поэтому не возьму! К тому же у него, – она мотнула головой в сторону сына, – пицца есть, да и остановка скоро будет, если сильно есть захотим – еще купим, – с улыбкой, но твердо возразила она. Степан не стал больше делать попыток вручить ей пирожок, а сам механически принялся его жевать, не чувствуя вкуса, видимо, вправду сильно нервничал.

– Детей терять нельзя... Иначе они могут и не вернуться... Я никого не виню – сам до такой жизни дошел, чего себя выгораживать... Говорят, Анна моя, она меня на десять лет старше, жениха себе нашла, но оно и хорошо, одной тяжело... Может, хоть сейчас все у нее наладится?... Дай бог, конечно. Когда она мою сумку с вещами выставила, я понять никак не мог – за что она? Но, видать, было за что... Бог ей судья... Я тогда комнату снял, через месяц с гриппом свалился... Позвонил ей, привези лекарств хоть каких, трубку бросила. Хозяйку попросил подождать с оплатой, а она меня тут же с квартиры попросила, говорит, раз денег нет на съем – уходи. А больной ты или здоровый – не мои проблемы. Мне тогда девчонки из магазинчика соседнего здорово помогли... Они мне разрешили у них греться – не гнали на улицу. Но я не наглел, постою, отойду в тепле малость, и выйду – у них там проверки всякие, зачем людей подводить? Увидят хозяева, что бомжа привели, уволить могут, а работу не так-то легко найти. Видок у меня, конечно, тот еще был... Тапки домашние, куртка старая, стою, трясусь – температура высокая. Но понимал – выходить на улицу надо. Один раз – чувствую – уйти надо, беспокойно мне как-то. Только на улицу вышел, хозяева подъехали. Вовремя я, а то бы девчонкам досталось, а они хорошие – меня еще и подкармливали, вермишель пакетную заваривали. Дай бог им здоровья. Ночевал в подъездах разных, чтоб не маячить в одном месте.

Потом знающие люди подсказали, где пожить можно бесплатно. Я, где мог, подрабатывал, конечно, то разгрузить, то поднести. В вагончике у меня хорошо было, уютно даже. Потом в нем Катя появилась – она на тридцать лет меня младше была, а что пережила за свои двадцать шесть, не передать... И ножом девку резали, и жить негде было, и с ворами сошлась. Я к ней как к дочери относился... Отогрелась она душой... Да и я другим с ней стал – не то чтобы прежним, но все ж совесть проснулась... А через полгода она под поезд попала...

Соседка, от неожиданности отшатнувшись от Степана, посмотрела на него расширившимися от ужаса глазами.

– Я два дня рыдал... Остановиться не мог... Стыдно сказать, роптать начал... На Бога... Этот я-то, который книжки духовные писал... А там покатилося – и подворовывать начал, и пить, чтоб от холода и мыслей спастись, – вроде как легче становилось, забывался... Еще что было, говорить не буду – противно... от самого себя тошно... Страшно... А через несколько месяцев в вагончике моем еще одна... появилась. Обрадовался, дурак старый, думал, хоть немного

Катюшку заменит... А эта разбитная девица, не иначе как оттуда (он опустил глаза вниз) прибыла. В общем, в одно непрекрасное утро остался я без всех документов, денег и вещей, только те, что на мне были, не украла... Когда ее найти попытался, избили меня так, что три дня валялся без памяти... Потом вагончик мой сожгли, чтоб не выпендривался, значит. Так вот и оказался в лесу... Нашел сарайку со стеклянным потолком заброшенную. Стал помаленьку ее обживать. Паренек ко мне прибил... Большой такой на внешность, а глупый – с родителями поругался, из дома ушел... На что жить будет, где – ни о чем не подумал. Спрашиваю – чего умеешь? Ничего, говорит... С друзьями весело время проводил, а работать не пробовал. И девушка его бросила – на что он ей такой, никчемный?.. Знаешь, пока жили рядом, изменился он... Книжки я ему читал, какие еще у меня оставались в сумке, деваха их не тронула, они ей без надобности – не продашь... рассказывал много ему, о жизни говорили... Неделю назад он пошел и на работу вдруг устроился, радовался как дитя... Вчера плакал навзрыд, обнимал меня, не пушу, говорит, как я без тебя? Ты мне как батя... Я ему говорю: чудак-человек, помру я здесь. Когда прощались, сказал – через полгода приеду, погляжу, как живешь! Чтоб без питания, с работой и обязательно с девушкой помирился. Обещал... Ты до самого конца едешь? – неожиданно спросил он соседку.

Та кивнула утвердительно и в свою очередь поинтересовалась:

– А вам куда?

– Мне в скит монастырский, по дороге с вами, только я ведь первый раз в этих краях, точно не знаю, где это.

– А. Я поняла. Мне больше другой монастырь нравится, он, правда, подальше и паломников мало, скромный, но там очень хорошо, спокойно, благодатно. А почему вы именно этот выбрали?

– Это не я выбрал, это меня туда определили. Я, когда понял, что смерть пришла, так завыл, что мужик, промышленяющий металлом, не смог мимо домушки моей пройти. Адресок подсказал, вот я у волонтеров и оказался, попросил работу. Юля, старшая у них, это с которой мы возле автобуса стояли, сказала, предложу тебя в скит, они просили помощника им прислать, но возьмут ли – не знаю. Я ночью просить стал: если Ты меня на земле оставил, помоги человеком стать, в скит хочу, от прежней жизни уйти. – Степан закрыл глаза, заново переживая тревожное ожидание последних ночей, и закончил: – Представляешь, Юля мне вчера говорит: я в скит семерых предлагала, а взяли тебя одного... А ты говоришь – «выбрал»...

Автобус остановился. Соседка с сыном забеспокоилась:

– Мы к городу нашему приехали. КП уже, вам, наверное, выйти раньше надо было, а я не подумала...

Степан занервничал, быстренько выбрался из автобуса, не забыв случайно «оставить» старенькую фляжку – туда, куда он так хотел попасть, она ему не понадобится. По крайней мере, он на это очень надеялся. Перед выходом, правда, решился спросить у соседки на предмет жвачки – не хотелось ему пугать обитателей скита, да и знал, что слава, и хорошая, а особенно плохая, впереди бежит. На счастье Степана, у соседки оказалась целая пачка, которую она тут же протянула случайному попутчику. Стоя у автобуса, Степан немного растерянно озирался по сторонам, пытаясь понять – куда ему теперь податься, чтобы найти «своих», которых он к тому же и в глаза-то не видел,

и где находится скит, представления не имел. Да и вечерело уже прилично. Тут из стареньких «жигулей», припаркованных недалеко от «колючки», вышел коренастый невысокий мужик и направился напрямиком к нему.

– Ты в скит?

– Да.

– Садись, поехали, а то мы уже подмерзать начали, тебя ожидаючи.

Соседка неожиданно перекрестила Степана и ободряюще улыбнулась ему.

– Смотри, мать, не упусти сына-то, – помахал он ей на прощанье и забрался на заднее сиденье машины. Человек из леса ехал в другую жизнь...

Владимир КЛИМЫЧЕВ

Родился в 1965 году в Горьком. Окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.

Прозаик, поэт, журналист. Публиковался в литературных альманахах «Золотой век», «Нестолничная литература», «Urbi», «Неизвестный поэт». Автор самиздатовских книг «Портрет русского писателя», «Московский вундеркинд» и сборника рассказов.

Живет в Нижнем Новгороде.

ПЛАГИАТ

Обвинений не принимаю, мелодию сочинил я, и никто другой. Скажу больше: исполнителя полюбившейся многим песни тоже выдумал я, хотя доказать свои права почти невозможно. Внезапные обстоятельства лишили меня заслуженной славы – признавать это горько, как и терпеть ситуацию, что уникальный творческий проект, которому я посвятил массу времени и сил, до сих пор известен одному автору. Впрочем, не буду забегать вперед, для начала объясню, какой смысл несет слово «выдумал».

Всю сознательную жизнь я был меломаном: с подросткового возраста гонялся за новыми альбомами известных групп, которые сегодня плодятся как грибы. Слушал музыку почти без разбора, всех направлений и жанров, слушал, пока не загорелся идеей вывести на сцену собственную рок-группу или отдельного исполнителя, имеющего шансы прославиться. Музыкальным продюсером я никогда не был, средствами на запись альбома и рекламную раскрутку своего детища также не располагал, но согласитесь, продвигать оригинальные идеи можно по-разному, даже без денег. Хитрость проекта заключалась в том, что я решил создать звезду рок-сцены в собственном воображении, пусть это и выглядит смешным. Вы можете возразить: такая идея мало стоит, потому что в голове рождаются самые смелые образы и картины, но о них должны узнать другие люди, иначе фантазии останутся нереализованными. Отчасти соглашусь, но у меня были веские основания для того, чтобы начать эксплуатировать собственную выдумку. Во-первых, я окончательно разочаровался в той музыке, которую продолжал слушать: она выглядела маловыразительной, неталантливой и давно перестала меня удовлетворять. В большинстве случаев подобная музыка жила только во время первого восприятия, когда к ней обращались в новинку, но редко выдерживала повторное слушание, лишённое всяких эмоций. Отсутствие качества приходилось заменять количеством,

и чуть ли не каждый день на моем столе появлялись новые диски с малознакомыми названиями групп, которые затем исчезали в неизвестном направлении, чтобы уступить место другим релизам. Остановить этот процесс было невозможно, хотя он давно казался мне бессмысленным.

Вторая причина выглядела элементарной: однажды рок-звезда сама приснилась мне в готовом виде, заявив о претензиях на бережное к ней отношение. Образ иллюзорного певца возник из ниоткуда, но запомнился четко: улыбающееся лицо, короткая темная стрижка, удлиненные баки, во рту – сигара. Вельветовая жилетка, одетая на голое тело, позволяла увидеть татуированного в восточном стиле дракона. Клешенные джинсы на ногах и остроносые ботинки с металлическими клепками. Во сне музыкант сидел за барной стойкой, держа между колен акустическую гитару, и обменивался шутками с приятелями из какой-то группы. Внешность и манеры рокера казались феноменально узнаваемыми, как у Мика Джаггера или Дэвида Боуи, с которыми он разделил мировую славу: выпускал золотые альбомы, устраивал скандалы во время гастролей, завоевывал престижные премии. Возникло ощущение, что его образ знаком всю жизнь. Другое дело музыка, которую исполнял мой звездный первенец. Во сне Курт – так я окрестил новоиспеченную знаменитость – умудрился выступить перед внушительной аудиторией с фрагментами невнятных песен, мелодии и характер которых я даже не запомнил. Голос у него был сильный, ни на кого не похожий, а вот исполняемые композиции – совершенно бездарные: низкопробные песенки-однодневки, копирующие музыкальную продукцию второсортных групп, активно заполнявших мой слух в последнее время. Сомнительный репертуар не красил обладателя вельветовой жилетки и экзотического тату в виде дракона и был скорее продолжением моих собственных отношений с музыкой, нежели досадным просчетом Курта. Отсюда и родилась идея написать для него пару хитовых песен, чтобы эфемерный артист выглядел перед публикой на все сто. В общем, работа над оригинальным проектом началась.

Вы спросите: как можно заменить репертуар певца во сне, если такого не может произойти в принципе. Отчасти верно, но история с выдуманной рок-звездой стала для меня настоящим приключением, открывшим новые возможности для творчества. С каждым днем я думал о родившемся в сознании музыканте настойчивее, сочиняя эпизоды его биографии, меняя детали в устоявшемся облике, изобретая для будущего кумира миллионов причудливые хобби и привычки. Увидеть сон на заданную тему крайне сложно, и ждать продолжения увлекательного сериала с рокером по имени Курт в главной роли поначалу казалось бессмысленным. Но, задействовав воображение, я взял ситуацию под свой контроль и очень скоро праздновал новую встречу с будущей знаменитостью. Произошла она в студии: певец что-то сочинял, подбирая аккорды на гитаре, другие музыканты слушали. Курт был одет в простой вязаный свитер и джинсы. К счастью, я сносно рисую, а также владею графическими программами, с помощью которых удалось зафиксировать в компьютере характерные черты героя, чтобы в дальнейшем иметь возможность над ними работать. Однажды сон вызвал к жизни оригинальный образ, и теперь разбитной малый с примечательной внешностью и шикарным голосом, не имея шансов проявить талант наяву, использовал для этого мое подсознание.

Чем больше времени я посвящал утверждавшемуся в снах певцу, тем более управляемой становилась связь с ним. Курт регулярно являлся мне

в ночных видениях, но теперь – на фоне изысканных декораций, которые я старательно выдумывал для него. Музыкант ездил на эксклюзивных авто, носил сшитые знаменитыми кутюрье сценические костюмы, встречался с влиятельными людьми шоу-бизнеса, знакомился с первыми красотками и бурно проводил с ними время. Это была жизнь настоящей звезды, ставшая для моего воспитанника щедрым подарком. Итог работы над проектом был впечатляющим: сны успешно переваривали плоды моей фантазии, более того – придавали сюжету, основанному на биографии известного рокера, новое развитие. А именно: Курт, одетый в пиджак из крокодиловой кожи, заключил баснословный контракт со звукозаписывающей компанией и в сопровождении импозантных дамочек поехал отмечать радостное событие. Еще он приобрел на аукционе дорогую коллекционную гитару, которую предполагал использовать для записи нового альбома. Этих обстоятельств жизни Курта мое воображение не коснулось. Через несколько дней вновь приснившийся мне Курт улетел отдыхать с юной подругой на Бали, забыв предупредить об этом продюсера. Скандала не было, но под угрозой срыва оказалось выступление в Австралии, обещавшее грандиозные сборы. После каждого сна с неожиданным финалом я подхватывал события в своем воображении, что-то изобретал, корректировал (это было увлекательно) и ждал момента, когда нововведения будут отыграны в ночных грезах. Так реальность вступила с миром выдумки и сновидений в довольно сложные отношения: сны придавали импульс и законченный вид идеям, рожденным в сознательной жизни. А еще они потрафляли моему тщеславию, ведь Курт, пользующийся плодами чужой фантазии, старался занять достойное место на музыкальном Олимпе. Я следил за любимым персонажем, словно в кино, удивляясь каждой удачной сцене или находчивой реплике, не имевшей шансов прозвучать в его исполнении наяву. Проблема репертуара так и оставалась нерешенной. Курт исполнял примитивные песенки, скроенные из фрагментов давно забытых шлягеров. Сочинить мировой хит для него было слишком сложной задачей.

Со временем у меня все лучше получалось загружать будущие сны выдуманным материалом, а утром обрабатывать в голове картины ночных видений. Эту технику я отточил до возможного предела. Жалко, не было способа перенести звездного героя в мир реальный, чтобы воспользоваться его талантом с максимальной выгодой. Но однажды у меня родилась идея и на этот счет. Сочинить выдающуюся песню, которая бы стала достоянием миллионов, по-прежнему не получалось, но я решил, что Курт сможет написать ее во сне. Парень был рожден для большой сцены, к тому же в ночное время происходило все самое неожиданное и интересное. В общем, я начал провоцировать ситуацию, имея целью подтолкнуть очередной сон в нужном направлении: день за днем думал о грядущем выступлении звезды на международном конкурсе вокалистов, где Курту давалась возможность исполнить композицию собственного сочинения. Прицельное обыгрывание этой темы должно было приблизить момент рождения песни всех времен и народов, которую я смог бы воспроизвести в реальной жизни, а затем, при случае, продать.

Долгое время подающий надежды музыкант разочаровывал меня, хотя утром в голове постоянно крутились отрывки мелодий, звучавших во сне в его исполнении. Отдельные темы я пытался развить, доработать, но особой ценности они не представляли. Идея конкурса тоже оказалась не самой эффективной. Курт все чаще пел на сцене, перед взыскательной публикой, но выступления не дотягивали до международного уровня,

в основном из-за репертуара. Замечу, прежде чем добиться нужного результата, в снах с Куртом произошло много примечательных событий. Он сыграл концерт в одном из лондонских залов, продал виллу на Лазурном берегу, снялся в автобиографическом фильме, сделавшем его фигуру еще более известной. В одном сне произошло настоящее чудо: мне удалось встретиться с плодом собственного воображения. Курт сидел за столиком в пабе и, увидев меня, сразу предложил выпить пива как старому другу. Весь вечер мы шутили, перебирали в памяти общих знакомых, обсуждали альбомы известных групп – наблюдать за этой картиной со стороны было любопытно. События развивались своим чередом, ночной сериал под названием «Звезда Курт» доставлял мне истинное удовольствие. Оставалось только вместе с главным персонажем сочинить мировой хит, который смог бы оправдать усилия, затраченные на работу с выдуманной знаменитостью.

Наконец Курту пришло время заявить о музыкальных способностях. В тот день я вернулся с работы крайне усталым и сразу лег спать. Темноту во сне разогнали софиты, установленные на огромной сцене, в присутствии многотысячной публики.

– Международный конкурс молодых певцов объявляется открытым, – возвестил лохотный конферансье в смокинге.

И зрелище началось. Всех выступавших во сне артистов я, конечно, не запомнил, тем более что концерт «транслировался» в режиме ускоренной перемотки и выглядел нарезкой случайно выхваченных кадров, иногда наслаивавшихся друг на друга. Талантливее других показалась темнокожая голландка-травести и малоизвестный канадец, покоривший гигантский зал вкрадчивым речитативом, но важно не это. Когда Курт вышел на сцену, публика взревела. Оказалось, что его песни знали почти во всех странах и многие слушатели приехали на традиционный конкурс ради своего кумира. Наконец молодой человек взял микрофон и запел: в тот момент стало ясно, что вместе с одаренным парнем я дождался звездного часа. Курт исполнял известную фанатам композицию, которую по популярности можно было сравнить только с битловской Yesterday или Angie «роллингов». Песня была спокойной, выразительной и звучала во сне словно гимн целого поколения, неслучайно многотысячный зал пропел ее вместе с Куртом от начала до конца. Это был настоящий хит, запомнившийся после первого исполнения; мелодия и незнакомые слова настолько врезались в память, что я без труда записал их, проснувшись ночью. Судьба редко баловала меня, но громкий успех Курта невозможно было отменить. Смелый музыкальный проект имел блистательное завершение, и его единоличный автор торжествовал победу, дарованную за упорство и изобретательность. Вы спросите: что было после феерического успеха на международном конкурсе? Череда новых взлетов и мировая слава? Отвечу сразу, чтобы не дразнить себя: крах всех надежд, скандал и горькое разочарование.

Уже в следующем сне завоевавшего первую премию Курта обвинили в плагиате. Да-да, в банальном воровстве той самой песни (гимна нового поколения), рождение которой я приближал всеми силами. Журналисты словно ждали подходящего момента, чтобы накинуться на незащитного музыканта: «Участник конкурса нагло присвоил чужую песню, выдав ее за собственное сочинение. Похоже, нынешним звездам нечего сказать миру». Лицо Курта мелькало на всех телеканалах, его фотоснимки размещали на первых полосах газет, но это было не обретением долгожданной славы, а ее горьким, внезапно наступившим

концом. Помню, во сне мне довелось услышать оригинальное исполнение песни, принадлежащей нам с Куртом. Пела ее неизвестная группа, кажется, из Дании или Швеции, которой и присваивали авторство. Как такое могло случиться, я не могу объяснить до сих пор. В реальности эту композицию я никогда не слышал, даю голову на отсечение, во сне – тем более, вы помните, каких усилий стоило ее создать. А между тем на карьере Курта и моем проекте в целом была поставлена жирная точка. Сны с участием развенчанного журналистами музыканта продолжали сниться по инерции, но это было безжалостным избиением невинного младенца. Под влиянием мрачных обстоятельств Курт начал пить. Оказать на него воздействие, вытянуть из крутого пике шансов не было, хотя дружеские отношения между нами сохранялись. Певец отменил концерты, разругался с продюсером, бросил работу над новым альбомом в студии звукозаписи. Все полученные от выступлений деньги уходили на вино. Здесь можно было поставить точку, но однажды я встретил Курта в подозрительной компании и сразу догадался – парень подсел на наркотики. Вскоре он стал похож на собственную тень.

Что касается меня, то вместе с Куртом я поднимался на музыкальный Олимп, вместе и скатывался в преисподнюю. Мысли о неудачливом певце посещали меня каждый день, поэтому в снах большую часть времени мы проводили вместе, как правило – на квартире у случайных знакомых, где бывшую знаменитость окружала не самая благонадежная публика. Я делил с Куртом все: застолья с льющимся рекой алкоголем, продажных женщин, дефицита в которых не наблюдалось, а потом и безденежье. Просыпаясь утром, я с большим трудом отходил от этого кошмара, но картины хаоса начали преследовать меня в действительности, ведь я буквально жил своим иллюзорным проектом. Главная проблема возникла, когда после очередной безумной пьянки в мой дом заявила незнакомая девушка и сказала, что беременна от меня. В тот день я понял, что жизнь пошла прахом и остался, возможно, последний шанс ее наладить. Деградировавший Курт все чаще имел дело с полицией, а в итоге – его обвинили в хранении наркотиков и отправили за решетку. Черт бы побрал этого самонадеянного выскочку с гитарой, татуированным драконом и всей дорогостоящей чепухой, которую я для него выдумал.

Но мне удалось взять себя в руки. Только не думайте, что во сне это было легче, чем наяву. Просто в нужный момент я развернул свое сознание в сторону действительности и умудрился вытеснить болезненные фантазии. Сложной техникой загрузки снов конкретными событиями и предметами я когда-то овладел, но теперь моя судьба зависела от умения останавливать произвольную работу разыгравшегося воображения. Именно оно кидало меня в объятия вечно пьяного Курта, к его безумным друзьям и дешевым проституткам. Действенным лекарством от этой губительной зависимости и стала повседневная жизнь, которую часто ругают за «однообразие, скуку и серость». Поверьте на слово: дороже обычной жизни ничего нет, как бы соблазнительно ни выглядели картины, родившиеся во сне и подхваченные честолюбивыми мечтами. Эту темную дверь я заколотил навсегда, вместе с беднягой Куртом и его прекрасным голосом. Думать о нем больше незачем. А знаменитую песню, победившую на конкурсе, в любом случае сочинил я – можете не сомневаться. Ведь я создал Курта, а значит, все, что связано с ним – принадлежит мне, вот только доказать это невозможно.

Александр и Сергей ЮДИНЫ

Родились в 1965 году в Москве. Публиковались в журналах «Изыщная словесность», «Полдень XXI век», «Полдень» (СПб), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Бельские просторы» (Уфа), «Север» (Петрозаводск), «Сура» (Пенза), «Юность», «Знание – сила: Фантастика», «Наука и жизнь», «Искатель», «Я» (США), «Edita» (ФРГ), и других. Соавторы романа «Золотой лингам» («Вече», 2012).

КУРЬИ НОГИ

*Мы сказками предания зовём,
Мы глухи днём, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живём
И тишине доверчиво внимаем.*

И.А. Бунин

– Ну, вот она, Бедокуриха твоя и есть. – Антон, водитель колхозной полуторки, остановил грузовик на разъезженной просёлочной дороге и указал в сторону двух десятков бревенчатых изб, прилепившихся к изножью безлесной горы, вздымающейся над малахитовым морем восточносибирской тайги. – Прибыли! Завтра поутру, часов эдак в шесть, как буду, значица, обратно ехать, тебя подберу. Только ты уж, паря, не проспи, на своих двоих отседова ни в жизнь не выбраться, а другой попутки неделю ждать – не дождёшься. Лады?

– Лады, – согласился Кирилл, подхватил брезентовый рюкзак, красно-белую спортивную сумку из кожама с символикой Олимпиады-80 и спрыгнул на раскисшую после недавнего дождя землю. Накинул рюкзак на плечи, вдохнул полной грудью дурманящий, пропитанный запахами багульника и хвои, воздух и бодро зашагал в гору.

В это дремучее даже по меркам Забайкалья захолустье Кирилла Хомотова – тридцатилетнего научного сотрудника Бурятского института общественных наук – забросила не судьба и не пустая блажь, а работа над кандидатской диссертацией. Он собирал былички и бывальщины, бытующие среди местного русского населения, руководствуясь заранее составленной картой перспективного исследования. Защита планировалась уже в следующем, 1981 году, а потому время поджимало.

За лето Кирилл успел объехать более тридцати сёл и деревень Читинской области и, вообще-то, материала добыл с избытком. Так что Бедокуриха являлась конечным пунктом его командировки. Эту дерев-

ню Хомутову порекомендовал научный руководитель, заведовавший в их институте сектором русско-сибирского фольклора, профессор Вершинин. Профессор сам заезжал в здешние места лет пять назад и уверил Кирилла, что селение это как-то особенно богато старожилами-долгожителями, до сих пор хранящими в памяти целый кладезь мифологических рассказов нужной тематики.

На полпути к деревне Кирилл остановился, вытащил из надорванной пачки «Астры» плоскую сигаретку и попытался прикурить. Но спички отсырели и никак не хотели вспыхивать. Чертыхнувшись, он снял кепку и принялся тереть спичку о волосы – проверенный способ, не раз его выручавший. Просушив спичку и добыв огонь, он глубоко затянулся, задумчиво обозревая окрестности.

Августовский день был пасмурен, но душен, как случается перед грозой; низкие тяжёлые облака, при полном безветрии недвижимо зависшие над горой, едва не касались её вершины. Кирилл утёр кепкой пот со лба и продолжил подъём.

Тропа, змеящаяся среди сырого разнотравья, вывела его к первому жилью – стоявшей на отшибе невысокой, без подклета избе, рубленной из кондовой лиственницы. Окинув строение взглядом, Кирилл аж присвистнул: на вид тому было лет сто, когда не более. Что ж, оставалось надеяться, что и хозяева окажутся под стать дому. Вот только смотрелась изба как-то... мрачновато, даже зловеще. Глубоко – венца на два, вросшая в землю, заметно покосившаяся, насупившаяся на белый свет массивным охлупнем, она напоминала давно пережившую свой век, но все ещё суровую и властную старуху.

Кирилл постучал в невысокую дверь и прислушался. Кажется, в избе кто-то разговаривал. Он постучал еще раз. «Отворено!» – донёсся изнутри женский голос. Он толкнул дверь, пригнувшись, шагнул в сени и едва не оступился – пол в сенях находился изрядно ниже уровня земли. Когда глаза привыкли к сумраку, он разглядел, что стены помещения обшиты толстыми некрашеными тесинами; на вбитых крюках висела одежда: овчинный тулуп, пара ватников и ещё что-то; на полу под тулупом и ватниками выстроились резиновые сапоги, валенки, другая нехитрая обувь, по виду – женская, порядком заношенная, углы заставлены всяким хозяйственным скарбом.

Тут вторая, ведущая из сеней в избу, дверь распахнулась и к нему вышла женщина лет семидесяти с гаком или восьмидесяти. Долговязая, жилистая, лицом она была худа и скуласта, близко посаженные глаза-буравчики смотрели пронизательно и остро. Кирилл представился – мол, ученый из города, здесь по заданию института и все такое; коротко, давно обкатанными фразами, объяснил цель визита: дескать, ездит по деревням, обходит наиболее уважаемых и знающих жителей и записывает необычные истории, что случались с ними или с их близкими в прежние времена.

– Заходи, раз из эдакой дали приехал, – заявила хозяйка. – Не шибко я поняла, что за дело у тебя, ну да ладно, за столом растолкуешь.

Горница в целом гармонировала с внешним обликом избы: полати, глинобитная печь едва не в полпомещения, тяжёлый потолок из сплошного круглого накатника, стены, сложенные из гладко отёсанных брёвен, по стенам – широкие лавки. Снижал впечатление старенький чёрно-белый «Рекорд-67» в красном углу.

За длинным столом сидели две старушки, перед каждой дымилась чашка с горячим чаем, тут же стояли сахарница, вазочки с вареньем,

глубокая миска с баранками и накрытый тряпицей чугунок. Старушки лишь улыбочиво покивали гостю и вновь вперились в экран – показывали третью серию «Цыгана».

– Ты, мил человек, посиди пока тихонько, – негромко сказала хозяйка, указывая на лавку, – кино скоро кончится, тогда и поговорим.

– Уж больно фильм хорош, – извиняющимся тоном пояснила одна из сидящих перед телевизором бабулек.

– Тише ты, Фёкла, – тут же шикнула на неё вторая.

Кирилл послушно присел на лавку, с интересом осматриваясь. Кажется, ему повезло – в первой же избе застал сразу трёх местных старожилок. Теперь главное – разговорить бабулек, направив разговор в нужное русло. А для этого необходимо найти к ним подход. Насчёт хозяйки, несмотря на её внешнюю суровость, он не переживал. Кирилл убедился на опыте: если уж пригласили в дом, не отказали, сославшись на занятость или иные причины, то дело пойдёт. А коли еще и за стол усадят, тогда и вовсе. Но что с остальными двумя? Наверняка это соседки, зашедшие на фильм, скорее всего, ровесницы хозяйки. Выглядели они вполне добродушно: маленькие и плотные, румянощёкие и похожие одна на другую, точно сестры-близнецы, старушки напоминали пару сказочных колобков.

Наконец пошли титры, хозяйка выключила телевизор и пригласила гостя к столу. Кирилл, не тратя времени, вытащил из рюкзака кулёк конфет, две пачки печенья «Земляничное» и пол-литра «Зубровки».

– Гляди, Устинья, гость-то у тебя какой знатный, – с весёлым квохтаньем заметила одна из румяных старушек, – с гостинцами, не абы что. Сразу видать – городской, культурный.

– А что там у вас в городе, не слыхать, – спросила вторая, – поладят Будулай с Клавдей, ли чё ли?

– Погодь ты, Евдокия, со своим Будулаем, – оборвала её хозяйка. – Человек не кино смотреть приехал, а по делу. – И обращаясь к Кириллу, заявила: – За конфеты спасибо, а казёнку приberi, у меня наливка домашняя есть, на травах да ягодах. Да и крепка она для нас, казёнка-то, сколь там... у-у! сорок градусов! Приberi, приberi. Так что у тебя, говоришь, за надобность?

– Что ж, Устинья, мы пойдём, пожалуй, – засобирались Фёкла с Евдокией.

Но Кирилл, включив всё свое обаяние, упросил обеих бабулек остаться, поскольку, дескать, в его деле и они очень помочь могут. Хозяйка дома, Устинья, принесла тем временем обещанную наливку в пузатой литровой бутылке тёмно-зелёного стекла и поставила перед гостем миску с пирожками.

– Откушайте с дороги. Эти – с капустой, а те – с яйцом и луком. Холодные, правда, дак кто ж знал...

Кирилл заверил, что холодные пирожки его самое любимое блюдо, представился, рассказал, кто он и откуда, и как мог доходчивее объяснил, с какой целью пожаловал в их деревню.

– Так тебе что ж надо-то? – с недоумением уточнила Фёкла. – Нешто сказки? Я какие, может, и знала раньше, все запомывала. И не мастерица я сказки-то сказывать. Это тебе лучше к Корякиной Прасковье, она...

– Нет, нет, нет! – перебил её Кирилл. – Мне нужны от вас не сказки, а былички, бывальщины. Сказки – это про то, что никогда не было, ну: «В некотором царстве, в некотором государстве...», а меня интересуют

истории, которые на самом деле случились – или с вами, или со знакомыми вашими, односельчанами там, или с кем-то из родственников, понимаете? Но только истории необычные – волшебные. Про колдовство, приворот, про домовых да леших, про покойников, про то, как хомуты надевали, и тому подобное. В общем, удивительные истории, чудесные даже, но не выдуманные, а настоящие. Знаете такие?

Женщины переглянулись, покачивая головами и задумчиво вздыхая. Долговязая Устинья молча поднялась, принесла три стеклянные рюмки с золотыми ободками и распорядилась:

– Давай-ка наперво наливки моей спробуй, а там, глядишь, и вспомним чего.

Выпив наливки, которая и впрямь оказалась весьма вкусна, все некоторое время молча жевали. Потом хозяйка, ткнув надкусанным пирожком в Евдокию, заявила:

– Слышь-ка, Даниловна, расскажи человеку про тот случай, что с твоим свёкром, с Егором Кузьмичом, был.

– И верно, – поддержала её Фёкла, – давай, Дуня, сказывай про свёкра. А ты, Устинья, наливочки нам ещё плескани. Ой, до чего у тебя наливочка вкусна, до чего вкусна! Так бы, кажись, пила бы да пила.

– Пить – не дрова рубить, – с усмешкой заметила хозяйка, наполняя тем не менее рюмки тягучей жидкостью. – Ну, Даниловна, вспомнила про Кузьмича? Расскажешь?

– Отчего не рассказать? – легко согласилась Евдокия. – Расскажу.

– Погодите минутку! – всполошился Кирилл. – Я сейчас, мне же надо всё подготовить.

Он вытащил из спортивной сумки кассетный магнитофон «Электроника-301» московского завода «ТочМаш», бережно (вещь казённая) положил на стол, подключил микрофон и вставил чистую кассету МК-60; потом достал из той же сумки пухлую записную книжку и приготовил ручку.

– Мне необходимо записать ваши полные данные: фамилию, имя, отчество и год рождения, – объяснил он и извинительным тоном добавил: – Такой порядок.

– Пиши, раз порядок, – не стала возражать старушка. – Мосолова я, Евдокия Даниловна, родилась здесь же, в Бедокурихе, в девяносто третьем годе.

– Так вам, Евдокия Даниловна, восемьдесят семь лет? – поразился Кирилл. – Никогда бы не дал.

– А что ж? – пожалала та пухлыми плечиками. – Младшая я.

– Младшая? – не понял Кирилл.

– Ага, младшая. Сестра-то, – старушка кивнула на свою соседку, – на два года меня старше будет. Так, Фёкла?

– Где на два-то? – возмутилась Фёкла. – На год и девять месяцев только!

– Ну, пусть, – согласилась Евдокия. – А Устинья нас обоих старше.

– Давайте, я и ваши данные сразу запишу, – обратился Кирилл к хозяйке.

– Устинья Тимофеевна Полоротова, – с готовностью ответила та, – с тысяча восемьсот восемьдесят шестого году по пачпарту. Показать, ли чё ли?

– Если несложно, Устинья Тимофеевна.

Хозяйка поднялась и скрылась за занавеской, которой был отделён кутный угол. Вернувшись, протянула Кириллу документ.

– По выписи из метрической книги дату сверяли, – пояснила она.

Кирилл только головой покачал. Зафиксировав данные всех трёх женщин, он нажал на магнитофоне нужную клавишу и сказал:

– Ну, Евдокия Даниловна, мы готовы выслушать ваш рассказ.

– Это что ж, – спросила старушка, указывая на микрофон, – в эту штуку говорить надо?

– Вы говорите, как обычно, а на штуку не обращайте внимания.

– Ну что ж, мил человек, слухай... – заговорила старуха Мосолова, поудобнее устраиваясь на лавке и поправляя концы завязанного под пухлым подбородком платка. – Случилось это не в нашей Бедокурихе, а в Нижней Куенге. Ну не в ней самой, а рядом то исть...

– Погодь-ка, Даниловна, – прервала ее Устинья, – время-то позднее, да и неведомо, сколь мы тут пробалакаем, так я покудова загодя всё уж приготовлю, чтобы после по избе не скакать...

С этими словами хозяйка схватила со стола оловянную плошку, споро наполнила её пшённой кашей из стоящего тут же чугунок и вновь поднялась со своего места. Поставив плошку на шесток русской печи и вернувшись к столу, она сочла нужным пояснить:

– Я, вишь, паря, печь-то недавно протопила, так что каша до ночи не простынет. Хозяин, он, знамо дело, тёплое любит, холодного не уважает, обиду затаить может.

– Какой хозяин? – насторожился Кирилл. – Вы, Устинья Тимофеевна, еще кого-то ждёте? Ваш... э-э-э... супруг должен вернуться?

– Какой-такой супруг? – удивилась Устинья. – Ты про мужа нешто? Так мужа у меня сроду не бывало. Всю жизнь проходила в девках...

– Кому же тогда вы кашу оставляете?

– Экий ты бестолковый, – вздохнула Устинья. – Известно кому, хозяину! Суседке. Домовому то исть.

– Вот как? Это просто замечательно! – оживился Кирилл. – Просто великолепно! А мне вы после расскажете про домовых-суседок?

– Зачем же после? Ты ж, милоч, Евдокию хотел слушать, она и расскажет. А ты, Даниловна, чего примолкла? Начинай уж, гость-то, поди, заждался...

Евдокия Даниловна пригубила наливки и начала рассказ:

– Я и говорю, то не у нас в Бедокурихе случилось, а в Сретенском, значится, районе... Там свёкор-то мой, Егор Кузьмич, на лесопилке работал. А было это годков эдак сорок, а то и поболее, назад. Егор, он страсть как охоту уважал, любил, мил человек, по лесу шастать, берданом баловаться. Птицу всякую добывал, зайцев промышлял, лису, куничку опять же вываживал... Иной раз дня по три, а то ажно и по целной седмице пропадал в лесу, у него там по разным удобным местам сидбы – шалаши по-вашему – наставлены были. А уж коли сильно надолго застрянет, для тех целей охотничья заимка имелась. Добротная, рубленая, с буржуйкой, лежачком и всеми делами...

– Ты, Дуняша, сама нешто с Кузьмичом на охоту хаживала? – рассыпалась квохчущим смешком Фёкла. – Лежанку ему грела?

– Цыц! – прикрикнула на неё сестра. – Уж коли баю, так, стало быть, ведаю! Егор мне разов сто случай тот рассказывал, во всех, почитай, подробностях... И не встречай более, сиди да помалкивай... Так вот, значится, как-то раз по осени застрял он в лесу надолго – не то уж больно много дичи промышлялось, не то мало, не упомяну. Ну, застрял и застрял, сторожка-то на что? Он туда. А дело к ночи. Вот он буржуйку затопил, еды какой-никакой в манерке состряпал, пожевал да

спать собрался. И что ты думаешь: забыл про суседку-то! То исть всё сам схарчил, а домовому ни крошки, ни на синь-пороху не оставил. Уставший был, вот и запамятовал, сердешный. Ладно. Лёг, значит. И только-то засыпать начал – стук, дверь открывается, а на пороге девка в рыжем платье. Коса длинна, сопатка ряба и изо рта три зуба торчат – один снизу да два сверху. Что, думает, за оказия! А девка ему, свёкру то исть: позволь, дескать, мил человек, у тебя на заимке переночевать; в лесу, мол, заблудилась, покуда грибы рвала да ягоды собирала. Егор её пытается: кто такова и звать как. А она: по-разному люди кличут – кто Дунькою, кто Акулькою. Тут свёкор смекнул: не иначе то кикимора в гости к нему пожаловала. Ладно. Заходи, говорит, только лежак у меня один, так ты на пол курмушку мою, куртку то исть, брось да располагайся себе. А что делать? Не пустишь, она снаружи что-нибудь да набедокурит – сторожку подождёт или ещё чего, а пустишь – тоже беда, но так хоть на глазах будет, уследить можно. Легла, стало быть. У свёкра, ясно дело, сна уже ни в одном глазу, с боку на бок ворочается, ждёт, что дале будет. И правда, часу не прошло, Дунька-Акулька с курмушки подымается да тихо эдак на карачках к свекровой лежанке ползёт. Егор-то хотел вскочить, да куды! Руки-ноги будто отсохли, и пальцем шевельнуть не может! Да и видит, это уж не девка вовсе, а рысь, самая что ни на есть настоящая, шипит, к нему крадется! Пасть ощерена, с клыков слюна течёт, глаза точно плошки, жёлтым огнем горят... Страх, да и только! Егор и думает: ну, видно, смерть моя пришла, до берданы не дотянуться, руки вовсе онемели, дышать уж и то невмочь, лежит колодой, стонет... Только-то собрался напоследок молитву Богородице вознести, как вдруг из самого тёмного угла, что за буржуйкой, вылезит кой-то – большой, мохнатый – совсем вроде здорового мужика в бараньем тулупе, токмо лица не видать, борода одна... Вылез, упал на рысь и давай её давить. Давит и рычит! Давит и рычит! Глядь, рысь уж не рысь, а та прежняя рябая девка – извивается, пищит, стонет, вырваться хочет... У свёкра враз онемение прошло, он с лежака-то вскочил и за бердану... Но тут и исчезло всё – и мужик, и девка – как не было никого! Егор к тому месту, где они боролись, подбёг и видит: лежит на полу мала куколка, тряпицей грязной обмотана. Ну он, понятно дело, схватил эту куколку да скорей в печку железну и бросил – как завизжало оттудова, как искрами шибануло! – и всё, не стало кикиморы. Вона как бывает...

– Замечательная быличка! Такая колоритная... – начал было Кирилл привычные славословия.

– Да погоди ты, заполошный, – тут же окоротила гостя Евдокия Даниловна. – Слухай, что дале было... Так вот, значит, поуспокоился Кузьмич, снова спать наладился. Да едва прилёг – опять стук, дверь с грохотом настезь, а на пороге огромный дед в бахановом зипуне и треще куньем; сам, вишь ты, чёрный, мохнатый, кряжистый, что твой дуб, весь волосьями порос, борода лопатой, зенки махоньки, злые. В одной руке – дубина корзоватая, вроде посоха, во второй – коровий недоуздок. Ну и тоже, как водится, просится переночевать: у меня, мол, бурёнка в лес убегла, я её целый день шукал, да всё зря, только вот проваландался до ночи понапрасну. Свёкор и его пытается: кто таков, я в округе, почитай, всех знаю, а тебя, дед, не припомню. Старик в ответ: ну, коли не припомнишь, зови меня «старик Шатун». Свёкор, знамо дело, враз смекнул, кто перед ним. Да и то молвить, какой дурень не догадался бы? Леший, он и в Чухломе – леший! Что тут поделаешь? Не откажешь.

Лешему и приглашения без надобности, кругом его, Лесного Хозяина, владения. Старик Шатун и правда особого знаку дожидаться не стал, вошёл, осмотрелся, растянулся прямо вдоль порога и захрапел. Егор бердану подтянул поближе, подле изголовья поставил и лежит сам не свой, а что дале стрясется, и помыслить опасается. Только думает, зря он в изголовье топор не положил, потому как говорят, от лесовиков – это первое средство. Вона как... Ну и точно, часу не минуло, видит Егор, неладное творится: заворочался старик, захрипел, заурчал – совсем медведь в берлоге, а после приподнялся, на карачки встал и давай к лежанке красться. Егор присмотрелся, а ведь то и взаправду никакой не старик вовсе, а медведь! Лапищи здоровущие, когти на них вершка под два, чёрные... Глазелки алым огнем пыхают, пасть зубастая, да такая, что, кажись, в неё и полтелёнка враз поместится, а смрад из той пасти, будто из выгребной ямины! Свёкор было к бердане, да не поспел – сызнова его паралич хватил! – лежит, болезный, чурбак чурбаком, не шелохнется, от смертного ужасу холодным потом обливается. И опять, как и в прошлый-то раз, выскакивает вдруг из-за печи кой-то мохнатый в бараньем тулупе, кидается сверху на того медведя и давай чудище энто давить что есть мочи. Давит и рычит! Давит и рычит! Егор враз приободрился: ну, думает, не пора мне ещё помирать, может статься, поживу ещё маленько. Вона мой защитник каков, того и гляди, задавит проклятого лешака!.. Ага, ладно. Токмо не тут-то было. Медведь рыкнул раз, рыкнул другой, да и стряхнул с себя запечного мужика! Уселся на него всей-то тушею и давай теперь сам его давить, лапами рвать да зубищами грызть. Мужик не сдаётся, отбивается, но, по всему видать, тают его силы, а медвежьи – возрастают. Свекор, видя такое дело, попробовал руками пошевелить – хотя и с трудом, но получилось у него до берданы дотянуться, – ухватил он кое-как ружьё, прицелился медведю прям в башку, да и пальнул!.. Смотрит, а тому хоть бы хны, даже и не вздрогнуло чудище поганое... И тут услышал Егор Кузьмич голос, но не въяве, а будто бы прямо в его голове звучащий: «Беги, Егорка! Беги, покуда не одеревенел вовсе. Не удержать мне твоего недруга, не сладить с ним. Давно я пищи человечьей не едал, ослабел совсем, вот и одолевает меня старик Шатун». Тогда-то и вспомнил свекор и пожалел горько, что позабыл с вечеру оставить провизии домовому. Пожалел, да поздно. Впрочем, сполз кое-как с лежака, дотащился до двери и наружу вывалился. А там враз почувал – вернулись к нему силы, спало онемение членов. Видно, оттого, что лешак-то на заимке остался. Тут уж Егор мой руки в ноги да и припустил таким прытчком, таким конём виноходным – ажно за полсуток до села добёг!.. Вот, милок, такая история со свёкром моим случилась. Как сама слыхала, так и передаю, слово в слово, ни на синь-пороху не соврала, – заключила свой рассказ старуха.

– А со свёкром, с Егором Кузьмичом, что случилось? – полюбопытствовал Кирилл.

– А что с ним, бугаём, станется? – со вздохом пожалала плечами Евдокия Даниловна. – Ничего. Умом разве маленько тронулся, в лес уж боле не хаживал, бердану забросил да и на лесопилке появлялся от случая к случаю – всё на завалинке сидел и казёнку трескал. А как, бывало, натрескается, непременно про домовых да кикимор с лешими патефон свой заводит.

Кирилл поставил запись на паузу.

Тем временем за окошком заметно потемнело, хотя для сумерек ещё было рановато. Устинья щёлкнула выключателем, и над столом зазглась одинокая лампочка в бумажном абажуре.

– Гроза, однако, собирается, – заметила она и, обращаясь к Кириллу, спросила: – А ты что ж ничего не пьёшь, не кушаешь? Иль не понравилась моя наливка?

– Очень понравилась, – заверил Кирилл.

– Вот и пей тогда, чего рот сушить.

– А и правда, Тимофевна, наливай, – махнула рукой Евдокия, – а то сидим ровно на поминках.

– Тьфу, ты, балаболка, – рассердилась Фёкла, – скажет, как в лужу...

– Чем собачиться, – захихикала Евдокия, – давай, сестрица, рассказывай, теперь твой черёд.

– И расскажу, расскажу! – заверила Фёкла. – Я разных бывальщин поболе твою помню. Да вот хоть эта, слушайте...

Кирилл снял паузу и пододвинул микрофон поближе к рассказчице.

– Случилось это недалече от нас, в Шелопугине, – начала Фёкла Даниловна. – Жила там раньше одна девка-перестарок – Катериной звали – рьябая, косоглазенькая да полоротенькая. Ко всему – сирота круглая. Ну вот, по этой причине замуж её, сиротку убогую, никто не брал. Да что там замуж! Парни и на улице норовили её стороной обойти, а уж коли кому доведётся встретить, тот непременно либо кукиш в кармане сложит, либо через плечо сплюнет – от сглазу. Потому слух шёл, будто глаз у ней очень нехороший, дурной, несчастья приносит. Девки тоже Катерину не особо жаловали, не то ведьмой, не то шишигой почитали. Вранье ли, нет ли – не скажу, не знаю. Но народ, он, мил человек, правду издаля чувствует, зря болтать не станет... Так вот и жила Катерина, маялась да тужила. И как не тужить: кругом, куда ни глянь, парочки милуются, сваты от избы к избе снуют, свадьбы справляют, а она – одна-одинешенька, все-то её сторонятся, все чураются... Бывало, парни с девками соберутся на завалинке, разговоры разговаривают, смеются, семечки лузгают, а только-то Катерина к ним подойдёт, те так и прыснут в разные стороны, так и припустят прытчком, точно от какой чумной заразы. Ну, конечно, заскучала девка, закручинилась. Такая тоска чёрная на неё навалилась, инда сохнуть стала, хотя и без того тоща была – жердь жердью. А раз поутру вовсе ей неведомо стало, не сдюжила она, вышла на крыльцо да и рывкнула в сердцах во всё-то горло: «Что ж такое деется! Хоть бы какой сатана меня в жёны взял!» Только сказала, колокольца забренчали, кони заржали, глядь, а уж катятся к её избе сваты с женихом. А жених – красавец писанный, росту саженного, сложения богатырского, одёжа – колхозному председателю носить впору. Обомлела девка, стоит, слова вымолвить не может... Ну, что там рассусоливать, коротко говоря, и опомниться Катерина наша не успела, как дело слажено оказалось – на третий день свадьбу играть назначили. Так вот. Молодая-то сама себя от радости не чуяла, ничего-то вокруг себя не примечала, не видела, токмо на суженого своего пялилась да слёзы счастливые лила. Как срок подошёл, народу на свадьбу много собралось, всё боле со стороны жениха – у невесты-то, вишь, из родных никого, а деревенским тоже не больно охота у порченой гулять... Но жила тут же, в Шелопугине, одна малая девчушка – Лидка – годков тринадцати... Ты, Дуня, должна её помнить, она нам какой-то родней приходилась, дальней... Эта-то Лидка, почитай, одна из всего села Катерины не чуралась. По малолетству да глупости, верно. Вот её на свадьбу и пригласили. Она же, Лидка-то, после мне и рассказывала: дескать, расселись гости за стол, молодые – во главе, прочие, как водится, по бокам, её же, малую, с краюшку, на уголок усадили. Ну, ясно дело, пить-есть принялись, за здравие молодых стаканы с первачом

подымать; чуть погода и веселие пошло, раздухарились гости, гармонь заиграла, песни полились... Тут у Лидки возьми и ложка под стол упади. Полезла она за ней, смотрит и глазам не верит: почитай, у всех гостей вместо ног конски копыта! Выглянула из-под стола-то: вроде опять всё хорошо, всё нормально – гости как гости, разве парни больно мордатые и горластые да девки – чересчур бесстыжие, а так ничего. Сунула голову обратно – как есть конски копыта! Думает, мерещится ей, верно, – успела к тому времени самогону пригубить. Однако было у ней с собой стёклышко от лампадки, вот она и скумекала: дай-ка я сквозь него вокруг посмотрю. Лампадка та ведь непростая была, из самого Ерусалиму. Так и сделала: вытащила стёклышко, к глазам поднесла да так и обомлела. Батюшки! Страсти-то какие! За столом уж не бабы с мужиками, не девки с парнями сидят – куды там! – одни чудища окаянные. Сопатки у всех не человечьи – звериные! У одного – морда лошадиная, у второго – собачья, у третьего – свиное рыло, другой – петушиной башкой на журавлиной шее крутит. Да каких харь только нет: лосиные, волчьи, медвежьи, лягушачьи, куньи – все пасти расщеперили, ржут, гогочут, рычат, зубами щёлкают. Иных образин малая отродясь не видывала, эдакие и во сне не примерещатся. А коли примерещатся, так и ума лишиться недолго. И у каждого-то изо рта огонь пыхает! Навела Лидка стекло на жениха и чуть памяти не лишилась: заместо статного красавца сидит подле Катерины страхолюднейший дед, горб из-за спины видать, лапы – коряги гнилые, рожа вся зелёным мхом поросла, глаза кровавыми угольями горят, а на темени – роги длиннее бычачьих! Вот Лидка-то и надумала: надо скоренько отсель бежать подобру-поздорову, а то, не ровен час, схарчат её эти чудища, схарчат за милую душу и не подавятся. Но только она из-за стола подниматься стала, как соседка с жабьей сопаткой хватъ её за руку: мол, куда это ты, малая, наострилась? Или тебе веселие тутошнее не по нраву? Или гости не показались? Лидка, однако, не растерялась и отвечает, что ей, дескать, по малой нужде приспичило; сбегает и вернётся. Жабья морда её и отпустила. Ну, малая, как только за дверь, так бежать кинулась, только пятки засверкали; добегла до дому и давай криком кричать. Родные её спрашивают, что да как, а она только и может ответить, что вот, мол, у Катерининых гостей в роте огонь!.. Знамо дело, никто малой не поверил, решили – дурит девка, наливки упилась. А через недолгое время запылал дом-то у Катерины, весь разом вспыхнул и в несколько минут, точно свечка, сгорел. Как потушили его, никаких тел там не нашли, окромя Катерининого: едва внутрь вошли, тут и увидали – висит она, сиротинушка, вниз головой на потолочной матице, и кожа у ней вся сверху донизу ободрана, точно у телка на бойне...

– Это всё, Фёкла Даниловна? – уточнил Кирилл.

– Чего ж тебе ещё? Сплясать нешто?

Тут небо за окном расчертил ослепительный разряд молнии, и в тот же миг весь дом сотряс мощный громовой раскат. Следом по крыше забарабанили капли, дробь их становилась всё чаще и чаще, пока не слилась в один сплошной гул – начался ливень. Лампочка над столом замигала и погасла.

– Принесла нелёгкая! Теперь суток двое впотьмах сидеть. – Устинья встала и с ворчанием скрылась в закуте.

– Типун те на язык! – всполошилась Фёкла. – Завтра четвёрта серия «Цыгана».

– Вот тебе и четвёрта серия, – заявила хозяйка, возвращаясь с зажжённой керосиновой лампой и ставя её в центр стола.

Закопчённая лампа давала мало света, так что углы помещения тонули во мраке. Тусклое освещение, вспышки молний, громовые раскаты и нарастающий шум дождя порождали настроение тревожной загадочности, даже мистичности. Кирилл зябко передёрнул плечами и потянулся к рюмке.

– Устинья Тимофеевна, – обратился он к хозяйке, – порадуйте и вы нас какой-нибудь интересной бывальщиной.

Та усмехнулась в ответ, но ломаться не стала:

– Слушай, голубь... Припозднились мы, правда, ну да ладно, всё одно далеко мне до Фёклы с Евдохой, не такая языкастая... Вот ты давеча про колдунов справлялся...

Кирилл не помнил, чтобы спрашивал о чём-то подобном, но спопытаться, разумеется, не стал.

– Любопытствовал, есть ли такие воржецы на свете, которым черти служат, – продолжала старуха. – Не ведаю, как в нынешние времена, а раньше их порядком встречалось. В тутошних краях. Нынче-то знающие люди, может, и перевелись, больно хилый народец стал, квёлый да боязливый, собственной тени страшится, не то что с нечистым стукнуться... Однако ведь не токмо у воржецов, у каждого человека свои черти имеются. Что Фёкла про Лидку-то малую рассказывала, помнишь? Так я эту Лидку тоже знавала, когда она уже замужней бабой была да угланов штук пять или шесть народила. Муж-то у ней был отсюда, вот она к нам, в Бедокуриху, вскорости и перебралась. И про шелопугинскую свадьбу от неё слыхала. Всю правду Фёкла тебе рассказала, не сомневайся... Так я когда про осколок ерусалимской лампадки узнала, сама не своя сделалась, стала стёклышко это у Лидии выпрашивать, прицепилась к ней, что твой банный лист: дай, грю, мне его хотя на время попользоваться. И выпросила-таки! Дала мне его Лидия на три дня, но с условием – никому, ни одной живой душе, при её жизни не рассказывать, что увижу. Померла она давно, так теперь можно... Принялась я с этим стёклышком по деревне ходить – и что ты думаешь? – стала многое видеть, что ранее и в голову вступить не могло. Иду, бывало, по улице, смотрю тайком сквозь стёклышко, а саму страх так и забирает: куда ни глянешь, всюду они так и шныряют, так и шныряют! Окаянные-то. Который-то на плече у женатого мужика притулился, нашёптывает тому на ухо мысли срамные, заывает к полюбовнице в соседнее село; тот – махонький совсем, не более лягушонка – у мальчика из кармана выглядывает, на воровство подзуживает; иной и вовсе изо рта у пьяницы горького торчит, хнычет, сивухи требует... И так-то, грю, у каждого. Вот иду и вижу, молодые в Великий пост на сеновале затаились, милуются. А бес-то не теряется, пристраивается, бесстыжий, заместо мужа, ажно хрюкает от удовольствия. Другой нечистик бабе в руку батога суёт, поучи-де уму-разуму детушек... Одно хорошо – никак не можно на саму себя глянуть, своих чертей рассматреть, а то ведь и совсем тошно бы сделалось... Ну и не выдержала я долее одного-то дня, отдала то стёклышко Лидке обратно – на, грю, сама в него на чертей любуйся, а я уж, чай, обойдусь как-нибудь... А касаемо воржецов, так я тебе, мил человек, про Ефима Фомича могу рассказать. Вот уж кто и взаправду знающий человек был, штук десять чертяк ему прислуживало. Всё мог! И скотину попортить, а после за мзду вылечить, и приворот сотворить, и хомут надеть. Кому надо, к примеру, зазнобу присушить или постылого мужа со свету сжить – все к Ефиму Фомичу... Да, шибко Фомича у нас уважали. А боялись и того шибче... Но ведь и он помер не простой смертью. Как занемог и понял, что уж не суждено

поправиться, так наказал жене, – а любил он её очень и уважал, – ты гляди, Авдотья, едва дух из меня вон – тот же час подрежь мне жилы на руках и ногах; сперва подрежь, а уж после можешь и в гроб класть. Так сказал да и помер в тот же вечер. Авдотья же не восхотела волю его последнюю исполнить: жаль стало над мёртвым мужем изгаляться. Ведь и она в Ефиме души не чаяла. Дружно они жили. Коротко говоря, сделала всё чин по чину: обмыла покойника, обрядила и в гроб под образами положила. А ночью-то всё одно не спит, побаивается. Вот, протопила печь да принялась угли кочергой к загнётке сгребать. Вдруг чует, затрещало что-то, зашумело в доме, оглянулась, а покойник-то в гробе шевелится, сесть пробует – и покрывало с себя на пол сбросил. Перепугалась баба, схватила кочергу, на печь через голбец залезла да и затаилась. А покойник уж из гробу вылез, по дому расхаживает, руками вокруг себя водит. Знамо, жену ищет. Авдотья лежит на печи, дрожит от страха, ни жива ни мертва. А Ефим уж к печи подобрался, на голбец взбирается; Авдотья хрясть ему кочергой раскалённой по зубам, а зубы-то у покойного все до единого железные были, только сбрыкали. Не отступает мертвяк, дальше ползёт. Да и как ему отступить? Черти-то, которых он при жизни голубил, пищи хотят, сожрать жену требуют. Вот, как ни отбивалась баба, как ни чекрыжила мужа покойного кочергой, ништо не помогло, не смогла она до первых петухов продержаться... Поутру родичи в избу вошли да там же на печи их обоих обнаружили: у Ефима вся рожа в крови, а Авдотья едва не до мослов обглодана...

Закончив рассказ, бабка Устинья наполнила опустевшие рюмки и, не дожидаясь прочих, залпом махнула свою.

– Ну, что скажешь, – крикнув и понюхав баранку, спросила она Кирилл, – понравилась моя история?

– Нет слов, Устинья Тимофеевна, просто нет слов! – заверил Кирилл, останавливая запись. За окном снова полыхнул ослепительный просверк, и секунды через три громыхнуло, но уже не столь раскатисто, как прежде; по всей видимости, грозовой фронт начал сдвигаться. – Прям мороз по коже. Честно!

Евдокия прыснула в кулачок и подмигнула сестре. «Ну, будя, будя, раскудахталась», – осадил её Фёкла, ткнув локтем в бок.

Отпив из рюмки и закурив, Кирилл расслабленно откинулся на спинку стула. Что ж, финал научной командировки можно считать вполне успешным. Приятная истома овладела его членами, окружающие предметы и лица старух подёрнулись лёгкой дымкой. «Порядочно я, однако, назююкался», – подумал он.

– Ты наливочку-то пей, не стесняйся, – подливая ему, посоветовала Устинья. – Она у меня на ягоде, на травках – лечебная.

– Хороша наливка, – согласилась Фёкла, причмокивая и покачивая головой. – Мёртвого на ноги поставит.

Евдокия взвизгнула и так и зашлась рассыпчатым смехом. Кирилл от неожиданности даже сигарету выронил.

– Раскатилась поленица, – проворчала Фёкла, пряча усмешку.

Кирилл нагнулся, чтобы поднять выпавшую «Астру», кое-как подцепил её непослушными пальцами, но, бросив случайный взгляд под стол, так и обмер.

Ноги... Что-то не так с ногами старух... Ноги у них были не человеческие, а... ну да! птичьи, куриные: туго обтянутые жёлтой с роговыми бляшками кожей, с вывернутым назад суставом, три пальца торчат вперёд, а четвёртый направлен назад, как шпора. Коротенькие ножки

Фёклы и Евдокии не доставали до пола, и сёстры весело побалтывали ими в воздухе, лапищи же Устиньи скребли половицы здоровенными – в палец – когтями, оставляя длинные борозды.

Медленно выпрямившись, Кирилл встретил внимательные, настороженные взгляды старух. За столом воцарилась гнетущая тишина. Женщины молча, не мигая, смотрели на него, будто ждали чего-то. При этом лица их тоже странно изменились: носы заострились и вытянулись, точно клювы, круглые глазки расплзлись к вискам, сделались выпуклыми и хитро поблёскивали стеклянным блеском.

– Нешто у вас так в городе заведено, – прервала затянувшееся молчание Фёкла, – бабам под подолаы заглядывать?

– Э-э-м... Что ж... Благодарю за угощение и за... за... Однако поздно уже, – осипшим голосом промямлил Кирилл, – пойду я, пожалуй.

– Куда ж ты, на ночь глядя? – удивилась Устинья. – У меня ночуй.

– Спасибо, но мне ещё надо... там... дела. – Кирилл дрожащей рукой потянулся к магнитофону. – Пойду.

– Куда ты, оглашенный? – воскликнула Евдокия, накрывая его руку своей пухлой ладошкой. – В темень, в грозу? Не пушай его, Устинья!

Кирилл резко дёрнул рукой, высвобождаясь из цепких пальцев Евдокии, и опрокинул лампу. Она покатилась по столу и упала на пол. В горнице воцарилась тьма. Кирилл, вскочил, на ощупь сграбастал в охапку магнитофон и ринулся к двери.

Тут очередная вспышка молнии на миг осветила помещение и выхватила из мрака Устинью, застывшую в дверном проёме с серпом в руках. Кирилл взвизгнул и бросился к окну. Послышались крики: «Держи его, окаянного, держи! Шею, шею ему хомутай!» Чьи-то руки ухватили его за ворот, он вырвался, но зацепил ногой за лежащий на полу рюкзак и, рухнув как подкошенный, ударился головой о пристенную скамью. В глазах у него потемнело...

С трудом разлепив веки, Кирилл осмотрелся. Он лежал на скамье в пустой горнице, укрытый лоскутным одеялом, поодаль стояли его ботинки, вся прочая одежда была на нём. За окошком брезжил рассвет. Боже, как голова трещит! Со стоном и кряхтением он принял сидячее положение, пытаясь припомнить вчерашние события.

Ситцевая занавеска, скрывавшая кутный угол, колыхнулась, и в комнату вошла Устинья.

– А, голубь, очнулся, – протянула она, – а я уж думала, до обеда проспийшь. В вечер-то прямо за столом тебя сморило, видно, с устатку да непривычки; едва мы с Даниловнами тебя на лавку перетасили, вот ведь как. Похмельиться-то не желаешь? Наливка ещё осталась.

– Не-ет, что вы, Устинья Тимофеевна! – замахал руками Кирилл. – Мне с вашей наливки всю ночь что-то невообразимое снилось, вспомнить жутко. Будто я сам угодил в одну из тех бывальщин, что вы давеча мне рассказывали.

– Всяко бывает, – философски заметила Устинья.

– Который сейчас час? – поинтересовался Кирилл.

– Уж шесть утра.

В подтверждение её слов снаружи донеслись автомобильные гудки. Кирилл вскочил и заполошно заметался по избе, собирая пожитки.

– Патефон свой не оставь, – напомнила Устинья, – чай, вещь дорогая, опосля плакать будешь.

– Ну, спасибо вам, Устинья Тимофеевна, за всё, – уже в дверях поблагодарил он хозяйку, – побегу – водитель ждать не будет.

– Лети, лети, голубь, – махнула рукой старуха.

Когда полуторка тронулась, водитель, угостившись сигареткой, спросил:

– Это в чьей же избе ты, паря, ночевал?

– Вон в той, – указал Кирилл, – а что?

– Шуткуешь? – усмехнулся водитель. – Тот дом давно пустой стоит.

– Ну вот ещё! Как же пустой, когда в нём Устинья Тимофеевна Полоротова за хозяйку.

Шофёр повернул голову и внимательно посмотрел на Кирилла.

– И что, она вот прям сама тебя принимала?

– Ну да, – пожал плечами Кирилл, – сама. У неё ещё две старушки Мосоловы были.

– Это ж какие Мосоловы?

– Фёкла с Евдокией.

Водитель только крякнул и покачал головой.

– А что не так? – удивился Кирилл.

Сбавив ход на повороте, шофёр указал ему на кирпичное строение, возвышающееся на околице деревни.

– Видишь тот дом каменный? Это здешний клуб. А прежде в ём церква была. А за нею – кладбище, оно и сейчас есть. Вот на том кладбище они и лежат.

– Кто «они»? – не понял Кирилл.

– Полоротова Устинья и сёстры Мосоловы. Устинья-то уж лет пять как померла, а Мосоловых в прошлом году схоронили, я сам на ихних поминках водку пил.

– Ты чего-то путаешь, – нахмурился Кирилл, – этого быть не может! Я же с ними за столом сидел... чуть не всю ночь.

– Это тебя кто-то запутал, паря. Или глаза отвёл. Тут такое бывает.

– Да нет... не может быть! Чепуха какая-то. Кто кому чего отвёл... Пстой! У меня ж они записаны! Вот же! – Кирилл выдернул из сумки магнитофон, перемотал кассету в начало и нажал воспроизведение.

Сперва из динамика раздался какой-то треск, а затем послышались странные звуки, напоминающие зловещее квохтанье; они всё усиливались, усиливались, нарастали и вдруг – истошный, полный нечеловеческой злобы вой резанул им по ушам! Челюсть у шофёра отвисла, он выпучил глаза и резко крутанул баранку. Полуторку вынесло на обочину, и она на полном ходу ткнулась мордой в ствол могучего кедра.

Скорость была не очень велика, и водитель лишь порядком приложился грудью о рулевое колесо, а вот Кириллу повезло меньше – он вышиб головой лобовое стекло так, что половина его туловища оказалась на капоте. Шофёр скоро пришёл в себя и втащил Кирилла обратно в кабину.

«Эй, как ты, паря? Чего ты?» – спрашивал он, тряся пассажира за плечи. Голова у того безжизненно мотнулась и упала на грудь. Увидев выпирающий шейный позвонок, шофёр прижал ухо к его груди – сердце не билось, Кирилл был мёртв.

Елена ТУЛУШЕВА

Родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького.

Автор двух книг рассказов и многочисленных публикаций в «Литературной газете», «Литературной России», «Дне литературы», журналах «Наш современник», «Юность», «Роман-газета», «Москва», «Нижний Новгород» и других российских, а также в зарубежных русскоязычных изданиях. Лауреат ряда литературных премий Участница Литературного фестиваля молодых писателей России и Китая в Шанхае (2015), Фестиваля молодых писателей России, Беларуси и Украины в Минске (2016), XIII–XVI Форумов молодых писателей России и зарубежья.

Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ПАПА

– Так, смотри, доча. Это называется противопехотная мина! Щас мы ее будем о-без-вре-живать, – отец кряхтит и что-то отворачивает. Ей не видно. – Главное, тут быть предельно аккуратным, а то все на хрен поляжем! – он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда видела его трезвым. Когда она его вообще последний раз видела... Варя всегда зовет ее, когда он звонит. Варя хочет быть хорошей дочерью. Может, ждет, что папа вернется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках какая-то коробка, как из-под печенья, только грязно-зелёного цвета. Ксюша не знает, как выглядит мина. Она не верит отцу. Он хочет покрасоваться, произвести впечатление на дочь. Когда-то такие попытки вызывали у неё раздражение и жалость. Теперь – только раздражение.

* * *

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван один на троих. Спят двойным валетом: в середине мама, по бокам Ксюша с Варькой. На отдельные кровати места нет. Мама говорит, почитай Солженицына, поймешь, что люди в бараках и не так спали. Ксюша не знает, кто это. Она не хочет знать про бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не спрячешь, не укроешь. Мама говорит, почитай Ремарка, поймешь, что беженцы и не так

жили... Ксюша не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать про беженцев. У нее есть дом. Он целый, он стоит там, где даже не стреляют. Она не просила забирать ее сюда.

Мама говорит, почитай Шаламова... почитай Газданова... почитай-почитай-почитай, поймешь-поймешь-поймешь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь как будто. Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно.

Мама с переездом стала разговаривать тихо, и ходит она будто пригибаясь всё время. Вместо школьных сочинений у неё школьные туалеты, коридоры, швабры, тряпки. Учителем никто не взял. Похоже, это её сломило, Ксюша не знает. Ей не хочется видеть такую маму. Маме и самой себя, наверное, видеть не хочется.

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся на окраине у родственников. Папа перевез их после того, как ночью к ним приходили... Дед иногда звонит маме или Ксюше: «Смотрели новости? Вон как мы их покروшили, скоро совсем разбегутся! Твари, в школу попали, там дети невинные, а этим плевать». Ксюша сочувственно мычит. Если бы она была там, ей бы тоже, наверное, сочувствовали. А она здесь. В «лучшей жизни». Здешним не сочувствуют. У них же все должно быть хорошо.

– Страшно было? – спрашивали ее одноклассники

Страшно? Если они про войну, то Ксюша не помнит: они уехали за годя, с первыми выстрелами. Страшно было еще за пару лет до того, как весь мир обернулся на их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксюша высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь ванной, орет. Мама там, внутри. Варька выбегает заспанная, она всегда спит крепче Ксюши, бежит к отцу, плачет, тянет его. Он продолжает дергать дверь, та будто вот-вот оторвется, как в мультиках, и отпружинит вместе с отцом аж до самой комнаты. Варя обвиняет отца руками, рыдает. Уходят на кухню. Он дергает ящики, звенят столовые приборы, что-то ищет. Потом снова кричит в сторону ванной. Уходит, хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. Темно, высматривают отчаянно. От дыхания окна запотевают, приходится тереть. Вон, вон внизу отделилась тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачиваясь. Через дорогу гаражи. Ксюша слышит, как Варька начинает шептать: молится, чтобы машина не завелась. Ксюша слезает с подоконника и оглядывает кухню. На стене вмятина: дверца шкафчика ударяется, ее ручка оставляет след – раз за разом, ссора за ссорой. На этот раз посуда на месте, отец только солонку смахнул и корзину с яблоками. Вместе с клеенчатой скатертью свалил. Ксюша поднимает клеенку, на ней виноградные листья и коричневая клядка кирпичной стены. У них такие же обои в коридоре. У половины ее подружек такие обои, тоже как будто клеенчатые. Маме легко их мыть, если отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и приговаривает: «Хоть обои менять не нужно».

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрачная. Прозрачные самые плохие. После них всегда жди ссоры. Еще бывают коричневые и зеленые. Их обычно больше, но после них отец веселый, и мама тоже.

Ксюша идет к ванной, стучит тихонько: «Выходи, он ушел». Мама включает воду, какое-то время еще сидит. Потом выходит. Запирает входную дверь на ключ и цепочку: «Идите спать». Варька берет Ксюшу за руку и тянет в комнату. Они ложатся, но Ксюша еще долго слышит, как мама всхлипывает на кухне.

Наутро Ксюша идет в школу с красными опухшими глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так Варька велела. Варька взрослая, она лучше знает, у нее даже сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала на хранение. На вопросы учителей Ксюша врет: прищемила палец с утра или кошка убежала, не нашли.

Отец не всегда был таким. Ксюша помнит: он работает водителем в каком-то управлении. На праздники ему всегда выдают для детей подарки. Вечерами он укладывает Ксюшу с Варькой спать. Папа рассказывает про деда, про его ранения в Афгане. Сам папа мальчишкой гордился своим отцом, таскал в школу его медали. Ксюша не рассказывает про своего папу в школе. У него тоже есть медали из другого места с коротким, резким названием. Чечня. Ему до сих пор платят деньги за то, что он там воевал. Гордо говорит «пенсия», но ведь он совсем не старый: Ксюша не хочет, чтобы в школе думали, что ее папа уже пенсионер, как дедушка.

Потом – скандал. Она помнит урывками. Отец подрался, сломал кому-то челюсть. С работы выгнали. На новую не берут. В городе всё про всех знают. Он перестал провожать их в школу, лежал допоздна. Да и после школы они теперь редко общались.

* * *

Толстая тетка-соцработник проводила ее в комнату. «Вот, располагайся, это твоя кровать».

Первый раз в приюте. Мать решила ее проучить: раньше грозила, а на этот раз исполнила – сказала в ментовке, что забирать не будет, они и переслали Ксюху через опеку в приют на перевоспитание. Мать, конечно, долго терпела, ее понять можно, приводов в детскую комнату уже никто не считал, опека вызванивала каждый месяц, мозг прокапывали, что «надо последствия дать». Но все же Ксюха до последнего надеясь, прокатит. Обидно, что в этот раз ее забрали просто по дурости. Она даже не пила, просто подошла к парням сигаретку стрелнуть, заболталась, а тут эти нарисовались, с мигалками. И главное – весна на подходе, можно по свободным дачам мотаться, а ее вот закрыть хотят...

Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут осмотреться. В принципе с виду нормальное место. Типа летнего лагеря. У нее даже отдельная кровать. Ого, да тут на три койки в палате отдельный душ и туалет. И тумбочка у каждой своя. По ходу, лучше, чем у бабки.

В комнату влетела толстая девица с рыжими длинными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, вся в веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик «Летучий корабль». Таковую девицу наряди в сарафан, и прям боярыня, или кто там была эта поднывала «по-любви-хочу».

– Привет, ты че, новенькая? Как звать?

– Ксюха...

– Ты к нам откуда? Из дурки?

– Не...

– Жаль, а то думала, вдруг ты кого из наших видела, – рыжая окинула взглядом Ксюху, ее кровать, заглянула ей за спину. – А вещи твои где?

– Нету, меня из ментовки сразу сюда.

– Че, и телефона нет? – рыжая недоверчиво прищурилась.

– Не, потеряла на днях.

– Ой, трынди больше! Загнала небось. Без телефона здесь никуда! Но я тебе подскажу, как добыть! – рыжая хитро улыбалась. Ее огромные навывкате глаза превратились в две щелочки. – Я тут всё знаю. Это тебе не дурка, это приют. Здесь все можно, только уметь надо. На, глянь! – рыжая не без усилий выудила из кармана обтягивающих джинсов айфон. Ксюха не знала, какой он модели, она таких и в руках не держала. Но точно знала – айфон.

– Крутяк? А, забыла сказать, я – Ирка! – Ирка протянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. – Кучу бабла стоит!

– Да я представляю. Богатая ты...

– Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. – Рыжая стянула резинку и начала наскоро заплетать волосы в косу. Косища выходила огромная.

Ксюха, пожалуй, в тот момент завидовала больше Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове росла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого торчащая в разные стороны. Про «красивая» Ирка, конечно, загнула – за жиром не поймешь, а вот волосы... Волосы и здоровенные сиськи... – Ксюха вздохнула. Ни того, ни другого у нее не имелось.

– Так что держись меня, я тебя с нужными ребятами познакомлю, тебе тоже чё-нить перепадет.

– Это здесь, в приюте?

– Ага! Шаз. В приюте одни мелкие. Нашего возраста. Откуда у них айфон. Это там, снаружи! – Ксюха подмигнула. – Арик – мой парень. Он строитель, в общежитии живет. А айфон где-то отжал и мне подарил! – Ирка выхватила мобильник и начала в него тыкать. – На, глянь, это Арик.

– Так он взрослый... – на заставке какой-то усатый мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

– Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол, впаяют ему за меня – «совращение малолетки!» – Ирка громко, по-лошадиному, рассмеялась. – Зато мужик нормальный, а не эти, хлюпики местные. Сейчас в приюте из парней только Димка да Леха нормальные. Но Димка – мой, токо подойди, я те так вставлю! – Ирка сложила свои пухлые пальцы в кулак, по ее лицу было непонятно, шутит она или правда двинет для убедительности. Кулак выглядел основательным, костяшки в мелких шрамиках, видать, боевая.

– Да у меня есть там парень, снаружи, – Ксюха прикинула, как бы Мишка отреагировал на статус *ее* парня... – А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:

– Ну, Арик – это снаружи, а здесь Димон. Тупо так называть, скажи? А этот придурок говорит, зовите меня «Димон». Я ж сказала, в приюте все парни того, долбанутые. – Ирка картинно постучала себе по голове. – Ну, пошли, короче. Че стоишь?

* * *

– Сейчас Клоун съест Бога...

– Что?

– Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Видишь вот эту тучу? – Пальцы у Мишки длинные и обветренные. – Вот это нос, ниже улыбка такая кривая, как в ужастиках, а вон – как колпак, видишь?

– Вроде того. А че глаз нет?

– Злу не нужны глаза, оно и так всех нас найдет... – Мишка сказал это с интонацией старой гнусавой озвучки фильмов.

– А где Бог?

– Вон справа медленно подплывает. Видишь: длинные волосы и рука одна вперед тянется: «Покайся, грешник!»...

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, иссыхающие травинки кололи через подстеленную толстовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, если увидит испачканную. Проще выкинуть, сказать, что на вписке увели. Вот так лежать с Мишкой приятно. Только холодно уже. Мать говорит, придатки застудишь, потом детей не родишь. Ну и норм, нафиг еще дети. Растить кого-то, чтобы он так же мучился?

– Барабанная дробь... Нет, надо музыку как во «Властелине колец», жутковатую такую, когда орки торжествуют! Уррррк-мэг-тэrrrrрэ-пыд-тэ! Сожрал.

– Ну, вообще-то непонятно, кто кого. Они просто слились.

– Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда побеждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка «философствовал». Он и так старше ее на два года, а в такие моменты прям взрослый. Худющий, правда, и прыщи эти... Зато высокий и умный. Хоть поговорить можно.

– ...Богу не победить зло: мы же его дети, но распустились очень. У твоей мамки вас двое, и то на тебе уже выдохлась. А Бог наплодил нас шесть миллиардов, как тут уследить? Наши развлечения Ему не по душе, но что Он может сделать. Жить нам скучно. Ищем удовольствий. Кто помладше – наркотики или там зацепинг, драки. Мужикам вроде как уже не подходит, им пожестче надо, чтобы адреналин получить. Они и придумали войны. Давно придумали. И ведь сколько веков работает, отвлекает от скуки. Помнишь у БИ-2: «Революция – она похожа на женщину, которая даст тебе самое большое счастье на свете, но наутро убьет тебя. Именно поэтому не будет в мире больше революций, потому что не осталось у этой женщины женихов».

– Так это про революцию.

– Да война по сути то же самое, только с продолжением. Война соблазняет мужчин, забирает себе, и они идут за ней, не видя других женщин.

...Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, что-то еле слышно напевающие. В профиль он больше тянул на свой возраст. Она все не решалась спросить: они вроде как встречаются или так, друзья? Боялась, рассмеется или вообще подумает, что она того. Они часто бывали вместе. Можно было в любой момент набрать Мишке и пойти шататься куда-то вместе, это грело. А вот определенности все же не хватало. Вообще за последний год ей все больше хотелось внятности, чего-то спокойного, своего, но образ девочки-дурашки, что-то все время не попад говорящей, был настолько привычен и забавен для знакомых, что менять его было страшновато, да и на что менять – неясно.

– У меня последняя сига осталась. Надо пойти стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвернулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы не думал, что она тупая.

– Бабка говорит: «Бог – это совесть». Типа всем нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, там эти сектанты анонимные говорили, типа Бог – это любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натворили, главное, завязывайте, и Бог все простит, потому что любит.

– Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог любит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

– Он же бессмертный?

– А толку-то что? Бессмертный – не критерий. Камни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, тысячи лет там лежат и еще столько же будут. Но это не значит, что от них что-то хорошее в мире происходит и надо начать в них верить... Хотя, кстати, было бы неплохо. А что, давай создадим свою веру в вечные камни или океан? Секту слепим, деньги собирать будем.

– Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.

– Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в тебе меркантильность берет верх!

– Деньги не пахнут.

– Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, бесстыжих. Хотя ей-то тоже туда билетик выпишут, мощная она у вас ведьма!

– Не говори.

– Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтинник есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.

– Опять я?

– Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настреляет. Вот ты кому б дала: тебе или мне?

– Я б тебе дала, конечно!

– Я учту, – расплылся в улыбке.

* * *

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бежал, без броника. Не поверишь, первое время думал, пусть хоть подстрелят, все равно жить тошно. Может, хоть поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. Каждый день: деньги да деньги. Потом – алкаш да алкаш. Я мужик, мне выпить нельзя? На ее, что ли, деньги пил? Я военный, мне дело нужно, а не по базарам ходить да домашку у младшей проверять. Она сама училка, вот и занималась бы девчонками.

А я мужик. Воин. Мыдохнем от скуки. Виноваты, что ли, что так устроены? Онидохнут без своих журналов да сплетен, а мы без войны мрем. Но ничего, жизнь, она всё на свои места вернула, напомнила, где я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинится. Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удобствами, школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! Денег на дорогу дал, проводил. А она каждый звонок как заведенная: деньги пришли, деньги. Я тут, блин, под пулями хожу, а ей только деньги! Что там у них, работы нет, что ли? Сидит, жопу свою поднять не может! Девки взрослые: Варька в институте, Ксюха школу дотягивает. Времени у жены до хрена, пойдида заработай! Так задолбала, сил нет! Прислал ей бумаги на развод. Пусть думает. А ей хоть бы что, сказала: подпишет! Тварь. А я тоже человек. Я два года ждал! Пока она перед фактом не поставила, что к мужику переезжает. Невозможно, видите ли, с матерью однушку делить! Конечно, две змеи в одном гнезде.

К мужику так к мужику. Я даже, знаешь, в тот момент не разлился. Отпустило как будто. Два года ее не видел, уже ничего к ней и нет. Ну и мне чего одному скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не нужно. Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. А здесь одинокой бабе тяжко.

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через год снова вернулась. Да только я больше не позову. У меня теперь Маруся. Молодая.

Бесит, что младшую настраивает против меня. Что ни звонок, так мычит просто. Ни тебе «папа», я уж молчу про что ласковое. Видать, мозг ей пропесочивают, что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, Ксюха, сама поймешь, что отец таких вот, как ты, здесь спасает, чтобы жизнь у них нормальная была, чтобы, как ты там, могли они здесь засыпать со своим плеером, а не под артобстрелы.

* * *

– Ну чего, док? – Яныч шагнул навстречу. В пустом коридоре отданной под МПП * сельской школы его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее затишье, все отсыпаются.

– Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить принес.

– Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж тебя расцелую!

– Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не баба. Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на ногах.

– Да это я мигом, сейчас ребят кликну!

Окунь глянул вслед подпрыгивающей походке Яныча. Радует. Пусть радуется. Ребенка из-под обстрела вынес. О том, что мальчику, скорее всего, придется отрезать ногу, он скажет Янычу завтра. А может, вообще не скажет. Главное, живой. Перевозка едет, через час-другой пацана переправят в город в нормальную больницу, там разберутся. Отрежут конечно, тут выбора нет. Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколько ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. А скольких не успеют... А все из-за глупости. Людской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопросах, не любил делить на добро и зло. Но его бесили родители, оставившие детей под огнём.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. Дал мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спасти жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы дети попадали к нему на стол. Не уехать все равно, что ждать смерти. Ладно мужики: они пришли сюда воевать. Это их выбор, их работа, если угодно. Войны были всегда. Работа военных – воевать. Но дети?! Окружения нет, почему ж вы их держите тут? В блокаду детей переправляли в тыл, зная, что, может, потом не найдут никогда, сколько их растерялось по стране. А теперь – в чем проблема? Да здесь даже на передовой каждый второй солдат выкладывает в сети свои фото, у всех телефоны, скайп, позвонить родным хоть во Владивосток можно. Отправь ты подальше детей – каждый шаг отследить сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее будет. Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ проверенный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в стену, но сразу кто-нибудь заметит, уставится, обернется или, наоборот, отойдет в сторону. Здесь нервным не место. Война.

Только поговорить не с кем. За его мысли любой пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: у него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он получает за это медали местного отлива и непризнанные там, в реальной армии, должности. Потому и сидят здесь такие майоры и подполковники... Не первый год уже. Не вернуться им назад.

Здесь они мужики. Герои. А кого из них сейчас в Москву перекинь да заставь крутиться, чтобы и жилье снять, и семью накормить. Да ладно семью – себя да кошку. И нет их силы, исчезнет вся. И уважения там не сыщешь, хоть обвешайся медалями. Там другая разменная монета. Другие герои. Эта война ценится только теми, кто в ней.

Окунь не такой. Мужики дразнят его терминатором. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь держится. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их породы. Догадывается по тому, как Окунь тихо выпьет свое, пока остальные обмывают шумно новый успех, как отмолчится во время тостов. Он профессионал *своего* дела. Он ехал сюда, чтобы отточить мастерство. Московский хирург. Там, дома, конкуренция лютая. Либо в частной шарашке сиди зевай, либо в больнице аппендициты режь. А в каком-нибудь Склифе или Боткинской таких, как он, одаренных, толпы. Не прорваться. Зачем себе врать – пробиться там не смог. А тут, думал, раз война, то в местных больницах точно пригодится, ценным будет, «столичный врач», дослужится если не до главного, то хотя бы до заведомости. А через несколько лет обратно с записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, персонала в избытке: все региональные врачи, кто не уехал, от огня перебрались поближе к крупным центрам. Что ж, логично.

Осталась только военка. Ничего, он не из трусливых. Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока там дома хирурги-пенсии уступят наконец место. А здесь он не просто врач на все руки, он параллельно управляет бесконечным организационным процессом. Он и голова, и шея, и весь организм этого госпиталя. Да и травмы такие, что в Москве раз в пять лет увидишь. Опыт, конечно, бесценный. И сам ощущаешь, как мастерство с каждым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, не на детях же...

Окунь выдохнул, порылся в кармане. Вторую ручку он сломал еще после полудня: палили бесперебойно, солдат привозили пачками, в основном осколочные. Одного недоглядел. Просто не успел. Внутреннее кровотечение.

* * *

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. Поют. Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда на полную громкость звучало «Любэ». Она точно знает, чей это голос. Сначала замедляется, прислушивается, едва ступая, подходит ближе. Люди без зонтов нерешительно выглядывают наверх. Там снаружи дождь. Август выдался мокрым и серым.

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем несколько помятых купюр. Еще двое по бокам чуть сзади с гитарами. Они молоды, погруженный с годами отец выглядит на их фоне нелепо. Руки его заканчиваются в районе локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтягивали то место, где прошелся нож хирурга. Так прохожие точно поверят, что ампутированы. Все трое в камуфляже. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с поезда пьяный, поддерживаемый таким же поддатым дружкой, Ксюши дома не было. Ей потом бабка рассказывала. Мама после этого неделю ходила потерянная, но Ксюша разговоров с ней избегала. А бабка все причитала: мол, куда же он пошел, как ему теперь жить. Повторяла, что отец передал матери деньги. Десять тысяч. Первый раз за столько лет. Ксюху злило

непонятно откуда появившееся бабкино сочувствие. На хрена он припёрся! На жалость надавить? Повоевал, а как инвалидом стал, вспомнил, что семья есть? И гордый такой – не остался, вроде как благородный, пришел помочь, а самому ничего от них не надо. Ксюха нарочно старалась растравить обиду.

Уставилась на отца.

Как много я говорила о тебе. Психологи, врачи, приют, наркологички, реабилитационный центр... Все наши разговоры упирались в детство. В последнем центре я даже врала, что ты умер! Думала, так больше шансов, что не будут спрашивать. Что не придется снова тебя обвинять, ненавидеть. Как много неотправленных писем написала я тебе... Они говорили, что так станет легче, что так выйдет вся боль...

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За мамино нового мужика, который оказался таким же пьющим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не трогал, зато наливал мне от доброты своей. А знаешь, я ведь тогда и начала все пробовать. Сидела с ним на кухне и настойку эту мерзостную пила. И о тебе думала: вот папочка, я твоя дочь, доволен? Отомстить тебе так хотела. Ты ведь первое время все убеждал меня: мол, ты за нас воюешь, чтобы у нас с Варькой было все хорошо. Мне так хотелось, чтобы ты понял, что у нас все плохо. Варька в отличницу играла. В институт перевелась, подрабатывать начала, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, решила по-другому. Захотела до дна дойти. До-о-олго вроде спускалась. Да только потом поняла, что ты ведь раньше меня туда пошел и оттуда снизу не замечаешь никого, кто еще не так глубоко спустился. Я сама постепенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытаскивать. Заметили и давай звать. Люди стали в жизни появляться нормальные. И снова вниз – не захотелось.

А ты – вот. Стоишь в двух шагах. Но почему-то все это тебе говорить уже как будто незачем... И сердце сжимается от боли.

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак выцепил ее взгляд... Петь перестал. Смотрит. Ей сдавило все так, что вдохнуть больно. Ни сказать, ни крикнуть, ни отвернуться.

Папа, не надо. Пошли домой.

Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России. Живет в Нижнем Новгороде.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Петр Васильевич уже давно был в солидном возрасте, но жил активной жизнью: занимался общественной работой, возглавлял совет ветеранов. Генерал в отставке, всегда подтянутый, аккуратно выбритый, с красивой сединой, ростом под метр восемьдесят, он продолжал трудиться, каждый день ходил на работу, помогал сослуживцам. Правда, после смерти жены немного сдал, но подлечился в ведомственном санатории и опять за работу, в совет ветеранов. А там появилась юная помощница из волонтеров – чуткая, внимательная, добрая, симпатичная, пухленькая, курносенькая, с розовыми щечками, пышущая здоровьем девушка. Приехала она откуда-то из глубинки. Здесь, в городе, не было у нее ни кола ни двора, и имя у нее было необычное – Фрося.

В период своей молодости он много раз смотрел фильм «Приходите завтра», где главную героиню звали Фрося Бурлакова, и он тогда безумно был влюблен в эту девушку с Урала. Сравнивая Фросю из его юности и Фросю, появившуюся в его реальной жизни, Петр Васильевич с удовольствием думал, что «его» Фрося, пожалуй, по-симпатичнее той, киношной. Но тут же хмурился, вспоминая слова своего командира, который говорил, что когда мужику перевалит за шестьдесят, все женщины младше сорока, все без исключения, кажутся старым пердунам красавицами. Может, так, может, и не так. Но тот же его командир, которого Петр Васильевич уважал бесконечно, говорил, что самая лучшая жена в старости – это сиделка с медицинским образованием.

Петр Васильевич поинтересовался у волонтерки Фроси ее образованием, и она ответила, что окончила медицинское училище.

Петр Васильевич крепко задумался.

После смерти жены жить стало скучно и неудобно. Детей они не назвали, и старость все больше и больше давила одиночеством. Вдобавок

то тут заболит, то там заболит. Застолья и встречи с товарищами начали утомлять, а не веселить, как раньше. Появилась физическая усталость – ежеминутная, каждодневная. Поэтому все чаще и чаще Петр Васильевич начинал подумывать о помощнице по дому и по дальнейшей жизни.

А тут Фрося.

И, как опять же говаривал его командир: «девушка из деревни, которая слаще морковки ничего не едовала».

И Петр Васильевич все чаще и чаще стал представлять себе свою старость, такую тихую, уютную, с юной женой, пышущей здоровьем, которая всегда рядом: и днем и ночью, в радости и в горе...

– Неплохо, неплохо, – шептал сам себе Петр Васильевич.

Но уж больно была большая разница в возрасте между ним и Фросей.

У Петра Васильевича имелась квартира в центре города, джип иностранного производства, дом в коттеджном поселке недалеко от города, солидные сбережения, а у нее ни кола ни двора. Он – генерал, а она кто? Кто ее родители? Непонятно. Да и молодежь сейчас живет совсем в другом мире, другие герои, интересы, желания. Могут произойти недопонимания. Все это тревожило, смущало и беспокоило Петра Васильевича.

Он даже вспомнил известную картину «Неравный брак», на которой было изображено венчание старика и убитой горем молодой девушки. Правда, это было в позапрошлом веке, но все равно Петру Васильевичу такой картины в его реальной жизни не хотелось.

После долгих раздумий, взвесив все за и против, он решил рискнуть. Купил репродукцию этой картины, повесил ее в своем загородном доме, а потом пригласил туда в гости Фросю.

Приехав в гости к Петру Васильевичу в его загородный дом, Фрося посмотрела на картину и сказала, что все это ерунда, а главное – любовь, которой все возрасты покорны, и... осталась на ночь.

Утром Петр Васильевич понял, что он влюбился, как пацан, по уши! И, как ни странно, это его нисколько не смущало и не тревожило, а даже он был рад этому. И мысленно благодарил судьбу за такой подарок.

Днем они уже вместе смотрели семейные и служебные фотоальбомы. А когда Петр Васильевич рассказал, как и от чего умерла его жена, Фрося даже всплакнула, чем окончательно растрогала Петра Васильевича.

Фрося с большим интересом перелистывала альбом с фотографиями жены, друзей и родителей Петра Васильевича, внимательно слушая рассказы Петра Васильевича о своей героической службе и семейной жизни. И как-то незаметно они перешли на «ты». А когда она стала называть его Петей, он засветился от радости. Так его никто не называл уже лет сорок, и даже покойная жена звала его только по имени и отчеству.

А Фрося все: «Петя да Петя», «Петя, пойдем туда», «Петя, скушай то», «Петя, оденься потеплее...» А когда он как бы понарошку оглядывался: кого это она называет Петей, Фрося заливисто смеялась, открывая стройный ряд мелких белоснежных зубиков, которые очень нравились Петру Васильевичу.

Но если она хмурилась или печалилась, то казалось, она больше переживала за кого-то, чем за себя. Старый генерал видел, что в ней нет никакой хитрости. И, как бы сказал бывший командир Петра Васильевича, Фрося, «как и всякая баба, была дура душой».

«Пусть и так, – думал Петр Васильевич, – лучше с простушкой, чем с умной. От женского ума и хитрости еще по миру пойдешь, если раньше не помрешь».

И пока Петр Васильевич так думал и рассуждал, Фрося все жила и жила у него в его загородном доме. И было так хорошо и уютно Петру Васильевичу, как давно уже не было.

В один из дней они вместе сняли со стены картину Пукирева «Неравный брак», забросили ее в сарай и напрямик поехали в загс. Петр Васильевич пригласил на регистрацию своих друзей-генералов, ему хотелось похвастаться перед ними хорошенькой женой, как когда-то они хвалились друг перед другом новыми погонами.

Свадьбу отмечали в дорогом престижном ресторане. Друзья пришли без своих жен, вели себя скромно, особо не поздравляли. Свадебный банкет закончился боевыми песнями, генеральскими шутками и недвусмысленными пожеланиями долгих лет счастливой семейной жизни.

Жизнь у Петра Васильевича потекла как в раю. Квартира и загородный дом наполнились смехом, молодостью и здоровьем. Петр Васильевич был счастлив, помолодел, забыл о своих болезнях и всем рассказывал, как трепетно его Фрося ухаживает за ним, как она его любит и что он обрел в старости покой и счастье.

Петру Васильевичу стали завидовать его бывшие сослуживцы. А Фросе завидовали ее подруги. Шептались и почему-то злились на нее.

Но в конце медового месяца Петр Васильевич неожиданно почувствовал себя плохо. Вызвали скорую. Врач, послушав, посмотрев и пощупав Петра Васильевича, сказал, что ничего страшного, просто сказались волнения последних событий и дополнительные физические нагрузки вперемежку с эмоциональными всплесками. Услышав эти слова, Фрося покраснела, а врач, прописав лекарства и покой, посоветовав молодоженам беречь друг друга, покинул семейное гнездышко.

Фрося не отходила ни на минуту от Петра Васильевича. Не спала, не ела, сама делала уколы, мерила пульс и кормила Петра Васильевича из ложечки. Она быстро выходила своего мужа.

После выздоровления Петр Васильевич перекрестился и поблагодарил Бога за то, что Он подарил ему такую девушку, то есть жену.

«Теперь можно жизнь доживать спокойно», – решил для себя Петр Васильевич.

Видя это, друзья стали говорить про него: «Счастливчик». А подруги Фроси вместо зависти теперь жалели ее и говорили: «Бедная, убивает свою молодость: не спит, переживает, убирает, подмывает, стирает, бегаёт по аптекам... Господи, он-то старый, больной, скоро помрет, а она молодая, здоровая, превратится в старуху!»

Но Фрося делала свое женское дело и делала, и была счастлива не меньше Петра Васильевича. Все у них было прекрасно. Оставалось только жить, не обращать внимания на пересуды и радоваться жизни.

Сколько проживет Петр Васильевич, и хватит ли у Фроси терпения на уколы, бессонные ночи рядом со стариком? Это уже был другой вопрос. Каждый из них выбрал свою судьбу, и все вроде дальше в их жизни было понятно.

Но тут судьба решила посмеяться над бравым генералом и преподнесла ему сюрприз.

Фрося забеременела.

Петр Васильевич вначале опешил. У него никогда не было детей. А тут, в таком возрасте, и вдруг дети?.. Ему никак не хотелось делить еще с «кем-то» так удачно устроенную старость.

Петр Васильевич замкнулся, стал раздражительным, потух и скорбился.

Фрося быстро поняла, что к чему, а поняв, быстро успокоила старого генерала. Сделала аборт.

Потом второй. Потом третий.

Когда пошла после очередной задержки к гинекологу, ее без объяснения причин не отпустили из больницы. Вызвали Петра Васильевича.

Рак.

Петр Васильевич прямо как с разбегу в стену... Первая его жена умерла от рака груди, но с ней-то они прожили сорок лет, а тут – на тебе: Фрося, девочка...

Врач заявил, что причина онкологии – аборт.

Прямо так и плюнул этими словами Петру Васильевичу в лицо.

А Фрося, как узнала про диагноз, страшно напугалась:

– Петя, что это?! За что?! Что я плохого сделала?!

Петр Васильевич после этих слов стал во всем винить себя. И в смерти первой жены, и в болезни Фроси. Впервые ему показалось, что жизнь его закончилась. Хотел застрелиться, но не стал этого делать. Себя не было жалко, жалко было Фросю. Решил, что надо ее спасать.

В больнице Петр Васильевич оформил платное лечение, перевел Фросю в ВИП-палату, договорился с лечащим врачом о солидном вознаграждении. Оформил на себя вторую кровать в ее палате и стал дежурить у Фроси круглосуточно.

А она только плакала да обнимала Петра Васильевича, и все твердила:

– Ты прости меня, Петя, прости, я не нарочно.

Петр Васильевич гладил ее по стриженной головке и повторял:

– Все будет хорошо, верь мне. Никому тебя не отдам... никому.

– Я верю, Петенька, верю. И ты верь мне. Я поправлюсь, и у нас опять все будет хорошо.

– Мы с тобой всех победим! – уверял Фросю Петр Васильевич.

Ухаживал за ней он легко и быстро, с шутками и прибаутками.

А на самом деле Петру Васильевичу было тяжело. Тяжело физически. Приходилось постоянно бороться с самим собой. Бороться со своей дряхлостью, старостью, болезнями, немощью. У него самого был сахарный диабет, гипертония, страшные боли в пояснице и в левом боку. «Вот тебе и счастливая старость», – мысленно говорил себе Петр Васильевич.

Но даже посторонние, когда видели, как он быстро, осторожно и аккуратно ухаживает за своей больной женой, думали, что ему лет пятьдесят, не более, и что он сильный и здоровый мужчина.

Он всеми силами старался не показывать, как ему тяжело нести это бремя. Иногда даже подать стакан воды Фросе стоило ему большого труда. Но Петр Васильевич ухаживал за Фросей так, чтобы не только она, но и врачи не замечали, как ему тяжело и больно.

После трех месяцев усилий врачей, мучений Петра Васильевича и терпения бедной Фроси она стала таять прямо на глазах. Последние дни жила только на обезболивающих уколах. По ночам, когда вся больница затихала, а Фрося забывалась от снотворного, Петр Васильевич, убежденный атеист, ставил в правом углу палаты маленькую фотоиконку

какого-то святого, вставал на колени и молился придуманными им самим молитвами, в которых просил спасения для своей бедной девочки. И даже предлагал свою жизнь за жизнь Фроси.

Но Фрося не выздоравливала.

И опытная пожилая санитарка шепнула ему:

– Готовься, милоч, сегодня в ночь преставится.

Да и сама Фрося, очевидно, это почувствовала. Вечером попросила у Петра Васильевича листочек бумаги и карандаш. Что-то там нарисовала, не то написала карандашиком на листочке, аккуратно сложила листочек и отдала Петру Васильевичу.

Тихо попросила:

– Посмотри потом... когда... когда я там уже буду.

И показала глазами на небо. Потом закрыла глазки и умерла.

Петр Васильевич зажал этот клочок бумажки в кулаке. Задрожал и впервые боевой генерал заплакал.

И уже дома, после похорон, Петр Васильевич, уставший и обессиленный, совершенно случайно нашел в кармане бумажку Фроси. Ее предсмертное послание. Нашел, но долго не мог развернуть и прочитать.

Боялся.

Что там? Просьба? Прощение? Проклятие?

Помял, помял бумажку Петр Васильевич и развернул.

А там было нарисовано маленькое пронзенное стрелой сердечко и написаны лишь два слова:

«Люблю тебя».

Поэзия

Евгений СЕМИЧЕВ

Родился в 1952 году в Новокуйбышевске, Самарская область. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А.М. Горького. Преподавал в Самаре, был директором Новокуйбышевского Дворца культуры.

Автор десяти поэтических книг, а также многочисленных публикаций в периодических изданиях России и зарубежья. Лауреат премий имени М.Ю. Лермонтова, Александра Невского, премии «Новая русская книга – 2002», Большой литературной премии России. Включён в список классиков XX века по версии Пушкинского Дома Российской академии наук.

Секретарь правления Союза писателей России. Живёт в Новокуйбышевске.

ОСКОЛКИ НЕБЕСНОГО СВЕТА

* * *

Вы меня уже не вспомните.
Но зачем и для чего
Моё сердце грустью полните,
Надрываете его?

Не коснувшись вашей памяти,
Я горю в её огне.
Вы живёте и не знаете,
Что живёте вы во мне.

Приложила все старания
Ваша новая родня.
Но она не в состоянии
Увести вас из меня.

Вы меня уже не вспомните.
Но порой, от всех тайком,
Грустно в зеркало посмотрите
И вздохнёте ни о ком.

И опять себя обманете.
И невинно, как итог,
Только в зеркале да в памяти
Растворится этот вздох.

* * *

В нашей разноликой коммуналке
У детей особые права.
У трёхлетней белобрысой Янки
Можно на стихи занять слова.

Человечек, маленький и слабый,
Чёлочку свою смахнёт со лба;
Выдаст слово звонкое на славу –
Янка в этом деле не слаба.

Ничего не стоит человечку,
Светлому, как струйка ручейка,
В мутную мою вливаться речку...
Янка в этом смысле велика.

Только ткнётся личиком в ладони,
Грубые шершавые мои.
И они серебряной ладью
Проплывают по морю любви.

* * *

Ходит голубь по карнизу.
Этот местный старожил
На мою соседку Лизу
Глаз горящий положил.

Прикормили хлебной крошкой.
Разучился он летать.
Научился под окошком
Дни и ночи коротать.

«У него не глаз, а лазер –
Говорит сосед Кузьма, –
Он мою супругу сглазил
И меня сведёт с ума.

Это же не бабье дело –
У окна сидеть в тоске,
Словно пресвятая дева,
И вздыхать о голубке».

И ругает птицу Кузя,
И грозит ей кулаком.
И торчат лопатки куце –
Крылышки под пиджаком.

Ходит голубь по карнизу,
Прижимается к стене.
А мою соседку Лизу
Почему-то жалко мне.

* * *

Дерзкая, как наваждение,
Эта сердечная боль.
Детское спецучреждение.
Бритый мальчишеский строй.

Радужность лозунгов муторных
Не обольщает мой взгляд.
В детской колонии утренник.
Шефский концерт для ребят.

Слушают дети внимательно.
Гордо звучит в тишине
Песня о Родине-матери,
Самой счастливой стране.

Той, что дорогою звёздною
В дальние дали зовёт.
И одинокой берёзою
На косогоре растёт.

Зорькою ясною светится.
Колосом зреет в полях.
И никогда не изверится
В горьких своих сыновьях.

* * *

Утопая в тумане по пояс,
Окружённый тайгой с двух сторон,
Динозавр – громыхающий поезд
С боку на бок швыряет вагон.
Будто этот состав бесколёсный.
Нету рельс. Только шпалы одни.
Замедляет он ход на откосах,
Чешуёй беспрестанно звенит.
И своим металлическим басом
Оглушает таёжный простор.
Кровяным воспалившимся глазом
Смотрит в вечность седую в упор.
Как в забытую богом пещеру,
Осторожно вползает в тоннель,
Где у входа на сопке замшелой
Притулилась горбатая ель.
Едут в поезде дерзкие толки,
Изнутри сотрясая вагон.
И вцепился я в верхнюю полку,
И ногою уперся в плафон.
Карогоча, Магоча, Кувыкта.
Я таких не слышал раньше слов.
Я, наверно, не скоро привыкну
К сотрясениям извечных основ.

А когда я уснул, успокоюсь,
Мне приснился во сне динозавр.
Он сказал: «Не похож я на поезд.
Я похож на Казанский вокзал!»

* * *

У сопки таёжный посёлок.
Сквозь облако светит луна,
Как будто уснувший лисёнок
В сияющем облаке сна.

Свернулся в клубок рыжеватый
И смотрит тревожные сны,
Которые спящим ребятам
С рождения снятся должны.

* * *

Прозрачный осенний покой
Сквозит меж стволами – в пробелах.
И, кажется, можно рукой
Достать до небесных пределов.

Такой бесконечный простор,
Что лучше за ветви держаться.
Ведь если взбежать на бугор,
То можно и в небо сорваться.

* * *

Опять сиротеют деревья.
Уже потемнели леса.
Ребята, не хлопайте дверью.
Зачем сотрясать небеса?

Колючий колышется воздух.
И хрупкая гаснет трава.
И падают звонкие звёзды
С небес чудакам в рукава.

Они их до времени прячут.
И ходят печально тихи.
Везёт чудакам!
А иначе
Откуда берутся стихи?

На тёплых ладонях поэта,
Как птицы ручные гостят,
Осколки небесного света.
И рвутся рубахи в локтях.

* * *

Укатил, уехал поезд,
Огоньки свои оставил.
И никто не вздрогнул даже
И в окно не прокричал.
Крепко спали пассажиры.
Осуждать я их не вправе.
Потому что мы привыкли
Спать спокойно по ночам.

И, конечно же, не сразу
Обнаружилась пропажа.
И заплакал спящий мальчик.
И вздохнул старик во сне.
Но опять никто не вскрикнул.
И никто не вздрогнул даже.
И последний огонёчек
Промелькнул в ночном окне.

И на станцию другую
Прикатил наутро поезд.
И бравурно на перроне
Духовой играл оркестр.
Почему нам так приятно
Горевать и думать после?
И кода хорошим людям
Врать друг другу надоест?

Про меня

За окошком склон пологий.
За окошком я иду
По извилистой дороге,
Сам с собою не в ладу.

Серебрится свет в окошке.
Дым валит через трубу.
За забором прячьтесь, кошки,
Ненароком зашибу!

Как же так, постой, приятель,
Кто маячит в том окне?
За столом сидит писатель.
Книжку пишет обо мне.

Не везёт ему, бедняге.
Может быть, таланта нет.
Не выходит на бумаге
Им задуманный сюжет.

Я кричу ему: «Писатель,
Скоро я совсем уйду.
Не поймёт тебя читатель.
Брось ты эту ерунду.

Сочинять меня не надо.
Не старайся. Вот он – я!»
Мимо речки, мимо сада
Проплывает жизнь моя.

Только он меня не слышит.
Всё мрачней день ото дня,
Пишет, пишет, пишет, пишет,
Пишет книжку про меня.

Подвал

Он сказал: «Будем биться на кровь!»
Я вздохнул обречённо: «Согласен».
Он рассёк мою правую бровь.
Я в сердцах его губы расквасил.

Мы курили в подвале тайком,
Как солдаты в окопе, чинарик.
Он со мной поделился платком.
Я ему одолжил свой фонарик.

А потом, чтоб загладить вину,
Мы бутылку вина раздавили.
Хорошо, что принёс он одну.
Мы и так хороши уже были.

Он сказал: «Я домой не ходок!
Твой отец будет жить с моей мамкой».
У меня по спине холодок
Пробежал и застрял под лопаткой.

Я сказал: «Ты домой не ходи.
Мы проспимся с тобой в этой яме
На всю жизнь, что у нас впереди.
И проснёмся навеки друзьями».

Людмила ЕФРЕМОВА

Родилась в 1955 году в Душанбе в семье офицера военно-морского флота. Детство провела на побережье Баренцева моря. Жила также в Прибалтике, на Крайнем Севере, в Якутии, в Нижнем Новгороде и Ашдоде (Израиль). Окончила Горьковский политехнический институт (радиофак), Высшую школу театрального искусства при РАТИ (театральный менеджмент) и Нижегородский институт развития образования (практическая психология). Работала инженером-системотехником, журналистом, театральным администратором, психологом.

Автор книг стихов и прозы «Характер» (1985), «Шла, тихонько напевая» (2003), «Ловец бабочек» (2005), «Сказки нашей жизни» (2010).

Член Союза журналистов России

Скончалась в 2015 году после тяжёлой продолжительной болезни.

НЕ ПРЯЧА СПИНЫ

* * *

Тихий-тихий стук в мои двери,
Выйду на порог, не дыша, –
Нет ни человека, ни зверя,
Только сухо ветви шуршат.

То ли духи, то ли вздохи,
То ли воздух шелестит,
То не птица вдоль дороги –
Горе горькое летит.

Ляжет у окна черной кошкой,
Пеплом окантует крыльцо,
Брякнет у соседа гармошкой,
Бабке опечалит лицо.

То не духи, то не вздохи,
То не воздух шелестит –
Это по большой дороге
Дым отечества летит.

Солнце красное в дыму,
Горе горькое в дому.

ноябрь 2010

* * *

Разбираю детали жизни:
Там футболки, толстовки, джинсы,
Здесь фасоль и бутылка под пробкой
Упаковываю в коробку.
Книги, записи, медикаменты –
Жизни прожитые моменты –
Все складывается на память,
чтоб потом о себе оставить.
Грустно, тяжело и приземленно,
С нескончаемой болью венчана,
Я вернусь, как сказал Джон Леннон:
«Наша жизнь бесконечна и вечна».

Май 2014

* * *

Белый свет рассыпался на части,
как стекло, по полу прохрустел,
и возникли краски разной масти,
и явили семь горящих стрел.

До сих пор он без толку копился,
белый свет, как мимоходом жил,
а теперь вот взял и распустился,
сам себя по сути обнажив.

Белый свет – он призрачно прозрачен,
всех делов-то – сквозь себя пустить
целый мир...
И мир вдруг станет зрячим!
И его уже не запретить!

Но всегда найдется обыватель,
серый, словно тень, что был бы рад
россыпь цвета, канитель событий
в черный упаковывать квадрат.

Март 2014

* * *

Прилетала на море белая цапля,
Поживиться хотела маленькой рыбкой,
Не боялась воды соленой ни капли,
Не была опрометчивой или робкой.

По песку ходила туда-обратно,
С белой пеной сливаясь волной иною.
Ну, красивой была она – ну и ладно,
Но зачем смеяться-то надо мною?

Убегать от волны за волной кипучей,
Тайной страстью заманивать для охоты...
Не поймали мы с ней ничего – так случай.
Улетела она, и я без работы.

23 января 2014

* * *

Приходили ко мне разговаривать разные люди.
Говорили все невпопад и все о своем.
Говорили, что с ними было и что, может, будет,
только мало кто оставался со мной вдвоем.

Я их боли смывала по мере своих умений.
Циферблаты дел заменяла стуком сердец.
Так навадилась, что называть меня стали – гений,
и в мою мастерскую заглядывал сам Отец.

И до самого часа, означенного природой,
я сплетала разные судьбы в единую сеть,
чтоб разверзлись однажды слез библейские воды,
и на землю явился Он – не плакать, а петь.

22 января 2014

* * *

Я ему не говорила,
Я к нему не приставала,
Но, как самке гамадрила,
Мне все время было мало
Утешительной заботы
Без стихов и восхищенья.
У него была работа –
Без измены и прощенья.

* * *

Плохи дела мои, плохи,
Ахи мои и охи,
Охи мои и ахи
Рвут меня, как собаки.

Где же мои смешочки?
Где моя радость жизни?
Солнечные денечки
Скуксились, как на тризне.

Чем бы мне им потрафить,
Чтобы опять вернулась
Взрывоопасным драйвом
Дерзкая моя юность?

Знаю одно лишь средство –
 Кто здесь гений, не я ли? –
 Тихо впадаю в детство,
 Чтоб меня не догнали.

июль 2013

* * *

Есть замечательное средство
 Спасти от боли –
 Уйти в пространство по соседству
 К чужой юдоли.
 Туда, где птичьим языком
 Щебечут люди,
 Где десять внучек ждут сынка –
 Он скоро будет.
 Где возле бабушки больной
 Родня роится,
 И всяк подаст стакан с водой,
 Как говорится.
 Где пахнет кофе поутру
 В больничном рае,
 Где две кровати.
 И с одной я выбываю...

Мыльная ода

в подражание двум, а то и трем известным поэтам

Запахом разным славится мыло –
 Это лавандой, это жасмином,
 Детское мыло – запахом детства,
 Банное – добрым, хорошим соседством,

Хвойное мыло пахнет педантом
 (есть вариант – нераскрытым талантом).

Мыло «Элитное» пахнет духами,
 Тонкой интригой, плохими стихами.
 Пахнет «Хозяйственное» – работяга
 Выпившим зятем под выцветшим стягом.

Счастьем исходит «Семейное» мыло –
 Мама кого только им не отмыла!

Разными свойствами славится мыло:
 Детские руки к письму побудило,
 Юные тянет к вершинам науки,
 Тешит заботой старые руки.
 Шею намылить, а то и веревку –
 Справится мыло быстро и ловко.

– Что за фигня! – возмутится читатель. –
Мыльная ода – как это некстати!
Твердое мыло, жидкое мыло –
Лишь бы какое! Только бы было!

– Эх, – сокрушенно скажу я в ответ, –
В вашем совете поэзии нет!

Если бы мыло помалу избыло,
Каждый обмылок считал себя мылом.

.....

Так засидишься за толстым журналом,
Вспомнишь про мыло – ан, нету! Не стало!

июль 2013

* * *

Никому ни за что здесь не будет дождя,
Здесь полгода великая сушь.
Я скучаю по дому, а он без вождя
Погружается в сонную глушь.

В палисаднике сливы, как бомбы, висят
Под крылом беспробудной листвы.
Мне уже не пятнадцать и не пятьдесят
Разговаривать с жизнью на вы.

Никаких тебе «но», объяснений с судьбой,
Сожалений и чувства вины.
Я довольна собой, и в последний свой бой
Отправляюсь, не пряча спины.

Подожди меня, дом. Я вернусь со щитом.
А случится лежать на щите,
Так спасибо на том, что под мелким дождем
Домовиной прижмешься к щеке.

июль 2013

* * *

Сих святых всех вспоминая...

Все плотское ушло в небытие,
Остались еле видные детали,
Полуулыбка – полузабытье,
Нечеткие небес горизонталы.

Прозрачно-призрачно упрятано вдали
Иное заполнение пространства –

На плотном основании земли
Бесплотное явление мессианства.

Невиданный, невидимый оплот,
Ни выдоха, ни вдоха не нарушив,
Не утаивший – взявший в крепость плоть,
Растит и тешет пламенные души.

Их сонм – не сон, не трубы в унисон,
Но в лицах, проходящих ряд за рядом,
Ликует жизнь, и ты уже спасен,
И отвечаешь благодарным взглядом.

август 2013

Михаил ПЕСИН

Родился в 1949 году в Горьком. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Работал в Ленском речном пароходстве инженером. С 1971 года – профессиональный журналист, работал в разных должностях, от корреспондента до главного редактора. Автор поэтических сборников, ряда публикаций (стихи и проза) в литературных журналах и альманахах.

Лауреат многих фестивалей и конкурсов авторской песни. Живет в Нижнем Новгороде.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

По огням, проплывающим мимо,
заливающим дол и холмы,
я спускался из Ершалаима,
из вечерней его кутерьмы.
Круто вниз, будто горным теченьем,
в тьму ущелья срывалась дорога.
Но бесстрашно хрустел я печеньем,
данным девочкой в городе Б-га.
Здесь пока всё чужое мне явно –
странны запахи, краски, слова
и ползущий по улице Яффо
серебристый звенящий трамвай.
Занесён обстоятельств стеченьем
в этот рай от родного порога,
я тоску выгрызаю печеньем,
данным девочкой в городе Б-га.
Ну да что там о грустном? Не будем.
Спрячем в памяти детства дворы.
Мир огромен. И добрые люди
всюду люди и всюду добры.
И какое имеет значенье,
кем отправлены мне на подмогу:
милость девочки, хрусткость печенья,
звон трамвайчика в городе Б-га?
Вот автобус спустился в долину,
и развеяли сумрак огни.

А над нами, над Ершалаимом
 львиной гривой колышется нимб.
 Все имеет своё назначенье.
 Не случайны ни ночь, ни дорога.
 Эта девочка, это печенье –
 прикосания города Б-га.

* * *

День за днём, за ночью ночь
 Время, знай себе, проходит.
 Б-г со временем приходит,
 нам пытается помочь.
 В платье простеньком своём
 он приходит с утешеньем,
 но, средь быта мельтешенья,
 Б-га мы не узнаём.
 Быт рисует нам у глаз
 прегрешенья ряд за рядом.
 Б-г вздыхает: «Бога ради...»,
 грустно глядя из угла,
 как за сменой свето-тьмы
 ничего не происходит.
 Только Время зря проходит.
 Только вслед проходим мы.

* * *

(Из цикла «Диалоги с самим собой»)

– Пора, мой друг, пора!
 – По кой?
 – А сердце просит.
 Кривая непременно нас выносит, –
 снега ли валят, палит ли жара.
 Налево ли, направо, всё ль равно?
 На то ведь и кривая, чтоб не прямо.
 Куда бы ни торил ты путь упрямо,
 придёшь туда, куда предрешено.
 Да, – будет Свет. Но равно – будет Тьма.
 Песок пустыни выжжет тундры снежность.
 И рад понять бы эту неизбежность,
 да, знать, она не моего ума.
 Так что же остаётся мне? Творить,
 коль создан был не тварью, а «подобьем».
 И, даст Б-г, правнук, стоя над надгробьем,
 найдёт за что потом благодарить.
 ...Но так глуха тоска хандры с утра,
 так жалобно «покоя сердце просит»,
 что мочи нет, как хочется, всё бросить
 и выдохнуть: – Пора, мой друг, пора!

* * *

*А мы с тобой с утра заварим крепкий кофе
и выйдем на балкон, спокойно покурить...*

Людмила Ефремова

Мы смотрели с балкона на северных лиственниц золото,
выйдя с чашечкой кофе встречать занимавшийся день.
Мы курили и спорили: вёселы, дерзки и молоды.
И заглядывать в завтра нам было смешно, да и лень.
Мы любили друг друга! и ссорились до ненавиденья.
То грозились разводом, то строили планы на век.
Нас печатал журнал, приглашало к себе телевиденье.
И не мог огорчить даже углем пропитанный снег.
Вот таким было счастье – привычное и неприметное.
И совсем ведь недавно, всего лишь полжизни тому...
Б-г швырял нам под ноги года,
как богатства несметные,
но, кутя и транжиря, мы счёт не вели ничему.

...Я тебя на коляске ввожу на балкон с видом на море.
Мы глядим, как светило над кромкою древней земли
кроет золотом город в охристом израильском мраморе
и, за прожитый день благодарные,
молим: «Продли!..»

* * *

Заходит солнышко моё.
За жизни край.
За кромку моря.
Свет в затуманившемся взоре
теплом уже не обдаёт.
Покуда не осознаёт,
не хочет разум, защищая,
и только сердце ощущает:
заходит Солнышко моё.

* * *

И вдруг я понял: милая уходит.
Не завтра, не когда-то – в эту ночь.
И все, кто в этом мире происходят,
не смогут ни утешить, ни помочь.
И всё, что в этом мире происходит, –
не важно, не существенно, – во вне.
Есть только ночь.
И милая уходит.
И прорастает пустота во мне...

Прощание с Иерусалимом

Ну вот я с тобой и прощаюсь,
Божественный Ершалаим.
Не часто тебя навещаю,
я так и не смог стать твоим.
Но – шумен и неоднозначен –
ты был мне всегда по душе
и твой серебристый трамвайчик
забудется вряд ли уже.
И вряд ли забуду, как в арке
под тяжестью Яффских ворот
девчонка, играя на арфе,
о чём-то печальном поёт.
На Виа твоей Долороса,
не мог я осилить искус
представить, как битый и босый
тащил здесь свой крест Иисус.
Но чувствуя трепет подкожный,
я вдруг становился иным,
когда, вытесняя безбожность,
божественность шла из Стены.

О город Любви и Злодейства!
Ты сплёл в неразрывный узор
христианство, ислам, иудейство,
отзывчивость душ и террор.
Удастся ль когда примириться?
Быть Храму ль разрушенным вновь?..
Но мне в этом супе вариться,
как видно, уже не дано.
Сегодня мной был обнаружен
довольно печальный итог:
и я никому здесь не нужен;
и мне здесь не нужен никто.
Декабрьских дождей твоих сырость
заменит снежок на дворе...
Прости и прощай, Город мира!
Б-г знает, увидимся ль впредь...

Перед отлётом...

Пустынно в аэропорту.
Никто, представьте, не рыдает,
что я, Израиль покидая,
душой совсем «не среди тут».
Не среди тут, не среди здесь.
Хоть здесь был – деятель культуры,
а там – не потянул фактурой.
Но всё же взял да вышел весь
туда, где неба хмурый цвет,
где, говорят, живётся хуже

и затянуть ремень потуже
придётся на излёте лет.
Ну, – затяну. И что с того?
И не такое мог осилить.
Но ведь осилить средь России –
другой, поверьте, разговор.
Другой. И он давно не нов,
его не раз вели другие:
банально чувство ностальгии,
как равно – к родине любовь.
А всё ж то и другое – есть!
Теперь я это знаю точно.
И всё, что оставляю здесь, –
аэропорта многоточье...

Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерный физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Участник поэтического товарищества «Сибирский тракт». Стихи и проза печатались в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «День и ночь» и других периодических изданиях.

Живет в Нижнем Новгороде.

НАСЛЕДНИКИ ШАМБАЛЫ

Есть у меня вещица...

Михаил Кузмин

Никто, конечно, не поверил, но разговоров хватило месяца на полтора. Шутка ли: вдруг распространился слух, что двое кротких китайцев – Гена и Боря – прибившиеся ещё бог знает когда, что называется, «Христа ради», к гаражно-хозяйственной службе института и жавшие карьеру в основном по дворницкой части и которые в сознании всех, да и в их собственном, давно уже срослись в сиамских близнецов до полного неразличения, кто из них кто (так, что каждый запросто откликнулся и на Гену и на Борю), оказались не просто Гена и Боря, или Боря и Гена – а тибетские принцы в изгнании: Гианендра и Бирендра. Да ещё из враждующих династий, предки которых лет четыреста подряд с переменным успехом и завидной энергией сживали друг друга со свету ради того, чтобы занять престол крохотного ламаистского королевства, затерянного где-то в Гималайских горах между Индией и Китаем, на каких-то совершенно недоступных и не контролируемых никем высотах. И китайцы, и индусы до такой степени давно позабыли про это королевство, что ни у тех ни у других не сохранилось в языке даже его названия. Его территорию никогда не отмечали на картах, а честно делили поровну. Но само королевство, что удивительно, себя не забыло и всё это время существовало само по себе, по каким-то своим правилам, и никого из его жителей нимало не волновало, что о них думают соседи, каким образом делят их страну, какой губернатор назначен к ним из Пекина или Нью-Дели, назначен ли он вообще и кто это вообще такой. Что и сотни лет до этого, что и теперь – по склонам гор

или прямо в скалах ютились жалкие деревушки, в столице нередкими землетрясениями разрушались, а жителями вновь отстраивались пагоды, в монастырях крутились барабаны, монахи бубнили свои мантры и стучали колотушками в бубны или часами, а то и неделями медитировали. Облака на этих высотах были такими же полноправными гражданами и запросто проплывали прямо по улицам города, так что на них можно было даже присесть или прилечь, если путь был неблизким, а спешить вам особо некуда. Последний король, например, так и сделал: просто присел на краешек облака и уплыл в нирвану. Он давно уже достиг просветления, поэтому нисколько не заботился о наследниках и не оставил их. Вот тогда-то в старых хрониках в одном из монастырей и обнаружили записи о том, что во время последней распри, случившейся лет за сорок до того, двое принцев были вывезены из королевства. Нескольких лам разбудили от многолетней медитации и снарядили на поиски принцев. Нашли их на удивление быстро: не прошло и десяти лет. Ламы, словно призраки, без труда пересекали любые границы, каким-то образом проникали на нужные им самолёты или другие транспорты; ни холод, ни зной, ни голод, никакие соблазны или опасности окружающего мира, которого они раньше никогда не видели, не могли их остановить или заставить хотя бы немного изменить маршрут. Вероятнее всего, окружающая действительность была для них не менее призрачна, чем и они для неё, и воспринималась ими просто как очередной медитативный сон. Возможно, они даже были уверены, что физические их тела вообще не покидали пещер монастыря и пределов королевства. Как бы там ни было, но спустя почти десять лет после начала своего путешествия, все четверо явились перед Гианендрой и Бирендрой и, ни слова не говоря, уселись на полу вдоль стены и снова погрузились в медитацию, словно были они запрограммированные роботы, которые отключились, как только программа была выполнена. Решение, возвращаться в королевство или нет, оставалось за принцами: ламы не могли им приказывать. Своим появлением они только передали сообщение о том, что их ждут, и они готовы их сопроводить.

Но тогда мы ни о чём таком, разумеется, не догадывались – Боря и Гена квартировали в нашем общежитии, в полуподвальчике, гостей к себе не звали, да и не бывало охотников – а только немногие заметили, из тех, кто вообще обращал на них внимание – по службе ли, по-соседски, – что стали они какие-то грустные, задумчивые, рассеянные и даже стали попивать горькую, чего за ними до сих пор не водилось. И только через год-полтора после прибытия лам кто-то случайно вроде увидел сквозь мутное зарешёченное окошечко полуподвальчика будто бы восковые фигуры или мумии, сидящие вдоль стены, кто-то сопоставил увиденное с неосторожной хмельной болтовнёй одного из близнецов и истолковал её самым невероятным образом, кто-то куда-то даже сообщил, кто-то кого-то даже прислал проверить, и в результате распространилась эта то ли сплетня, то ли легенда, то ли чья-то насмешка, что Боря и Гена – те самые изгнанные тибетские принцы Гианендра и Бирендра из экзотического, почти музейного и курьёзно крохотного гималайского королевства, о которых в своё время, лет сорок назад, была даже заметка в специальном журнале или сюжета на телевидении! В общем, кто-то что-то помнил, а остальным этого вполне хватило. Многие тогда вообще впервые узнали об их существовании (и вспомнили о своём), кое-кто, знавший близнецов ранее, – слегка подивился и, повертев пальцем у виска (непонятно, кстати, в чей адрес), вернулся

к своим рутинным делам, большинство же всё-таки пропустило эту сплетню мимо ушей, просто не поняв, о чём речь и каким образом вся эта дичь может иметь отношение к ним. Но на некоторых, и, в первую очередь, разумеется, на нас, эта новость произвела серьёзное впечатление. Наше удивление тем естественнее понять, если учесть, что когда-то давно, в детстве, мы, прочитав где-то или услышав об истории с принцами и узнав, что есть на свете такая страна (источники о которой хотя были очень скудны – не сообщалось даже её название – и впоследствии мы больше о ней ни разу не слышали) настолько пленились её образом, что сами додумали всё остальное: её географию, историю, жизненный уклад. Может быть, недостаток реальных сведений как раз и предопределил размах фантазии. Мы до мелочей продумывали планы городов, рисовали карты, составляли родословные таблицы правящих династий. Мы выдумали про себя, что мы её законные наследники, пребывавшие до поры в эмиграции. Привыкшим к насмешкам, косым взглядам, брезгливости и испугам в свой адрес, нам тем приятнее было думать о ней, как о нашей тайной родине, где нас ждут, где нас любят и примут как равных, чем недостижимее и призрачнее она была. Мы же были не настолько наивны, чтобы надеяться на подобное отношение где-то ещё: люди везде одинаковы, и за внешней доброжелательностью всегда скрывается оскорбительная жалость или словоохотливое бабское сострадание, спешащее, впрочем, отвести глаза. Надежда оставалась только на прекрасную Шамбалу, как мы договорились её называть. Грёза о ней со временем превратилась в своеобразную интеллектуальную игру, некий защитный буфер между нами и враждебным миром, согласным пока ещё терпеть нас в силу каких-то, не всегда даже ему самому понятных, зыбких условностей. Поэтому нетрудно вообразить, как мы были взволнованы, когда наш вечно пьяненький сосед, единственный, кстати, наш знакомый, относившийся к нам по-человечески, (и то, правда, потому, что у него, видимо, всегда двоилось в глазах и он не замечал ничего необычного) сообщил нам новость о Боре и Гене. Никто, конечно, не поверил, но разговоров хватило месяца на полтора. Шутка ли... тем более о тех мальчиках с тех пор ничего не было слышно, и были серьёзные подозрения, что они в итоге погибли. Да ведь не могли же и ламы ошибиться?! В конце концов, совершая своё путешествие, они не обладали собственной волей и не принимали никаких решений, строго говоря, они никого и не искали, а были похожи на листочки или щепки, попавшие в могучий горный поток, который и вынес их к нужному берегу. А уж поток ошибаться не мог. И всё равно – что-то здесь не сходилось. Ну хотя бы то, что посланный к близнецам под надуманным предлогом, якобы для опрессовки труб, газовщик (тот самый наш сосед), никаких мумий не увидел: кроме хозяев, там были ещё четверо вполне живых и, кажется, тоже китайцев, которые, когда он пришёл, просто натурально пьянствовали, закусывая жареной селёдкой и не обращая никакого внимания ни на хозяев, ни тем более на пришедшего. Селёдку они пожарили именно солёную, от чего по квартире распространилась такая нестерпимая вонь, что наш лазутчик спешно ретировался, даже не выполнив того, зачем якобы приходил. Это, во-вторых. Ну а во-первых... странное поведение самих близнецов, которое тем и было странно, что почти совсем не изменилось со времени прибытия лам: то ли они чего-то боялись, то ли не признавали себя теми, кем считали их ламы, то ли ещё неизвестно что. Было и ещё одно обстоятельство, которое требовало проверки.

Настоящие принцы, согласно традиции, должны были обладать неким артефактом, своего рода опознавательным знаком, который и подтверждал бы их права. Что именно это должно быть, было не совсем понятно, и мы условились между собой называть это нечто *вещицей*. Была ли эта *вещица* у близнецов – мы не знали. Но по всему выходило, что да: именно она и послужила для лам своеобразным ориентиром или магнитом. Обладание *вещицей* награждало судьбой, но не лишало выбора: *вещицу* можно было передарить, от судьбы отказавшись. Найти бы ещё того, кто согласится такой дар принять! Тем более смешно было предположить, что кто-то мог её украсть: для вора она не имела бы никакой ценности, и к тому же, попади она подобным путём, например, к близнецам – ламы никогда бы не нашли их. Все эти сомнения разрешились неожиданным образом и почти сами собой, когда однажды принцы вдруг явились к нам.

– Мы вас не ждали, но рады, – сказал мой брат, и мы протянули им руку.

Гости выглядели смущёнными, и разговор сперва не клеился. Но никаких сомнений в том, что они именно те, за кого мы их принимаем, не оставалось. Из их несколько сбивчивого и слегка путаного рассказа выходило следующее: из королевства они были вывезены совсем малышками, трёх-четырёх лет, не больше. Главной причиной была даже не бушевавшая тогда распря, которая к тому же выдыхалась и уже катилась к замирению, а предполагаемая медицинская операция: братья родились «сиамскими близнецами». Срослись они спиной к спине, но не фатально: все жизненно важные системы были разделены. Это вселило надежду. Единственный бывший в королевстве европеец – английский доктор – обещал безутешным родителям счастливый исход у себя на родине. Родителям ничего не оставалось, как соглашаться. Втайне ото всех доктор с близнецами покинул королевство. Но повёз он их не в Англию, а в Америку, где немедленно продал в знаменитый бостонский «Цирк уродов». Хозяин цирка был несколько разочарован: в своих письмах доктор, уговаривая, обещал ему «первоклассных уродцев», и он уже вообразил себе человека с двумя головами. На деле же оказалось, что у близнецов не было даже общих костей, а лишь небольшое сращение в области таза, которое, впрочем, выглядело «эффектно», но не на ту сумму, которую он обещал доктору. Титул же близнецов в его глазах вообще ничего не значил, хотя потом, в программах, он и не забывал указывать, что они «бенгальские принцы». Получив меньше ожидаемого, доктор для вида повозмутился, но на самом деле не слишком расстроился: родители близнецов снабдили его увесистыми алмазами, выручка от продажи которых и должна была пойти на оплату операции. На том подельники и расстались, а для братьев начались годы унижений и скитаний. Цирк постоянно гастролировал, и уже с пяти лет их заставляли выходить на арену. Сначала они просто демонстрировали своё уродство, затем, по мере взросления, их обучали разным трюкам, фокусам, нехитрым репризам, дрессируя почти как животных. Окружали их такие же несчастные: разнообразие карлики, великаны, горбуны, трёхногие, трёхрукие люди, женщина-кошка, человек-собака и тому подобное. Хозяин со всего этого паноптикума получал солидные барыши, а многие актёры жили почти впроголодь. Вообще в той жёсткой иерархии, которая установилась в цирке, принцы занимали самое незавидное и унижительное положение, постоянно подвергаясь побоям и поборам, нередко даже и со стороны своих

товарищей. Но на родине о них не забыли. Когда близнецам было чуть больше двадцати, их разыскали и выкупили из цирка. Родителей к тому времени уже не было в живых, а в королевстве не осталось законных наследников. Операция, обещанная больше двадцати лет назад, прошла успешно. Впервые в жизни братья обнялись. А вернувшись на родину, немедленно развязали безобразную бойню, оспаривая друг у друга родительский престол. Бойня эта была много беспощаднее той последней, из которой их в своё время вывезли. Об этом безумии так никто никогда и не узнал бы, если бы не алмазы, которые доктор получил на операцию и постепенно пускал в оборот. Были они какой-то невероятной чистоты и заинтересовали многих. Какое-то время ему удавалось скрывать их происхождение, но бесконечно так продолжаться не могло. Наконец, он всё-таки решился сам возглавить компанию по их добыче и организовать экспедицию в почти неизвестное и никому ранее не интересное высокогорное королевство. Вторгшийся из Индии английский десант нашёл страну в плачевном состоянии: непродолжительная, но кровопролитная междоусобная война полностью истощила ресурсы, половина населения была истреблена, а вторая половина разорена, никаких алмазов или месторождений не было и в помине. Двумя-тремя военными манёврами англичане, разведав враждующих, прекратили безумную бойню и, немного передохнув и поняв, что ловить здесь нечего, навсегда покинули королевство, ради смеха назначив приведшего их доктора губернатором. Доктор же на этом деле полностью прогорел, лишившись к тому же своей деловой репутации, а у местного населения, напротив, снискав славу миротворца. Простодушные ламы объявили доктора реинкарнацией одного из своих многочисленных Будд и даже соорудили в его честь небольшой храм. Осмотрев его и криво усмехнувшись, он достал браунинг и тут же и застрелился. Ламы к такому решению отнеслись с уважением и, кое-как запихнув труп довольно тучного при жизни доктора в золотой сидячий саркофаг, с почестями установили его в храме. Для принцев эта история тоже не прошла бесследно: ламы прокляли их и в очередной раз изгнали из королевства. С собой им было разрешено взять только *вещицу* как знак проклятия и напоминание о родине, которой они принесли столько зла. Проклятие же вкупе с *вещицей* сообщали принцам феноменальное долголетие: наказание должно было быть долгим. Несколько десятилетий они скитались по разнообразным тибетским монастырям, но, в конце концов, были отовсюду изгоняемы. Каким-то ветром их занесло в Россию. Здесь они пережили революцию, Гражданскую войну, ещё одну войну, ещё одну революцию и, наконец, сидели перед нами. О своей родине за всё это время они не получали никаких известий и ничего о ней не знали. Только лет сорок назад долетела весточка, что ещё двое мальчиков, так же, как и они когда-то, были вывезены и спрятаны где-то за пределами королевства.

Удивительно, но сначала сбивчивая и спотыкающаяся речь братьев постепенно становилась ровной, как будто горная река, преодолев пороги, спустилась в долину и вошла в спокойное русло. Голоса, поочередно подхватывая повествование, гипнотизировали. Не знаю, как мой брат, а я практически видел все эти горы, и пагоды, и монастыри, и тесные улочки города, крикливые и кривые. Наконец, я увидел и ту самую реку, по разным берегам которой во главе своих сторонников стояли Гианендра и Бирендра. Ещё недавно неразлучные, теперь они были разделены наследственной враждой. Решающая битва должна была

случиться с минуты на минуту. Вдруг из-за перевала высыпали англичане. В своей форме колониального образца – шорты, песочного цвета кителя с короткими рукавами, гольфы до колен, пробковые шлемы – они больше походили на бойскаутов-переростков и поначалу вызвали смех в обоих лагерях. Но, выкатив пушки, которых здесь раньше не видели, и произведя по нескольку выстрелов (как потом выяснилось – холостых) в обе стороны, они посеяли нешуточную панику и на том и на другом берегу. Оба войска разбежались. В общей суматохе братьев столкнули в реку. Не умеющие плавать, они уже считали себя погибшими, но всё же кое-как барахтались, теряя попусту драгоценные силы. Наконец, кому-то из них пришло в голову не бороться с течением, а покориться ему и ждать, куда река сама вынесет на спасительный берег. Это спасло обоих. А на берегу уже ждали ламы. Дрожащим от страха и холода принцам произнесли проклятие, вручили *вещицу* и указали путь из королевства.

Повторюсь: рассказ братьев произвёл на нас гипнотическое впечатление. Мы будто сами пережили всё то, о чём они говорили. Будто не они, а мы стояли там, на берегу перед ламами – голые и дрожащие, с клацающими от холода и страха зубами. Будто не они, а мы выслушивали их проклятия. Мне даже показалось, что я вспомнил или, вернее, узнал лицо верховного ламы – последнего соотечественника, которого видели те несчастные мальчики сорок лет назад, когда он склонился над колыбелью, перед тем, как их навсегда увезли из страны. Поэтому, когда Гианендра и Бирендра, завершив свой рассказ, достали из кармана и, склонив головы, преподнесли нам *вещицу*, мы нисколько не удивились. Мы столько думали о ней, столько говорили и спорили, пытались вообразить, что это может быть, так давно мечтали её увидеть... и вот теперь были совсем равнодушны: мы были готовы к своей судьбе. На Гианендру и Бирендру мы смотрели с нескрываемым презрением: большего они не заслуживали. Их слова о том, что теперь должен быть только *неразделённый* правитель, были, разумеется, излишни. Не дослушав и оборвав ничтожеств на полуслове, мы подошли к окну: находиться с ними в одной комнате, смотреть на них, слышать их – было уже невыносимо. За окном была зима. Где-то вдалеке город утопал в новогодних огнях и предпраздничной суете. Мы прожили здесь всю жизнь, но сейчас он казался абсолютно чужим. Внизу, под окнами, мы увидели тех, кого и ожидали: четыре неподвижных фигуры, в оранжевых балахонах, безусловно лысые и, кажется, босые. Мимо, совершенно их не замечая, и даже сквозь них, проходили мужчины, женщины, дети.

Татьяна ПАНКРАТОВА

Родилась в 1985 году в городе Долгопрудном Московской области. Окончила Литинститут им. А. М. Горького, семинар прозы А.Е. Рекемчука. Работает редактором.

Печаталась в альманахах «Пятью пять», «Муза», в журналах «Роман-журнал XXI век», «Дружба народов». Автор книг: «Техас» (сборник повестей) и «Борис и Глеб» (роман), издательство «Четыре четверти», 2018 год. Дипломант конкурса «Всемирный Пушкин» (второе место в номинации проза).

Член Союза писателей Москвы. Живет в Мытищах.

ВОВКА

Дождь то расходится, то утихает и моросит неприятно по куртке, по лицу. На улице противно, как и у нее на душе. Но Свете все равно на дождь, на ветер. Она наклеивает объявление, расправляет края:

«ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

Фомин Владимир Вадимович (8 лет).

19 октября 2017 г. пропал в г. Мытищи (МО), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 135–140 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная шапка с нашивкой «человек-паук», куртка-пуховик темно-синяя с капюшоном, рубашка синяя в клетку, джинсы синие, ботинки черные на молнии.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам....»

И фотография в белой рубашке с бабочкой, их в школе фотографировали недавно. Подумала, на ней хорошо видно, портретная. И снова встретилась с ним взглядом, защемило внутри, захотелось заплакать, разрыдаться в голос. Наивный взгляд темно-карих, почти черных глазок. «И в кого он такой черноглазый? У меня светло-карие, у Вадьки еще светлее, в последнее время не высыпается, и кажется, что и вовсе желтые» – думалось ей.

Она погладила фотографию, будто его, родного, любимого... Это уже тридцатое, еще два дома, а в садах и школах уже повесили, может, еще на магазин.

Телефон завибрировал, она вздрогнула, схватила с надеждой. Но это опять WhatsApp, сообщения. Обсуждение в родительской группе:

«Сбор добровольцев в 14.30 у второй школы».

«Муж пошел».

«Я только к пяти смогу».

«У меня знакомая в милиции работает, она сказала, что в Мытищах орудует маньяк, уже 5 жертв, мальчишки, отрезает головы. Берегите своих. Не отпускайте одних».

Словно ножом в сердце. У Светланы похолодело внутри. Душа ушла в пятки, или сердце, ей почему-то казалось у человека это в одном месте – и душа и сердце, так чувствовалось, будто в пропасть канула. Представила все в красках, всю эту расчлененку из телевизора, ужас, кровь. И будто это все не с ним, а с ней, это ее... душат, убивают, режут. Лучше бы ее. Все оборвалось, замерло внутри. Ее знобило.

Люди продолжали писать:

«Пожалуйста, не нагнетайте. Может, все обойдется».

«Мне подруга сказала, что этот мальчик ходил в 51-й сад и что он из неблагополучной семьи».

«Может, его бьют, поэтому и сбежал».

«Может, родители пьют».

«Да ладно вам, небось с родителями поссорился и сидит у кого-нибудь из друзей».

«А мне в поликлинике сказали, что у них хорошая семья».

«Муж говорил с отцом мальчика, ссор никаких не было, в пять часов вечера вышел от друга в районе пятерочки и отправился домой».

Экран загорался, мигал новыми сообщениями.

У Светы закружилась голова, не смогла сдержать слез. Уже привычно вытерла рукой. «Они так обсуждают, будто меня нет, будто я этого не вижу». А, впрочем, ей ведь и самой со вчерашнего дня, как Вовка пропал, кажется, что ее нет, не существует, ходит как тень. Сначала злилась, хотела что-то доказать, ответить, но потом понимала: зачем? Наплевать. Не до них сейчас, пусть говорят, что хотят, какая разница. Лишь бы нашелся, лишь бы живой. Это ведь у нее беда, не у них, им не понять ее сейчас, так всегда со стороны – ужаснешься, посочувствуешь, но думаешь, тебя ведь не коснется, чужая беда. Хотя многие помогают, ищут, за своих тоже боятся. А это так, что не дай бог.

«Вовка, маленький мой, мальчик мой». Такой долгожданный, такой желанный. Когда только поженились с Вадькой, как она хотела, мечтала, молилась, но не получалось, сразу не вышло. Стала ездить по святым, ходить по больницам. Вроде все в порядке. Посоветовали к Свирскому съездить, говорили никому не отказывает, и именно с мальчиками помогает, лежит теплый, белый, как живой, потрогать можно и столько чудес от него, уже не перечесать, столько веков помогает. Собралась ехать, еще и за билетами не съездила, а тут вдруг сон. Монастырь Троицкий, тот самый, где ему явление Троицы было, клумбы с цветами, много цветов и старец в монашеской черной одежде: «Твоя просьба услышана!» Теперь не помнила дословно, но казалось именно так. Проснулась и уже знала, что будет ребенок, чувствовала, а объяснить не могла. В монастырь уже с Вовкой ехала, тошнило, токсикоз страшный, а она счастлива, как никогда. И Вадим чуть не на руках носил, все покупал, все желания исполнял, не спорил даже.

Родился недоношенный, малюсенький такой. И только принесли его, дали ей, спелёнатую куколку, поцеловал, прижался к ней, словно бы знал, уже чувствовал, это его мама, одна на всю жизнь, а он часть ее и они всегда вместе, вдвоем в этом мире. Ей потом говорили, что он

так делал, потому что молока хотел, они все так делают. А она не верила, говорила, не понимаете ничего. Не могла объяснить, но чувствовала, всегда его чувствовала как часть себя, надо ему прививку или нет, спорила с врачами, сколько раз положить хотели в больницу, вес не набирал, а она все свое, защищала, отбивалась, а потом оказывалась права. Вадька так не чувствовал, он всем верил больше, врачам, маме, папе. Когда пневмонию у Вовки обнаружили, поверил, настаивал, заставил лечиться в больницу, а она плакала, говорила «не надо, я чувствую...». Но он уперся: «Ты же не врач, что твои чувства...» Положили, обкололи его антибиотиками, а потом выяснилось, что не было никакой пневмонии. И так было обидно, досадно на себя, что не уберегла, не смогла отстоять. Ей казалось, мать всегда знает, что ребенку нужно, только как объяснить, доказать, – невозможно.

Поссорились тогда с Вадькой сильно, неделю не разговаривали. Потом вроде примирились, но осадок будто навсегда остался. Теперь еще хуже, месяцами не разговаривали. Раньше он сам подходил, мирился, что-то придумывал. А в последние месяцы и не смотрит, отвернется к стенке и отключается. Говорит, ты же знаешь, у меня сезон.

Вадим продавец-консультант на крупной оптовой базе, продают шины, диски и всякие запчасти. В сезон, когда колеса меняют, работают с семи утра до одиннадцати ночи, дома только сваливается на кровать. Говорит, ты что, не понимаешь, я спать хочу. Света понимала, молчала, но уже хотелось бежать без оглядки, вернее, не хотелось ничего, работа, дела и у нее. Платили копейки, едва хватало на жизнь, у Вадьки и вовсе не по трудовой, хозяин фирмы нерусский какой-то, неофициально все.

А в выходные в телефон играет, зарядка сядет, достанет компьютер и в него, с Вовкой занимается, конечно, но так больше для галочки, и всем видом будто показывая, как устал и отвяжитесь от меня. Стоит только попросить что-то сделать, пропылесосить или по дому что починить, и начинается: сначала крикнет, а потом сделает, с такой неохотой, проще самой уж. Даже не орет, а так как будто рычит, недаром в год Собаки по гороскопу родился.

Раньше еще пыталась поговорить, Вадька мог и матом в ответ крикнуть, не при Вовке, но все равно неприятно, и она перестала, проще отвернуться к стенке. Как-то сказала: «Давай разведемся». А он только тихо ответил: «Давай». Будто все равно ему совсем. Нет никакой любви.

А Вовка как же? Вовку любил, больше, чем себя, да и говорили все, его копия точная, один в один, даже свекор на детской фотографии перепутал Вовку с Вадькой: «Это, – говорит, – где ты, не помню». При Вовке не ссорились, замолкали. Но ведь чувствовал же, все он чувствовал. Может, из-за нас все. Может, правильно пишут. Плохие родители... Мать плохая... У хороших дети не пропадают...

– Давай мне половину. Много еще осталось?

Позади нее кто-то протянул руку к пачке с объявлениями. Обернулась.

– Ирка. Привет.

– Только вот освободилась. Дежурство было.

Ирка работает медсестрой в больнице. Голос с хрипотцой, прокуренный, но девчонка она хорошая, добрая, всегда поможет, не обидит, грубоватая, может, ну уж так жизнь сложилась, не она виновата, тоже нелегко ей приходится на этой работе. А куда деваться?

Они доклеили объявления.

– Еще есть?

– Дома, еще черно-белые печатала.

– Пойдем, возьмем. И чай хоть попьем, белая вся как полотно. Наверняка и не ела ничего. Вадька звонил?

– Да что ты, какой тут чай?! Нет, они с волонтерами прочесывают лесопосадку. У школы все обошли. Ничего.

– Чай надо, надо, а лучше, что покрепче. А за школой, там, где курят и бомжи всякие, в кустах в этих?

– Да, все обошли...

Дождь снова стал расходиться, проводил их до дома. «Господи, как же он под таким дождем. У него ведь и зонта-то нет», – она думала о Вовке, сама себя пугала и сама же пыталась успокоить: «Может, где пережидает».

В квартире удивительно тихо, пустынно, все серое от дождя, света нет, темно. Тучи давят мраком, темнотой дневной ночи, как будто солнце проглотил какой-нибудь крокодил из сказки.

Они прошли на кухню. Ира включила чайник, и он закипел, затрещал, перебивая, не давая сказать. Ира не спрашивая, поискала по полкам, нашла какой-то прошлогодний коньяк. «И откуда он?» – подумалось Свете, не помнила.

– Выпей, выпей. Тебе нужно. Полегчает.

– Нет, – мотает головой Света, – не могу, нельзя, семь недель. Да и не хочется.

– Ничего себе! А Вадька-то знает?

И снова мотнула головой, говорить нет сил.

– Н-да... – задумалась Ирка, – а что же теперь? Ты же говорила, разводиться хотите.

– Ничего. Я думала на аборт, уже решила... Хотела сказать... А тут... Сейчас главное Вовку найти. Больше ничего не надо. Только бы найти. Не хочу сейчас об этом. Наверное, это я виновата... Это нам за...

– Ой, – сморщилась Ира от коньяка, – крепкий какой. Да ну брось, не накручивай. Виновата? Ты что? В чем виновата? Целый день вкалываешь на этой работе как проклятая. Когда быть виноватой? Да и перед кем?.. Вадька тоже хорош. Ой, кстати, я его диск принесла, а то потом забуду, посмотрела, ну и правда муть мутью, а столько рекламы, на «Оскар», на премии. Тьфу.

– Какой диск? – Света не слушала, думала о своем.

– Да, Звягинцевская эта «Нелюбовь». Ты же давала. Ой, зря, я, наверное, сейчас про него... Прости, дуру...

– Да ну, ты что... Так в жизни и не бывает. Как Вадька сказал бы – гон это все. Не люблю я его фильмы еще с «Возвращения». Мрачные, растянутые, «Нелюбовь» уже на перемотке смотрела. У него все без любви, без чувств, без Бога. А так ведь не бывает, чтобы всегда все только плохо, чтобы одна смерть и нелюбовь. Не верю в это. Это как Ремарк, у него все мертвы и кругом одна смерть. Мне преподаватель в институте говорил, что тема смерти исчерпывает себя и никак не может сравниться с необъятной темой жизни.

– Как твоя диссертация-то?

– Да ты что, какая тут диссертация, давно все забросила.

– Жалко. Сейчас бы...

Телефон заиграл классическую смартфонную. Вадька.

– Ну как ты?

– Да как? Так же. Ира пришла. Расклеили пятьдесят. Сейчас на ту сторону поедем, еще остались черно-белые. Как у вас?

– Пока ничего нового, обходим посадку.

– Давай я приду к вам? Заодно зонт тебе принесу. Дождь сильный.

– Да нет. Лучше отдохни, поспи, всю ночь не спала. Люблю тебя. Все будет хорошо. Я позвоню.

И положил. «Бойтся, если я пойду с ними, вдруг увижу что-то страшное, а мне бы лучше с ними, чем так, думать, представлять... С ума можно сойти». Он первый раз за долгие месяцы сказал «люблю». Она так давно не слышала от него этого слова, что захотелось сейчас обнять его крепко-крепко, прижаться всем телом, согреться об него и забыть обо всем.

Ей вспомнилось, как познакомились в компании. Он ее сразу заметил и только с ней и говорил, а она ведь не одна тогда была, с мальчиком, с Лешей. Со школы дружили, из армии его ждала, дождалась, пожениться собирались. А тут Вадим. Сначала он ей не понравился, показалось, высокомерный, а потом разговорились, и искра какая-то проскочила, сама не думала, что так бывает. Лешка расстроился, понял все. Долго переживал. Где он теперь? Женился ли? Давно ничего о нем не слышала. А Вадька тогда ухаживал красиво, на руках через лужи переносил, цветы дарил, сладости и под гитару пел под окном серенады. Такой голос был хороший. Не доучился вот только, да и сейчас не хочет, сколько ругались из-за этого, была бы хоть работа нормальная, но что толку заставлять... Уже махнула рукой. Сейчас не верится, что могли не спать ночи напролет, разговаривать, целоваться и никто им больше был не нужен, в компаниях, на дачах всяких, закрывались от всех, уходили вдвоем. А сейчас уже и не помнила, когда последний раз просто разговаривали о чем-то кроме денег, дел, проблем...

– Ну что там? Ничего нового?

Света забыла об Ире, ушла в свои мысли. И как-то на автомате отвечала, мотала головой.

– А бабушке-то звонили?

– Да, конечно, сразу, я думала, вдруг он взял и к ним сам поехал. Они же на даче теперь с папой. У мамы нога, еле ходит, сустав опять, хотела ехать, еле отговорила, лежит с давлением. А папа молится.

– А Вадькины? К ним не мог?

– Да нет, ты что. Далеко. Нижний Новгород. Как уехали туда, так и живут там, свои проблемы, не до нас.

– А мальчик этот, у которого вчера был. Что говорит?

– Илька? Да что он может сказать. Вчера измучили и его, и Ленку, маму его. Они же с сада дружат, через дом живут, по очереди в гости друг к другу бегают. Привыкли уже, никто и не думал, внимания не обратил...

– Дай-ка я с ним еще поговорю, небось уже со школы пришел.

Ира пошла в коридор, звонить. А Света стала молиться, опять и опять просить, ведь только Бог может. Он все может. И, сама не зная зачем, достала фотографии. И ведь понимала, что еще более станет, но руки сами потянулись. Почему-то всегда так, знаешь, что не надо, что больно будет, а делаешь. Как болячку какую скovyриваешь, знаешь, что кровь пойдет, а все равно ковыряешь.

Вот Вовка совсем малюсенький на пеленальном столе, перевернулся и улыбается, такой смешной, пупсик, сколько ему тут, месяцев пять-

шесть. Только переворачиваться научился и со стола слетел, испугались тогда, врача даже вызвали, а врач сказала, они группируются, голову поджимают, падают на мягкое место.

А потом пошел, смешной такой, то все за мебель держался, а Вадька вдруг говорит, принеси пульт, и Вовка встал и принес, и сам вдруг удивился, что пошел без опоры. Сколько говорил тогда смешного, думала, надо записывать, да все некогда, забывалось. А в садике уже и первая любовь была. Пришла как-то забирать, а его девочка одевает, ботинки застегивает, комбинезон. Оказывается, он ей сказал: «Ты такая красивая», и она его одела за это. «Вот они мужики, уже с детства такие», – усмехнулась про себя. А потом подружились, сказал, мама, у нас любовь, и Карина мне рóдит ребенка, потому что ты же не рóдила, а нам надо маленького, как у Илюши сестренка. Смешной такой. Воспоминания нахлынули, все сразу, и зарыдала, хоть сколько уже валерьянки выпито.

– Ну ты что?

Ира обняла, стала успокаивать, отвлекать.

– Не дозвонилась пока. Пойдем лучше клеить, что тут сидеть. В школе были?

– Да, еще утром, – все еще всхлипывала Светка, – и следователь был. Ничего.

И опять эта электронная смартфонная мелодия... Из милиции. Ее затрясло, боялась взять, услышать... вдруг... а вдруг...

– Да.

– Здравствуйте, капитан Семинихин. Нашли вашего мальчика. В порядке он. С психологом сейчас разговаривает. Травм нет, врач смотрел. Приезжайте. Шестое отделение милиции Мытищинского района...

Словно тонна железа с души, и вздохнула, задышала полной грудью.

– Да-да, спасибо, мы сейчас приедем.

– Знаете, как ехать?..

Она уже не слушала.

– Да-да, уже едем.

Отключила и поскорее набрала Вадиму. Сказал, сейчас подъедет на машине. Но не сиделось, не могла ждать, побежала навстречу, накинула куртку, обняла Ирку.

– Вот ведь засранец! Никаких ему больше конфет от меня не будет, – ругалась Ирка, и тут же смягчилась, уже в дверях попросила: – Ты уж его не ругай только, дурака такого.

Дождь накрапывал, бил по стеклу, дворники не успевали, стекло запотевало. Ехали медленно, стояли в пробке, она просила, умоляла быстрее, рвалась раненой птицей. Вадим выжимал газ, расспрашивал и успокаивал. Договорились не ругать Вовку. И Вадим вдруг поцеловал, как раньше, как уже давно не целовал... И только пролетело в голове: «Какое счастье, что он есть, что он здесь, рядом, и что Вовка нашелся, спасибо тебе, Господи».

Она влетела в отделение, не дожидаясь Вадима, закрывавшего машину. Вовка сидел за компьютером и играл. Увидел, обрадовался, кинулся на шею:

– Мама!

Прижался щекой и зашептал: «Мам, прости меня, я боялся, ты ругаться будешь. Я просто хотел, чтоб вы с папой помирились. Я так в кино видел».

Она кивала, обнимала крепко-крепко, и слезы сами катились.

– Вовка, ну ты что, где же ты был, мы чуть с ума не сошли?! Ну что ты?!

Вовка стирал руками слезы с ее щек: «Мам, мамочка, не плачь, я больше так никогда не буду. Я в подъезде был. В доме, который ремонтируют, там тепло было, ты не волнуйся».

И сам заплакал.

Вадька, застывший сначала в дверях, не выдержал, подошел к ним и обнял еще крепче, их двоих, вернее, уже троих.

Следователь что-то говорил Вадиму, давал бумаги на подпись, но он не слышал.

Вовка улыбался и думал, если все уже хорошо, можно ли сейчас попросить трансформера, которого обещали на Новый год, или лучше подождать до вечера.

За окном пошел снег. Первый в этом году. Он был еще слабый. Он только начинался, летел и таял, и превращался в дождь.

Лев ГУРЕВИЧ

Родился в 1945 году в Москве. Окончил Московский институт связи, работал радиоинженером в научно-исследовательских институтах Москвы, на полигонах Министерства обороны по отработке новой техники. Занимался ремонтно-строительным бизнесом в Москве и в Германии.

Живет в Германии, в городе Карлсруэ.

«ЧАРДАШ» МОНТИ

В молодые годы Яков Маркович был известным скрипачом. Никто толком не знал, что заставило его достаточно рано и внезапно оборвать сольную карьеру. Поговаривали даже, что причиной послужило его пристрастие к очень сложной, непонятной широким массам музыке. Дескать, не желал угождать общественному вкусу, предпочел распрощаться со сценой. На самом деле причина была куда более банальная – здоровье. Работа скрипача тяжелая: все время на ногах, да и руки не должны быть знакомы ни с артритом, ни с артрозом. Хилый и совершенно неспортивный Яков Маркович давным-давно переквалифицировался в учителя музыки и в этом качестве был известен всему городу. Он был престижным и дорогим педагогом, многочисленные его ученики поступали в консерваторию и побеждали на конкурсах.

Тринадцатилетний вундеркинд Даня второй час мучил скрипку сложным этюдом. Яков Маркович полулежал в кресле, глядя на его лицо, можно было подумать, что Даня водит смычком по открытой ране бывшего виртуоза. Внезапно с улицы, наверное, из соседнего окна в комнату ворвалась совсем другая скрипичная мелодия – «Чардаш» Монти, его визгливая быстрая часть.

– Господи ты боже мой, – презрительно прошипел тринадцатилетний сноб и отложил инструмент. На его длинной шее стала хорошо заметна скрипичная мозоль. Даня с яростью захлопнул окно. А Яков Маркович, напротив, промышчал мелодию «Чардаша» без всякого раздражения.

– Неужели вам нравятся подобные произведения? – удивленно спросил Даня. Ведь именно Яков Маркович уже лет восемь внушал ему любовь не просто к классической музыке, а только к очень серьезной классической музыке.

– С музыкой не все однозначно, – уклончиво ответил учитель, часто моргая повлажневшими глазами, – как и в жизни.

И несколько раз, собственным эхом, он повторил «как и в жизни», словно погружая себя этим бормотаньем в тихий транс.

Его кожистые веки постепенно успокоились и сомкнулись, обтянув выпуклые глаза. Даню в который раз позабавило сходство учителя с гигантской ящерицей. Яков Маркович вовсе не дремал, наоборот, он впитывал музыку всей кожей. Его сложенные в замок пальцы, чуткие, как лепестки актинии, чуть заметно шевелились в потоке звуков. При любой мельчайшей Даниной ошибке они болезненно корчились, в самых непоправимых случаях грозили, требовали начать заново. Даня любил такие уроки. Ему нравилось это возвышенное общение через эфир, ему льстила таинственная связь его смычка с пальцами мэтра. На вопросы родителей, хвалил ли его учитель, он мог лишь свысока улыбаться. Что сказал? Да ровным счетом ничего. Он только делал рукой вот так, ну, иногда так. Что это значит? Слишком долго объяснять.

Тем временем, Яков Маркович думал о «Чардаше» Монти. Сначала он было собрался рассказать Дане всю историю. Учитель нередко приоткрывал ученикам свои личные, тайные отношения с музыкой. В этой неожиданной откровенности была, наверное, часть его преподавательского успеха. Но сейчас Яков Маркович решил промолчать. Как все вундеркинды, Даня был умен, но абсолютно бесчеловечен. Огромное количество разнообразных сведений заполняло кудрявую Данину голову, не давая шевельнуться той извилине, которая отвечала за сочувствие к себе подобным. Яков Маркович хорошо это знал. Он сам непростительно долго оставался таким.

Родители Якова Марковича были совсем простыми людьми. Он так и представил, как лет пятьдесят тому назад высоколобые почитатели его таланта говорили друг другу шепотом: «Удивительно, но его родители совсем простые люди!» Его отец, Марк Яковлевич, был закройщиком. При посторонних Марк Яковлевич был крайне молчалив. Иногда даже делал вид, что не слышит обращенных к нему вопросов, это выглядело невежливо. Дело было в сильнейшем еврейском акценте, мгновенно всем напоминавшем анекдоты. Марк Яковлевич стеснялся, он не любил выглядеть смешным. Мать, Фрида Моисеевна, напротив, акцента не имела и была не в меру разговорчивой. На его концертах она сидела в первых рядах и громко, быть может, даже специально, кричала: «Яша! Яшенька!» Ловя недоуменные взгляды, она объясняла радостной скороговоркой: «Яшенька мой родной, единственный сын. Он родился таким болезненным. Врачи даже сказали, что не доживет до пяти лет. Хороши врачи, да? Но мы с отцом его вырастили, выучили. Он даже чего-то добился, да? Вся публика пришла послушать, как он играет, да?»

Действительно, Яша был поздним и выстрадавшим ребенком. Когда выяснилось, что у него абсолютный слух, родители подчинили каждую секунду своей жизни его обучению. Покинули уютный южный городок, где остались солнце, тепло, молодость, многочисленные друзья и родственники. Их новое место обитания, город огромный и холодный, никогда не казался им красивым. Наверное, потому, что ни разу в жизни у них не было времени просто пройтись по его набережному. Они работали, или везли Яшеньку на прослушивание к очередному профессору, или доставали Яшеньке говяжью вырезку в Елисейском, по благу... Грустно... Ведь если красоты этого города не понимаешь, что еще может тебя примирить с ним?

Марк Яковлевич трудился в ателье, но основные деньги зарабатывал дома, выполняя частные заказы. Работал до глубокой ночи. Порой Яша думал, что именно этот непрерывный, трехгранный звук отцовского ремесла и развил до такой сверхъестественной чуткости его слух. Он засыпал и просыпался под нехитрое трезвучие: повизгивание стальных пластинок ножниц, что трутся одна об другую, треск распарываемой ткани, постукивание ножниц о стол. По звуку он различал, делает ли отцовская рука крутой поворот, выкраивая рукав, или смело летит вперед, вычерчивая будущие широкие штанины. Заканчивая деталь, Марк Яковлевич удовлетворенно мычал: «Угу», и лишь по одному этому мурлыканью можно было угадать его чудовищный акцент.

Яша совершенно точно знал, наверное, слышал в утробе, – за свою частную практику его отец когда-то имел большие неприятности. Кажется, даже сидел в тюрьме. Это было недолго, но очень страшно. С тех пор в придачу к тяжелой работе примешивался удушливый страх. Не стукнут ли клиенты? Не заподозрят ли соседи? Неудивительно, что Марк Яковлевич недолго любил советскую власть, которая превращала его честную и очень качественную работу в преступление.

Фрида Моисеевна работала в поликлинике в регистратуре. Она отвечала за здоровье семьи. Она же устраивала нужных людей к хорошим врачам, за что нужные люди устраивали Яшу: в хорошую школу, санаторий, на престижные концерты заезжих знаменитостей. В свободное от этих непростых переговоров время Фрида непрерывно стирала, гладила, убирала и, конечно, готовила. Семья совсем не была религиозной, но ели только кошерное. То, что оно кошерное, Яша понял гораздо позже сам, когда стал очень много читать. Книгами его снабжали учителя, а впоследствии – друзья из местных, ленинградских семей. Родители книг не читали. В театры и музеи не ходили. На это все не было денег и времени. Очень рано Яша осознал, что его родители совсем не интеллигентные люди. Что в культурном отношении между ними лежит пропасть.

Помнится, как-то раз совсем еще юный Яков решил включить в свой репертуар композитора Шнитке. На пороге тревожной тенью возникла Фрида. Она тоже имела абсолютный слух, хотя последние года два уже не вмешивалась в занятия сына, доверяя ему и его учителям. Но тут она сообщила с тревогой:

– Сыночка, ты фальшивишь!

– Это современная музыка, мама, – презрительно ответил Яша.

– Ты мне будешь объяснять, – огрызнулась Фрида, – я понимаю, современная, но ни один композитор в мире не мог написать то, что ты играешь.

Фрида обиженно хлопнула дверью. Высокомерная улыбка сына очень ее задела. А Яша окончательно осознал, что родители не только отстают от него в образованности, но и просто не в состоянии понять ту сложную музыку, которая начинала ему нравиться. Хотя в определенном смысле мама была права. Помнится, именно тогда Яков Маркович начал тщательно работать над своим особенным звуком. Родители были огорчены, но ходили на цыпочках. Им казалось, что Яша, который отошел от популярных скрипичных пьес, стал играть гораздо хуже. Учителя и первые поклонники изо всех сил объясняли им, что их сын гениален.

Так когда же возник «Чардаш» Монти? С какого, с позволения сказать, перепугу молодой, но уже по-стариковски рафинированный Яша

шумно исполнил его в доме? Ах, да, ведь он в тот день обиделся. На девушку, на друга, на целую группу людей, в которых разочаровался. Яков Маркович вздрогнул, погрозил Дане пальцем и еще глубже провалился в воспоминания.

В тот год он поступил в консерваторию и подружился там с Артуром. Артур играл на трубе и саксофоне. Фрида Моисеевна с самого начала не одобрила этой дружбы. Дружить можно со скрипачами, альтистами, виолончелистами... Контрабасисты допустимы, но даже они чужеродны и легкомысленны. Что за профессия такая, два раза за концерт провести смычком по струнам. А уж духовые – нет, совсем чуждые нам люди.

Опасения матери были не напрасны: по ночам Артур играл в каком-то подпольном джаз-банде. Артур познакомил Яшу с развеселой компанией своих друзей. Костяк составляли джазисты, коллеги Артура, попадались также художники, фотографы, ну и, конечно, поэты. Их прелестные подруги почти все поголовно учились на филологическом факультете университета. Запомнилась девушка по прозвищу Пифия. Самовлюбленные юнцы считали ее сумасбродкой, беспомощной и глуповатой. Теперь-то Яков Маркович понимал, что Пифия была весьма непроста. Она организовала их бесшабашное сообщество так, что успех и степень уважения зависели от близости к ней, к Пифии. С небольшими вариациями они играли в одну и ту же игру: молодые люди были оракулами, им надо было Пифию одурманить, а потом под общий хохот расшифровывать ее пророчества. Одурманивать можно было вином, сигаретами, реже стихами или музыкой. Изощренно и очень смешно ее одурманивали советскими газетами, утонченно и смело – собственными рисунками и фотографиями. Если честно, без всякого одурманивания Пифия была способна нести отборную и смешную чушь сутки напролет, сонная или голодная, абсолютно трезвая или изрядно выпившая, она без усталости выдавала словесные перлы на тему и без темы, на которые все остальные нанизывали кружева дальнейшего остроумия, как правило, с политическим, диссидентским подтекстом.

Яша и сам был одурманен этим непрерывным весельем и бездельем. Помнится, тогда он почти забросил занятия, позже наверстал, но ту нечеловеческую работоспособность, которая была у него до встречи с Артуром, не обрел заново никогда. Лишь одно обстоятельство огорчало Яшу в те времена – в новой компании над ним посмеивались, его статус был ниже некуда, на грани вылета.

Во-первых, у него не было джинсов. Несмотря на всю свою возвышенность и интеллектуальность, оракулы обязаны были носить джинсы, если не заграничные, то хотя бы паленые. А Яша щеголял в прекрасных, тщательно отпаренных шерстяных костюмах, которые шил отец. Заикнуться родителям о необходимости достать где-нибудь джинсы было немыслимо. Это все равно что отказаться от маминой стряпни в пользу котлет из кулинарии. Друзья даже предлагали ему помощь в обретении статусных штанов, но Марк и Фрида и слышать не хотели о подобном уродстве.

Во-вторых, Яша при каждой возможности обязан был звонить маме и сообщать, что с ним все в порядке. Если в очередной квартире, где оседала честная компания, не оказывалось телефона, Яша должен был выходить на улицу и мучительно искать телефонную будку. Он пробовал бунтовать, почти плача, рассказывал маме, что никто из его друзей

не имеет подобной телефонной повинности, поэтому со своими вечными звонками он выглядит полным идиотом. «Родителям наплевать, где их дети? – изумлялась Фрида. – Сыночка, значит, ты связался с шантрапой! Марк, Марик, ты только послушай, он связался с беспризорниками! Ну, ничего, наш Яша не дурак, это скоро пройдет». Самое ужасное, пожалуй, состояло в единственном материнском вопросе, который она задавала дозвонившемуся сыну: «А что ты сегодня кушал?» Что он мог ответить? Правду? Ха-ха! Плавленный сырок и водку? Красное вино и кильку в томате? Печенье с марихуаной, которое чудом привез из Голландии чей-то родственник-дипломат? Нет уж, если сказать правду, как иногда предлагал ему Артур, мать немедленно хватит инфаркт. Поэтому Яша импровизировал: пельмени, макароны по-флотски, сосиски... «Почему именно это?» – спрашивали его друзья, которые часто толпились вокруг, как на цирковом представлении. «Ну, если я скажу, что бульон с клецками и мясо с черносливом, она может не поверить...» Взрыв хохота, перешептывания за спиной, украдкой, покручивание пальцем у виска...

Яков Маркович крепко зажмурился и провел рукой по глазам. Даня удивился – неужели его исполнение вызывает такую реакцию? А старый учитель просто подумал, что уже лет сорок никого в целом мире не занимает вопрос: «Что Яшенька сегодня кушал?» Существовало и до сих пор существует несколько особ женского пола, которых волнует: «Что Яшенька сегодня заработал?»

Итак, для Артура и его друзей он – одиозный мамочкин сыночек, существо из еврейского анекдота, над которым можно посмеяться, когда обсмеяны все более интересные поводы. А что в активе? Те, кто близок к музыкантам, понимали, что он талантлив. Очень вероятно, что его пошлют на международный конкурс, он кандидат на выезд за рубеж. Семья? Ну, с мамой все понятно. Папу, честно говоря, он немного романтизировал. Сказал, что папа сидел за политику. Это было почти правдой и повысило его, так сказать, рейтинг.

Один раз рядом с ним за столом оказалась сама Пифия, привалилась под бок и, невзначай касаясь роскошным, горячим, как уют, бюстом, стала расспрашивать о национальности родителей. «Если вы все евреи, то почему до сих пор не уехали за границу?» – удивилась девушка. Уехать-то можно, но там все работают таксистами. Врачи, музыканты, математики – все таксистами. Так говорит Фрида, она точно знает от многих знакомых. Пифия смеялась и спорила, отвлекалась на посторонние пророчества, отворачивалась, но под столом ее голое, круглое колено почти не отлеплялось от Яшиной штанины.

В тот весенний вечер, уже подсвеченный волшебной голубишной будущей белой ночи, вся компания отправилась за город, на берег Невы. Яша впервые оказался в сказочных местах, где Нева расстается со своим гранитным служебным мундиром и предстает обычной рабочей, но очень широкой рекой, с кострами на лесистых берегах и рыбаками в лодках. После песен под гитару и очередной бутылки по кругу Пифия молча скинула платье и, оставшись в черном, явно заграничном белье, медленно, завороченно ступая, зашла в воду. Темные волны облизывали ее ноги, белые и нежные, как капельки молока. Все остальные, как стадо обезумевших леммингов, шумно двинулись за ней. В общем порыве Яша тоже разделся, благо на нем были вполне приличные синие плавки. Вода была ледяной, плотной и подвижной, пахла мазутом и рыбой. Дно, покрытое склизкими крупными камнями, под крутым углом

уходило вниз. Внезапная волна от катера и неожиданно сильное течение чуть не сбили его с ног. Яша ощутил острый, животный страх за свою жизнь, ведь он не умел плавать. Переполненный впечатлениями, с горящей кожей, он вышел на берег. Довольно быстро подтянулись и остальные. Лишь несколько пловцов-энтузиастов пытались поразить зрителей мощными саженками и мускулатурой. Несмотря на это и на обратном пути, в вонючем старом автобусе, а потом в пустой, тускло освещенной электричке, Пифия сидела рядом с Яшей и обсуждала тонкости еврейской эмиграции из Советского Союза. Остальные оракулы смотрели на него с уже нескрываемой завистью. Яша блаженно улыбался. Когда Артур вышел в тамбур покурить, Яша прокрался за ним, неся в руках маленький сверток. Это оказались его мокрые плавки, завернутые в газету. Он просил их высушить и, при случае, вернуть. Причина? Если мама найдет мокрые плавки, ей придется сказать, что он купался. Если она узнает, что он купался, у нее будет инфаркт.

Следующая вечеринка с оракулами оказалась последней. Прислушавшись к истерическому хихиканью, Яша понял, что Артур сделал историю с плавками всеобщим достоянием. Перед тем как стыдливо отвести глаза, друг с сожалением посмотрел на Яшу. Выразительная физиономия Артура словно бы говорила: «Дружище, ты с пяти лет учил этюды и поэтому не понял, что мир жесток и коварен. Срочно наверстывай упущенное!» Не привлекая дополнительного внимания, Яша тихо выбрался из квартиры.

Впрочем, и предательство Артура, и белые ноги Пифии – почти ничто по сравнению с тем, что случилось дальше. Злой и опустошенный, Яша явился домой рано. Она размышлял о ничтожности, об омерзительности предавшей его компании. Подумать только, они все время твердят о свободе мысли, а сами судят о человеке по джинсам и прочим заграничным тряпкам. Они считают себя недооцененными талантами, а сами никогда и не пытались что-либо делать. Нет уж, нет уж, Яша умный, он никогда больше не повторит прежних ошибок и подобную публику будет обходить за версту. В ярости Яша схватил скрипку и по памяти, добавляя что-то от себя, заиграл «Чардаш» Монти. Именно эта мелодия, яркая, но неглубокая, с кабацким надрывом и развязностью, больше всего напоминает Пифию и ее прихвостней.

Странный шум и сопенье сзади заставили его обернуться. На пороге комнаты, обнявшись, стояли его родители и смотрели на него как на икону.

– Мама, папа, вы чего? – в недоумении спросил Яша.

– Мы только что поняли, что наш сын гениальный скрипач, – торжественно прошептал отец.

– Наша жизнь прошла не зря, – добавила Фрида, крепче обнимая мужа, – теперь мы с легкой душой можем отправиться на тот свет.

Прожив почти полвека вместе, родители стали похожи друг на друга. Марк Яковлевич, судя по фотографиям, в молодости был высоким и широкоплечим, но от тяжелой работы ссутулился и уменьшился на голову. Фрида Моисеевна была миниатюрной и стройной, как рюмочка, но сейчас ее талия округлилась. И теперь они стояли рядом, как два пухлых шарика, и моргали выпуклыми, покрасневшими глазами и хлюпали одинаковыми крячковатыми носиками, так что Яша вспомнил детское стихотворение: «Взгляни на маленьких совет, малютки рядышком сидят...» Он обнял этих двух самоотверженных птичек, что без устали всю жизнь таскали для него пропитание, и сам неожиданно

заплакал. В тот момент Яшу захлестнула такая нежность, такая благодарность, что он почувствовал, как их слегка истеричная семейная любовь сплелась в огромный энергетический комок и присоединилась к музыке вечных сфер.

– Сыночка, а ты почему плачешь?

– Потому, что «Чардаш» Монти... «Чардаш» Монти... Это музыка, это вовсе не музыка... Это примитив... Вы не понимаете, ничего не понимаете...

Они и в самом деле не понимали, не желали слушать его слова, все твердили, что он гений. И отчаявшись что-либо объяснить, он сыграл еще много разных чардашей, и мелодий из популярных оперетт, и арий из опер, переложенных для скрипки. И в будущем, после любых его сложнейших, заумных, звездных концертов, они на полном серьезе уверяли друзей и его самого, что никогда он не исполнял ничего более прекрасного, чем в тот день дома.

Даня наконец выдохся и отложил скрипку. Яков Маркович похвалил его, проанализировал ошибки. Наметил работу на будущее. А потом, смущенно улыбаясь, неожиданно протянул руки к инструменту, вскинул руки, слегка морщась от артритной боли, и заиграл... «Чардаш» Монти.

Андроник РОМАНОВ

Родился в 1967 году в Казахстане. Учился в Карагандинском и Казахском государственных университетах. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор четырех книг стихов и прозы.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дети Ра», «Сибирские огни» и других. Лауреат XV Международного Волошинского конкурса. Стихи переведены на английский, французский, арабский языки.

Член Союза писателей Москвы. Главный редактор журнала «Литература». Живет в Москве.

РОДИНА

«Вот, суки! – думал Гордеев, разглядывая почерневшую от гангрены ногу, напечатанную под дурацким предупреждением на прежде бело-черно-желтой упаковке его любимой “Койбы”. – Подать бы на вас в суд...» Открыв пачку, он не стал выбрасывать отрывной лепесток фольгированной упаковки, сложил его вдвое, провел по месту сгиба ногтями, расправил, аккуратно разорвал на две половинки, и сунул их под оберточную пленку, спереди и сзади так, чтобы они закрывали уродливую глупость отечественных мракоборцев.

«Аруба» оставалась чуть ли не единственным подпольным заведением, где все еще можно было выпить чашку хорошего кофе с хорошей кубинской сигаретой или хороший виски с хорошей сигарой – это уж по желанию и достатку. Правда, курить здесь можно было только купленное в баре. Гордеев курил Cohiba. Они напоминали ему любимые в студенчестве «Лигерос», прозванные за крепость «смертью под парусом», французский «Житан» без фильтра, и – добываемый в буфете кубинского посольства за тогда еще советские копейки, изысканно-ядерный «Партагас». В них была заметная доля крепкого сигарного табака, очищающего процесс от пошлости ширпотреба. Каждая затяжка напрягала горло и дурманила голову тем самым неповторимым ароматом. Именно здесь хотелось цитировать Хемингуэя, называться афисионадо, разбираться в абсенте и прочих благородных ужасах любителей здорового образа жизни, одержимых и потому заделавшихся законодателями и теперь истребляющих все, что не радуется зелёному салату и свежавыжатому сельдерею.

До встречи оставалось полчаса. Гордеев пришел в «Арубу» заранее, чтобы посидеть-подумать, хотя ещё утром решил: надо соглашаться. Перспективы, конечно, туманные, но они хотя бы есть. А здесь – «Раша из Раша» – новый шеф упражняется в слабоумии, лезет во все дырки, хотя ни черта не понимает ни в проектировании, ни в производстве, а все их яйцеголовое КБ ему кивает, мол, мы-то знаем вас – комитетчиков, рано или поздно каждый пакует чемодан и переезжает в место потеплее. Назвать новое изделие «Пустырником» мог только клинический идиот... Обидно... «Обидно, – думал Гордеев, – что не уехал, когда звали. А сейчас какое там Токио, в Палангу не выпустят: “Сиди, Гена, рисуй, работай, Гена...”» Была шальная мысль все бросить и пропасть, уехать. Но куда тут уедешь? Все, что не Москва и не Питер – глушь. Был бы помоложе – лет на двадцать – записался бы в торговый флот матросом и до ближайшего заграничного порта... Гордеев усмехнулся: «Кому ты там нужен?» И вспомнил Марка: «Хотя... Может, и нужен». И посмотрел на часы.

* * *

Марк. Такие тысячами, сотнями тысяч идут по улицам городов, едут, стоят в пробках, переминаются в очередях у касс супермаркетов, листают «Фейсбук» в вагонах метро, те, которые – типичные – футболка, джинсы, кроссовки: увидел, отвернулся, забыл. Единственная деталь – очки. Очкариков мало. Снимет и станет невидимым. Он появился в «Арубе» на прошлой неделе. С порога направился к барной стойке, окликнул бармена, заказал пятьдесят текилы, расплатился, взял стопку и повернулся к залу. Перехватив взгляд Гордеева, он приподнял стаканчик, выпил и тут же пошел к выходу. Это было странно, потому Гордеев его и запомнил.

На следующий день очкарик появился снова. На этот раз у барной стойки с большой кружкой пива, выглядывал свободное место в зале. Заметив Гордеева, он приветливо улыбнулся. В ответ Гордеев жестом пригласил его к себе за столик.

– Марк! – протянул руку очкарик.

– Геннадий.

– Что вы сегодня курите? – Марк уселся напротив Гордеева и жестом подозвал официанта.

– Я как всегда, – Гордеев кивнул на лежащую на столе открытую пачку «Каибы».

– А я люблю экспериментировать, – Марк хищно улыбнулся, взял из рук подошедшего официанта сигарное меню, открыл и ткнул в него пальцем. – Вот это. «Боливар». Пачку. И... – в ход пошла винная карта, – «Олтмор». Двенадцать лет. Сразу бутылку.

– Извините, «Олтмора» нет, – официант поджал губы. Стало казаться, что ему действительно жаль. – Могу посоветовать «Балблэр» девяносто девятого года.

– Вот этот? – Марк повернул к официанту винную карту.

– Да, – кивнул официант. – Очень хороший виски.

– Вы не против «Балблэра» девяносто девятого года? – спросил Марк Гордеева.

Гордеев слегка смутился. Он не привык знакомиться вот так – наотмашь, тем более сходу пить, но раз уж сам позвал, то почему бы и нет. Чисто символически.

– Да. Вполне.

– Отлично, – Марк повернулся к официанту. – Неси «Балблэр». И еще... «Камаро» и что-нибудь на закуску. Мяса.

– Могу предложить куриные грудки, запеченные под пармезаном, – официант достал крохотный блокнотик.

– Хорошо, – согласился Марк. – Два.

– Две порции?

– А я что сказал? Два. И «Камаро».

– Я записал. Могу забрать меню?

Официант ушел. Марк вынул из внутреннего кармана пиджака айфон, достал из штанов зажигалку и положил их аккуратно около салфетницы.

– Я пью виски по-ирландски. Не понимаю, как можно разбавлять его колой.

– Да, – согласился Гордеев. – Лучше закусывать, чем разбавлять... Часто здесь бываете?

– Третий, по-моему, раз. Приятель привел. Хорошее секретное место, – Марк улыбнулся.

– Те, кому надо, о нем знают, – сказал Гордеев. – Это как бы достопримечательность. Сюда приходят интуристы. Вот и не трогают. Я знаю хозяина. Он такой стопроцентный кубинец. Остался в Москве после универа.

– Все запретное манит, как говорят. Это хороший маркетинговый ход. Смотрите, сколько народа.

– Как обычно...

– А вы всегда на этом месте?

– Я его бронирую.

– О, так можно? – Марк изобразил удивление.

– Как в любых ресторанах.

– Отлично. Надо записать телефон.

– Я дам.

– Давайте, – Марк взял в руки айфон.

Гордеев нашел в телефоне номер «Арубы»:

– Готовы записать?

– Да.

– Девятьсот пять...

– В начале плюс семь?

– Да, – Гордеев повернул телефон экраном к Марку.

Марк записал номер.

– Спасибо. Буду знать. В августе приеду в Москву с женой. Хочу показать ей это место.

– Я так и понял, что вы не местный.

– Это так заметно? Не тяну гласные?

– Типа того.

Марк усмехнулся:

– Я родился в Иерусалиме. Отец при Брежневе эмигрировал в Израиль, потом в Штаты.

– Никогда бы не подумал. У вас отличный русский.

– Это все мама.

– Значит, вы интурист?

– Не совсем. Я два года уже работаю в России, в Петербурге. Я и моя жена. Она русская.

– Питер шикарный город.

– Только очень холодный. Особенно зимой. Сырость... А вы откуда?

– Да. Родился в Замоскворечье. Вы позволите? – Гордеев достал из пачки сигарету.

– Конечно. А можно мне ваших попробовать?

Гордеев протянул пачку.

– А вот и наш «Балблэр», – Марк кивнул в сторону приближающегося официанта, – Мне Москва больше нравится. Но у боссов свои планы.

– Чем занимаетесь?

– Сырье. Лес, нефть, – Марк закурил. – Всего понемногу. Вывозим ваше богатство. А вы?

– Я инженер.

– Хороший инженер?

– Ну, не знаю. Вроде не жаловались, – чиркнул зажигалкой Гордеев.

– Технарь, значит... Да-а, хороший табак, – Марк положил сигарету в пепельницу, взял в руки бутылку. – Вы уж простите мою бесцеремонность. Поговорить не с кем, а умного человека, как говорит моя мама, видно за версту. Давайте за знакомство.

Марк налил виски в бокалы. Подняли, чокнулись.

– Лехаим, – Марк пригубил. – Ммм... Не обманул-таки халдей. А?

– Да, неплохо, – Гордеев отпил и поставил бокал на стол.

Бархатное тепло приятно обожгло горло, вкус виски смешался со вкусом табака.

– Не думаете переехать насовсем? – спросил Гордеев.

– А вы? – улыбнулся Марк, приподнял голову и выпустил пару колец дыма. – Где родился, там и пригодился.

– Этому вас тоже мама научила? – Гордеев затянулся сигаретой.

– Это я сам, – хохотнул Марк. – Слушайте, я тут у вас чуть не сел. Серьезно! Прилетаю в Питер, мне на паспортном контроле говорят: «Это не вы». Молодая девушка смотрит в мой паспорт и говорит: «Это не ваша фотография». Представляете? Вызвала офицера. Я у окна стою как идиот, они двое напротив. Сличают с оригиналом. Я на том фото с усами. Я палец к губе приложил, «А так?» – говорю... Ну что вы смее-тесь? Это страшно. Отправят в Сибирь снег убирать, и родная мама не узнает где ее литл Марки. И знаете что? Знаете, чем кончилось? Я им показал мой аккаунт в «Фейсбуке». Мои фото. Маму, папу, дом в Огайо. И они меня пропустили. Паспорту не поверили, а «Фейсбуку» поверили. Вы представляете?

– А ваши что, лучше? – усмехнулся Гордеев. – Что ни заявление МИДа, то – ссылки на социальные сети.

– Эй нет, – Марк поднял палец. – Это совсем другое дело. У нас Псаки...

Гордеев расхохотался.

– Да ну ее к черту, политику, – Марк поднял бокал. – Давайте за дружбу.

* * *

– Готовы заказать?

Гордеев обернулся. Держа кожаную папку на манер подноса, у стола стоял улыбающийся Марк.

– Are you ready? – прорычал он густым басом и обнял поднявшегося к нему навстречу Гордеева. – Как поживает мой русский брат? С чего начнем? Виски, текила?

Гордеев натянуто улыбнулся. Финал прошлой встречи предполагал, как ему казалось, совершенно иное продолжение. Тогда, у кромки бассейна Петровской сауны, похожей своими мозаиками на перепрофилированный дворец пионеров, разглядывая покосившийся плафон сквозь бокал с коньяком, Марк сказал:

– Гена, тебе нужны деньги. Деньги делают человека, Гена.

– У меня есть деньги, Марик, – промычал Гордеев.

– Много денег, Гена. Много...

– Помню, один ген... – Гордеев запнулся и постучал себя пальцем по лбу, – гондон сказал...

– Что сказал один гондон? – спросил Марк.

– Богатство – это не много денег, а скромные потребности, – выдавил Гордеев, и они оба расхохотались.

– Хорошая шутка, – сказал Марк. – Это твой шеф так шутит?

– Не смешно на самом деле... – глупо улыбаясь Гордеев поднялся с шезлонга, подошел к краю бассейна и подпрыгнув шумно рухнул в воду.

– Не утони! – весело крикнул ему Марк, – Ты нам нужен живой!

Усаживая Гордеева в такси, Марк похлопал его по плечу:

– Ты достоин хорошей жизни, Гена. Ты хороший человек... Подумай об этом.

Проснувшись наутро в своей холостяцкой двушке, Гордеев подумал о Марке, стал вспоминать, о чем они говорили сначала в «Арубe», потом – уже изрядно поднабравшись – по дороге в сауну, и чем больше подробностей всплывало в его похмельной голове, тем тревожнее ему становилось. Получалось, что он выболтал где и кем работает и над чем конкретно, и все это как-то легко под шуточки Марка, вискарь и приплясывания молоденьких проституток, похожих на пионерок с мозаичного панно над бассейном. «Вот так оно и происходит», – думал Гордеев – и когда стоял в душе, и когда чистил зубы, и когда ехал в метро на работу. Ему вспомнился горбатый профиль Толкачева, с которым работал отец – они даже были знакомы, – а потом оказалось, что Толкачев – цэррушник, предатель, и его расстреляли, и даже заступничество Рейгана не помогло. Марк позвонил вечером. Позвал назавтра в «Арубe» – поужинать.

– Что-то ты сегодня невеселый какой-то. Что-то случилось? – спросил Марк усаживаясь напротив.

– Да нет, все нормально, – Гордеев вытащил из пачки сигарету.

– Ну смотри, можем все отменить, если нет настроения.

– Как отменить? – смутился Гордеев. – Так просто отменить?

Страх, колотивший его последние сорок часов, вытеснила неожиданная обида, как будто он – Геннадий Гордеев – выиграл в лотерею крупную сумму денег, достаточную, чтобы уехать из этого гадюшника насовсем, навсегда, и вдруг обнаружилось, что получение выигрыша невозможно из-за какой-то совершенно глупой нелепой формальности, буквы в фамилии: «Видите, здесь написано Гардеев, а вы по паспорту Гордеев, через о...» И – прощай, Токио, древние храмы и музей Фукагава, покорные японки и смелые камикадзе, всё, чем он бредил, начитавшись в юности Акутагавы и Кобо Абэ.

– Марк, давай начистоту, – Гордеев пошел ва-банк. – Ты же неслучайно ко мне подошел. Давай уже, говори. Чего тянуть?

Марк молча вытащил из гордеевской пачки сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил.

– Ну что ж... Значит, я не ошибся... – Марк говорил тихо и уверенно, голос его звучал теперь по-другому. – Ваша контора ведь в ведомстве ФСБ?

– Ну допустим, но я не комитетчик, – ответил Гордеев.

– Это и хорошо. Я хочу выйти через тебя на нужных людей... У вас в ГРУ крот. Очень большой чин. Поэтому напрямую нельзя. Мне нужна твоя помощь... Я хочу работать на Россию.

– Как на Россию? – растерялся Гордеев.

– Так, на Россию, – спокойно ответил Марк. – Это ведь и моя родина, брат...

Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ

Родился в 1995 году в Макеевке Донецкой области. Работал пианистом в ресторанах, концертмейстером в музыкальной школе и академии танца. В настоящее время студент композиторского факультета Национальной музыкальной академии Украины. Публиковался в журнале «Сибирские огни». Живет в Киеве.

МУЗЫКА ИХ ДЕТЕЙ

Они уже знали огонь. Всю зиму, оставляя в снегу лунки с облещенными краями и чёрной внутренностью, по долине тлели костры, и пока одни ходили ломать хворост, другие, уже вернувшиеся, согреть над огнём неподатливые ладони, приплясывали на утопанном снегу, и лунными ночами их голубые тени носились по белому полю, неестественно сжимаясь на сугробах и бугорках... В безветренные ночи можно было лежать у костра и смотреть, как искры смешиваются с острыми холодными иглами чужих звёзд; можно было стеречь огонь в чуткой дреме, когда малейшее ослабление тепла заставляет проснуться и подбросить хвороста, без страха увидеть только тонкую ниточку дыма над остывающими головнями.

Рогатая вершина горы, ночью заметная только как место на небе, где не видно звёзд, становилась сначала бледно-голубой, потом медно-красной и наконец в каменной раме, слепящей глаза блеском ледяных наростов, появлялся плотный шар света. День, когда из долины казалось, что он находится точно посередине, не касаясь краями льда, был первым днём весны.

Но ещё дымились костры, ещё перекликались ходоки в чашах, ещё должна была за многие ночи из края в край пересечь небо тускло мерцающая Ладья, вся в пробоинах с расходящимися лучами, истаять над вершинами леса огненно-красный глаз, следящий за жизнями и делами и стерегущий покой занесённой снегом земли.

И до тех пор горел костёр у пролома в скале, ярчайший из всех, и до тех пор стерегли узкий лаз под землю – пока в его недрах не лопался лёд на реке, на единственной дороге в нижний, запретный мир.

Дремал под снегом у подножия горы ржавый, обгорелый и искорёженный исполин. Старики говорили, что когда-то раньше он иногда по ночам озарялся неземным, таинственным светом, и все бежали на этот свет, стояли вокруг него, взявшись за руки, и в восторге и страхе ждали чего-то, но это было давно, никто из живущих этого не помнил.

И ничего не менялось с ходом звёзд, и такой же каждую весну заставляли долину те, другие, что тоже грелись где-то там, в тёмной вышине, далеко-далеко отсюда.

– И по тёмной воде плывут с огнём на плотках, из лета в лето, сквозь туман и мрак, искать край Земли, и никто ещё не вернулся с края Земли.

– Потому, что там хорошо?

– Там никогда не бывает снега, там не носят одежд, потому что всегда тепло, и не охотятся, потому что куда не протянешь руку – спелые, как полдень, плоды. А те, кто достигли этого места, разжигают огромный костёр, на который правят те, кто ещё плывёт. Он горит на плоту, в котором деревьев больше, чем во всех лесах нашей долины, за день проходит путь до другого берега и там гаснет. И тогда увидевшие его отплывают искать край земли. Мы видим это каждую ночь, это видели те, кто были до нас и увидят те, кто будет после.

– И там всем им хватает места?

– Да. Ведь никто ещё не пытался проделать обратный путь.

– Там был кто-нибудь из тех, кто живёт в долине?

– Это очень далеко. И оттуда, где нет зимы, не возвращаются туда, где всегда зима.

И огненный шар не коснулся краями ледяных рогов горы и, поднимаясь, прополз точно между ними, и изрытая лучистыми дырами Ладья из ночи в ночь незаметно прошла всё небо, и затерялась где-то в верхушках деревьев скатившаяся к горизонту самая яркая, красная звезда, а снег всё лежал, и мело, и белые мошки без конца летели и летели на свет костров, и не было им числа, и садились на плечи, в бороды, на ресницы, и больше не таяли в волосах.

Люди взбирались на деревья и ломали верхние ветви, стволы стали почти голыми. Тепло звали, как и раньше, из века в век – музыкой. Крошили ледяные глыбы, камнями вытёсывали из них прозрачно звенящие пластины, в полых сосульках протепляли отверстия, дули в них, сыпали на землю мелкие льдинки, танцевали с ними, чтобы потом растопить их в пламени, а вместе с ними зиму.

В тёмной вышине плыли, плыли костры, посланные как знак о прибытии в край вечного тепла, а снега было по плечи, люди проделывали ходы в его плотной толще и каждую ночь зимы делали насечку на скале, и камень весь был испещрён метками.

Когда появился крепкий наст, не проминавшийся под тяжестью человека, они, растянувшись по долине то рвущейся, то вновь собирающей цепочкой зашагали навстречу солнцу. Льдинки искрились и тихонько звенели в их бородах.

Они научились строить жилища изо льда и снега. Останавливались на годы и снова шли. И так в памяти сменяющихся поколений оставалось: нужно идти туда, откуда начинается день, где-то там – край земли, где всегда весна.

Они пили воду, растопленную в ладонях, или просто ели снег, питались сладковато-горькой корой и жёсткими корнями вымерзших трав, и снова шли, когда в лесах, попадавшихся на пути, уже нечего было сжечь.

Они взбирались на горы, и с вершин, насколько хватало глаз, открывалась слепящая белизна. Ветер заметал следы, на третьем шаге не было видно первого. И никто не мог сказать точно, сколько раз уже должна была наступить весна, сколько раз где-то там, далеко, те, кто были до них, покинули долину с рогатой горой.

Кто-то из них заметил:

– Мы идём так долго, а солнце не становится больше с каждым днём.

Стали говорить, что когда-то раньше оно казалось не больше лунки в снегу, остающейся от костра, а теперь оно так огромно – значит, его страна где-то рядом.

Когда вдали после нескольких лет равнин плотной стеной проступил сквозь снегопад лес, их было всего двое.

– Ещё долго? – спрашивала она.

– Нет. Мы почти пришли, – лгал он.

Увязали по пояс в снегу, но брели, как когда-то давным-давно, в незапамятные времена заповедали их предкам те, кто был перед ними.

Ветви деревьев, отяжелевшие ото льда, радужно искрились. Следы, ровной цепочкой пересекающие долину, наполнялись водой, сквозь которую шевелились примятые травинки.

Качая сухие стебли, по долине носился ветер. И по всей земле не было ни одной протоптанной тропинки, здесь не ходили люди.

– Вот этот край. Отсюда восходит солнце.

Над их головами носились светящиеся бабочки, ещё не знающие страха перед человеком, доверчиво садились на плечи, на подставленные ладони и трепетали прозрачными крылышками с искрящимися прожилками. Летели по ветру невесомые комья пуха, сотканые из сверкающей паутины, и прозрачные шарики, от дуновения вдруг распадающиеся на пылинки.

Они вплетали в волосы сорванные цветы и тяжёлые глянцевиные листья, все в горящих от солнца созвездиях мелких дырочек.

И такими высокими были травы, а они были так малы, что иногда стебли уходили к самому небу, заслоняя и его, и тёмный пролом в скале, ведущий в недра земли, и огромный замшелый камень, испещрённый уже почти стёртыми насечками, и рогатую гору с остро блестящим, подтаявшим, хрупким льдом.

Павел ТИХОНОВ

Родился в 2000 году в городе Заволжье Нижегородской области. Окончил 11 классов школы, намерен получить юридическое образование. В 14 лет написал стихотворение, которое получило хорошие отзывы на областном радиоконкурсе и было напечатано в сборнике по его итогам. Проза пока не публиковалась, хотя два рассказа побеждали в областном подростковом конкурсе фантастических рассказов.

Живет в Заволжье.

НОЧНЫЕ СТРАННИКИ

Я шёл по морскому берегу, босыми ногами ступая на ещё влажный и от этого кажущийся очень плотным песок побережья. Море тихо шумело, волны набегая, плавно откатывали назад, влекомые отливом. На небе виднелись звёзды, оно было чистым-чистым, и где-то вдалеке затерялась луна, свет которой освещал небольшую пену возле берега.

Бродить по тихому морскому берегу ночью всегда доставляет удовольствие, потому что обычно здесь нет никакого лишнего шума и практически всегда безлюдно: только небо, звёзды, луна и ровный шум моря. В это время думается о разном, но мысль цепляется за мысль, и постепенно выстраивается длинный ряд, состоящий из воспоминаний, идей и, иногда кажущихся на первый взгляд странными, желаний. Но всегда это очень интересно. В такой обстановке мышление работает прекрасно, и это доставляет мне огромное удовольствие.

Я видел, что вдалеке горит костёр, и медленно двигался к нему. Мне было интересно, кто пришёл сюда в столь поздний час, когда обычно здесь никого не бывает, и при этом осмелился развести огонь. Подходя ближе, я стал слышать людские голоса, и постепенно у костра вырисовывалось несколько фигур, силуэтов, полутёмных и пока таинственных. И мне почему-то хотелось приблизиться к ним и сесть рядом: они не кричали, а тихо разговаривали и, скорее всего, пришли сюда для того же, что и я: чтобы найти тишину и одиночество, но, в отличие от меня, одиночество для небольшой группы.

Я медленно приближался к ним. Они не слышали меня и даже не замечали идущего к ним незнакомца, продолжали болтать о своём, но тут я понял, что говорят они только между недлинными паузами. Вдруг заиграла гитара, барабанные палочки стали отбивать ритм, и кто-то запел

какую-то песню. Песня эта мне нравилась, и я замедлил шаг, чтобы не приблизиться к ним раньше времени, боясь прервать эту музыку. Когда я подошёл, песня почти подошла к концу, и когда меня уже заметили, неизвестный мне певец допевал последнюю строчку и в это же время кивнул мне в знак приветствия. Я ответил ему тем же. Последние аккорды смолкли, и я зааплодировал.

– Bravo, bravo! – сказал я, а они только смущённо на меня смотрели. – Извините меня, я гулял по берегу и случайно заметил вас. Вы очень хорошо играли и пели.

– Спасибо, спасибо, – как-то рассеяно ответили они, всё ещё продолжая смущаться, но смотря на меня очень счастливыми и радостными лицами.

– Присаживайтесь к нам, – сказал мне гитарист, указав на свободное место на маленькой коряге, на которой сидел другой музыкант с саксофоном в руках. Тот подвинулся, но я почему-то сел рядом с гитаристом, прямо на песок, ещё не совсем остывший после жаркого дня.

– Если только я вам не помешаю.

– Нет-нет, что вы! – взмахнул руками гитарист. – Ночные слушатели здесь – большая редкость. Нам даже будет очень приятно.

И он заиграл новую песню.

Когда они пели, весь мир вокруг нас будто бы замирал: даже море рядом с нами, казалось, шумело тише или вообще почти не шумело, улавливая каждый звук песни.

– Кто вы, скажите? – спросил их я, когда они закончили. – Здесь очень редко можно кого-то встретить, когда гуляешь ночью.

– А вы любитель гулять по ночам? – спросил меня гитарист. Он постоянно улыбался, когда говорил, и лицо его было таким спокойным и невозмутимым, и он сам казался таким же.

Я неловко кивнул головой.

– Мы – музыканты, – ответил он. – Разве не видно? Что касается имён – мы давно отказались от каких-то званий, титулов и даже имён, потому что всё это уже не нужно нам. Мы играем ночью в безлюдных местах, и музыка наша разлетается и растворяется в пространстве, но отзвуки её живут вечно.

И гитарист снова заиграл, барабанщик стал стучать палочками друг об друга и по своему барабану, саксофонист завёл долгую грустную мелодию, криками души вырывающуюся в небо, срывающуюся с высоты звучания вниз и снова поднимающуюся ввысь. Саксофон его блестел в свете слабой луны, он отражал меня, сидящего напротив, и мне всё казалось, что кроме меня в этом саксофоне отражаются только звёзды, такие маленькие полупрозрачные точки, и больше там ничего нет. И я увидел, как по щеке саксофониста потекла слеза, как она медленно скатилась вниз, оставив за собой след, и как надолго задержалась, прежде чем сорваться и упасть на песок. Саксофонист оборвал свою длинную-длинную ноту, кульминацию своей импровизации, и тут главным голосом вступили скрипка и контрабас, сидящие со мной совсем рядом. Странно, подумал я, ведь до этого я и не замечал, что здесь, около меня, сидели ещё два музыканта. Причём я мог не заметить скрипку, но не заметить контрабас мне представлялось нереальным. Более того, дело не в инструментах: до этого я не заметил и самих людей. Не может же такого быть, чтобы они незаметно подошли или вообще спустились с неба, присели рядом и стали играть. Но я быстро забыл об этом, заслушавшись их музыкой.

– И ведь что странно, – сказал мне гитарист, когда последний аккорд ещё не дозвучал, – здесь ночью даже звуки слышатся по-иному. Сыграй мы эту мелодию днём, была бы самая обычная мелодия, но вот мы играем её ночью на берегу моря, и, мне кажется, это что-то прекрасное.

– Действительно, – согласился я. – Правду сказать, я не слышал её днём, но звучит это действительно великолепно.

– А часто вы бродите по ночам? – спросил меня гитарист.

– Ну, – задумался я, – не так часто. Бывает, очень хочется пройтись ночью по одинокому берегу. Знаете, когда совсем плохо на душе, такое бывает, на меня это действует как лекарство. Я будто оживаю.

– Так вы романтик?

– Может быть. Хотя сам я так не думаю.

– А зря. Быть может, в этом есть ваша жизнь.

– В прогулках по ночному пляжу? – усмехнулся я. – Бродить при луне возле моря?

– А почему нет? Скажите мне, почему? – гитарист подождал, пока я отвечу, но, так и не дождавшись ответа, продолжил. – Может быть, именно гуляя по ночному берегу вы сможете найти в себе что-то такое, что определит вашу жизнь. Или эти прогулки наведут вас на идею, которую вы разовьёте. Может, вы художник, но об этом пока не знаете.

– Я подумаю над вашими словами, – ответил я.

– А вы подумайте, подумайте, – ответил гитарист. – Мне кажется, это даст свои плоды.

Он снова заиграл, и теперь ему аккомпанировал трубач. Музыканты долго непрерывно играли, а я всё думал, кто же они такие, как они оказались здесь, что их заставило прийти сюда. Босые люди в лёгкой одежде, они почему-то не вписывались в этот пейзаж.

– Жизнь, – продолжил свои размышления гитарист, – не так длинна. И смысл её я лично вижу в том, чтобы создать что-то новое, творить, передавая своё творение кому-нибудь другому как частичку себя. Понятно, что для меня, равно как и для всех нас, это творение – в музыке. Бродя по берегу, умеете ценить каждую свою мысль, потому что она уникальна, потому что только она раскрывает вас настолько, насколько необходимо человеку. Для нас музыка – творение необыкновенное. Мы можем раскрыть себя через неё. И вы представляете, сколько откровений передалось вам за эти полночи, что вы сидите с нами? Уловили их? Я вижу, что уловили. Может, вы этого не понимаете, но вы их уловили. Где-то на подсознательном уровне. Где-то на уровне души вы их поймали.

Они снова заиграли, все разом, и громче их всех был, как ни странно, певец, певший негрустную песню о своём прошлом.

– И всё-таки, откуда вы? – спросил я.

– А вам так обязательно это знать? – пожал плечами гитарист. – Если так, то мой ответ не слишком удовлетворит вас. У нас нет ни страны, ни города, ни тем более дома. У нас нет ничего лишнего. Только музыкальные инструменты. И душа, конечно же. И душа, – задумчиво повторил он. – Это наше богатство, и нам больше ничего не надо. Так вот нам повезло, что у нас всё есть.

– И как же вы живёте?

– Вполне себе хорошо. Вы представляете, сколько перед нами открыто возможностей с нашим капиталом? О, безгранично!

Я не понимал, о чём он говорит, и он об этом знал, но даже не давал никакого намёка на подсказку. Я же видел, что глаза его не без некоторой доброй надменности, основанной на неизвестном мне опыте, говорят, что я, может быть, пойму это когда-нибудь потом.

Музыканты играли снова и снова, не переставая. А я слушал их и думал, что так хорошо мне ещё никогда не было. Пищали ветки в костре, шумело море, играла музыка и была ночь. Никогда я ещё не испытывал такого прекрасного чувства, какое у меня было сейчас. И вряд ли я его когда-нибудь испытаю. Может быть, это было настоящее счастье, тихое и незаметное, но такое осязаемое, что от него становится так прекрасно. Меня клонило в дрему, а музыканты всё играли и играли, а мне становилось всё лучше и лучше, и я думал, что это счастье становится всё больше и больше, и уже начинал задумываться, как его подольше сохранить потом, после того, как эта ночь кончится.

Человек должен быть счастлив, понял я в эту минуту. А гитарист будто уловил мои мысли, радостно зажмурился и, продолжая кивать в такт своей мелодии, заулыбался, и вскоре начал новую песню без слов, но мне почему-то казалось, что она именно о счастье.

– Подпевайте, – подмигнул он мне. – Давайте, не стесняйтесь.

– Я не знаю слов, – ответил я.

– Ничего страшного, их здесь нет. Просто подпевайте мотиву.

И мы сидели так долго-долго, глядя друг на друга, напевая неизвестный мне мотив, который без труда пелся, как будто всегда был со мной. И я пел: ла-ла-ла-ла-ла. Я забыл в этот момент обо всём, кроме того, что мне было очень хорошо. Всем нам, я чувствую, было очень хорошо.

Мы все как-то разом замолчали и долго смаковали тишину, хотя у каждого наверняка звучал ещё в голове добрый мотив.

Лица наши обдувал лёгкий ветерок, море разбавляло тишину тихим шуршанием. Потрескивал догоравший костёр.

– Потухнут эти угли, – прервал тишину гитарист, – вспорхнёт в холодный воздух последняя красная искра и растает там. И звук растает. Всему свойственно исчезнуть, растаять. Но ценность жизни в том, чтобы наслаждаться ею, а не думать о её прекращении. Делать то, что тебе нравится, не заглядывать в фатальный конец и лишь изредка оборачиваться назад, потому что без прошлого нет будущего. Для нас это – музыка. Мы можем играть бесконечно – так нам покажется. Ведь наступит конец. И всё же мы готовы играть до конца. Потому что в музыке мы видим что-то такое вечное, вечное для нас, и мы приобщаемся к этому вечному, сами немного проникая в века. Но это вечное для каждого своё. И каждый должен его найти. Вот что тебе так же нравится? Что для тебя такое же вечное? Что для тебя вечное?

Я задумался. И вскоре понял, что не могу дать ответа.

– Я не знаю.

– Но это тоже хорошо, – успокоил меня гитарист, и лицо его светилось от необъяснимой для меня радости. – Значит, у тебя всё впереди. Значит, тебе предстоит это отыскать. Значит, вся жизнь у тебя впереди и лежит перед тобой! Разве это не прекрасно?

– Наверное, прекрасно, – неуверенно сказал я.

На это гитарист только крикнул негромкий клич, вроде «Хэй!», и все музыканты снова заиграли.

Парень на мелодике перебирал пальцами короткие пассажи, труба и саксофон по очереди выводили соло, а когда певец и гитарист пели дуэтом, им аккомпанировали скрипка и контрабас.

Когда они закончили, вокруг вдруг стало необычайно тихо, даже треск костра был слишком громким в этой сплошной тишине, а море как будто замерло в этот миг, но вскоре и оно зашумело.

– Скоро рассвет, – усмехнувшись, сказал гитарист, обернувшись на море.

Он промышчал какой-то мотив, и все музыканты как один стали ему подпевать, и у них получилось чистое многоголосие. Но оно длилось недолго, очень недолго. Все замолчали, и снова вокруг стало необычайно тихо.

– Это была наша последняя песня, – сказал в этой тишине гитарист. – Сегодня нам уже пора.

Все молчали и грустно смотрели на догоравший костёр. И как только они поднялись со своих мест, из-за морского горизонта показалась кромка оранжевого солнца.

– Спасибо, – сказал мне гитарист, – было очень приятно провести с вами ночь.

– Это вам большое спасибо, – ответил я. – До свидания.

– До свидания, – сказал гитарист, и все остальные, уходя за ним, улыбались мне и кивали головой в знак прощания, и я отвечал им тем же.

Солнце медленно поднималось из-за горизонта, и свет растекался по земле так же медленно, становясь всё ярче и ярче. Песок приобрёл оранжевый окрас, такой же, как у солнца, но только немного светлее, и вместе с отблесками на море выглядел очень красиво. Музыканты шли по нему босиком, цепочкой друг за другом. И вдруг они стали прыгать и смеяться, но всё отдалялись и отдалялись. Я уже не слышал их смеха, но знал, что они точно радостно смеются. А потом они опять пошли цепочкой друг за другом. И я видел, как несколько силуэтов с музыкальными инструментами уходят по берегу моря на фоне рассветного солнца, и их фигуры, уже затемнённые ярким светом лучей, становились всё мельче и мельче.

Вдруг порыв ветра сорвал у гитариста шляпу, и она покатила по песку. Никто не подхватил её, да и сам гитарист не бросился за ней вдогонку: они продолжали идти. Я попробовал окликнуть их, побежать им вслед, но они не оборачивались. Вскоре ветер принёс шляпу мне. Я снова окликнул их и помахал им, но они то ли не слышали меня, то ли не хотели слышать.

Прибывшее море уже смыло их следы. Солнце слепило глаза, и мне пришлось их зажмурить и закрыться от яркого света. И сквозь зажмуренные веки я увидел, как уже крошечные фигурки просто растаяли в нагревающемся воздухе, как пустынный мираж. Они действительно растаяли, как будто их и не было вовсе.

Я пошёл вдоль берега моря, все размышляя о них. Может, и не было вовсе никого, а всё было лишь сном или бредом? Но вон же лежат угли от потухшего костра, вот шляпа в моих руках. Всё-таки, значит, кто-то был.

Я посмотрел на горизонт и понял, что они не вернуться. Больше мы с ними никогда не увидимся, а шляпа в моих руках – лишь подтверждение того, что растаявшие в утреннем мареве люди действительно были рядом со мной всю ночь и я действительно слышал их музыку.

Я размахнулся и бросил шляпу в море. Она полетела далеко вперёд, проскользив по водной поверхности и дважды от неё оттолкнувшись,

и поплыла в сторону горизонта к почти уже вставшему солнцу. И я был уверен, что она приплывёт куда надо, туда, куда я её и отправил.

Я брёл по морскому берегу. Это была очень короткая ночь, но она столько для меня значила.

Странные ли, больные ли, несуществующие ли вообще призраки полуночных мечтаний, или самые прекрасные люди, они открыли для меня многое, столько же оставили и закрытым. А к каким-то тайнам дали только ключ: возьми, поверни, и откроется эта дверь. Но и это почему-то даётся с трудом, и не каждая дверь поддаётся сразу.

Наверное, это символично: уходить в закат. Этаким актом прощания, финал, ни с чем не сопоставимый по красоте. Они сделали наоборот.

Каждый раз, когда я вспоминаю их, у меня перед глазами стоит картинка, как силуэты одиноких музыкантов босиком идут на фоне восходящего солнца, и всё медленней и медленней уходят вдаль, пока совсем не исчезнут в ней.

Поэзия

Диана КАН

Родилась в городе Термезе Узбекской ССР. Окончила МГУ им. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Автор книг «Високосная весна», «Подданная русских захолустий», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Звёзды окликаю» и других.

Лауреат всероссийской литературной премии «Традиция» правления Союза писателей России (2002), всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия» (2007), литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского (2009), всероссийской Цветаевской премии (2016).

Член Союза писателей России. Живет в Оренбурге.

...ЧТО ОТ ВЕКУ ЗОВУТ ЕЁ – МАГДАЛИНА

* * *

Багрец всему – и тополям, и клёнам,
Калине, что пустили на вино.
И нам, столь непростительно влюблённым
Во всё, что смертно и обречено.

В преддверье неизбежной вечной стужи
Ни мускулом не дрогни, ни лицом,
Когда стоишь, боса и безоружна,
Лицом к лицу с кровавым багрецом.

Пойми, ревнуя к малахитам лета,
В себе попутно лучшее губя,
Он по стихам твоим и по приметам
Прицельно выждал, выследил тебя.

Он не забыл, как ты пренебрегая
Его огнём, что царственно горит,
Смеясь, простоволосая-босая
Сбежала в летний звонкий малахит.

Ты не привыкла жить наполовину,
Помилованья, стало быть, не жди...

Любуясь кистью пламенной калины,
По яголке с улыбкой в рот клади.

Пусть ветер-конвоир толкает в спину
Навстречу золотому багрецу...
...Кровавая окалина калины
Парадоксально Родине к лицу.

* * *

Кто-то едет на Мальдивы,
Кто-то едет на Канары.
Кто-то берегом турецким
очарован-околдован.
Шлях-дороженька, куда ты?
– Не кудыкай! К Светлояру.
Кто куда, а ты, родная,
К русским северам за словом.
– Что мне это слово, право?
Я за ним в карман не лезу!
Я уже давно мечтаю
Нежиться на пляже южном...
Что мне проку в этой славе,
Что горька и бесполезна?
Мне от этой лютой стервы
Ничего уже не нужно.
– Что ты поднимаешь кипеж,
Как спесивая девчонка?
Разве русскому поэту
Так вести себя пристало?
Ждёт тебя заветный Китеж...
Кипятись, да помни это!
Ты по праву – китежанка,
А тебе и горя мало!
Шлях-дороженькой была я.
И во что я превратилась?
В путь единственно возможный...
Так что сокрушаться поздно.
...Шлях-дороженька, родная,
Сделай божескую милость!
Я хочу туда, где светят
С неба ласковые звёзды...

Поэту Анатолию Передрееву

Перезды. Перегоны.
Пересуды. Передреев...
Кто такой? Поэт в законе,
Чьи стихи в морозы греют.

Только ты предпочитаешь,
Мой попутчик, греться водкой.

Только вряд ли ты читаешь.
Только был поэт не кроткий.

Впрочем, он тебя бы вряд ли
Осудил – был сам не промах
Горечь намахнуть до капли
Средь знакомцев незнакомых.

Дух околиц и окраин
Овекает наши лица...
Не тоскою странствий ранен,
Едет мой сосед в столицы.

Не считая километры,
В Уренгой из Оренбурга
Едет он по белу свету...
Говорит, с деньгами туго.

Выживаем, выживаем,
Но не из ума, надеюсь,
Хоть стихи воспринимаем,
Как неслыханную ересь.

Пахарь и поэт-изгнанник...
Перед небом все едины.
Что ж ты наши души ранишь,
Анатолий Константиныч?

Душ людских путеводитель,
Как положено поэту,
Носит в сердце (не хотите ль?)
Еретическую мету.

Перемены. Передряги...
Но сердца стихами греет
Вдохновенный работяга
Анатолий Передреев.

* * *

Любимой меня не зови:
Не холодно мне и не жарко!
Давай посидим визави
Над нашей прощальной чаркой.

Напрасно, заученно рад,
Улыбчиво нам докучая,
Услужливый официант
Шампанское вновь предлагает.

Ты скажешь: «Тащи ананас!
Шампанское – нет! Мораторий!...»

Печальная сказка про нас –
Одна из обычных историй.

Историй про то и о том,
Что вечного нет и не будет.
Иллюзии пустим на слом...
Делов-то! От нас не убудет!

Смеясь, ананас доедим,
Запѐм поминальной чаркой...
И пыли веков предадим
Всѐ то, что искрилось так ярко.

Всѐ то, что ты мне не простил,
Лукавою славой обласкан...
И в сумерки цвета чернил
Глушил ананасы с шампанским.

Не прячь опечаленных глаз.
Неважно, кто более ранен...
О нас и задолго до нас
Поведал поэт Северянин.

* * *

Мы поэты... А значит, нам так и надо!
Не впервой терять, что с лихвой имеем,
Истекая жгучим змеиным ядом,
А отнюдь не сладкозвучным елеем.

Мы поэты... И место наше в буфете.
Не на сцене и даже не на галѐрке.
Не в борделе, тем паче не в госсовете,
Где прозаседались тузы-шестѐрки.

Хоть буфетчица не похожа на музу,
Но зато без всякого промедленья,
Видя в каждом потенциального мужа,
Нам плеснѐт в бокал сто грамм вдохновенья.

...Мы пощады у Господа не просили,
Хоть и падали перед Ним на колени.
Мы влюблялись, вскрывали вены, тусили,
Предаваясь самой изысканной лени.

Да не только Лене! Светлане, Кате...
Ну, а пуще – Вере, Любви, Надежде...
Мы, поэты, всегда приходим некстати.
Поимѐнно – другие. По сути – те же.

Пусть поэзия – площадная девка –
Откликается на любое имя.
Но при этом помнит с тайной издевкой,
Что от веку зовут её – Магдалина.

* * *

Самару в Оренбурге помнят чаще,
Чем Оренбург в Самаре, ну так что ж?
И там, и тут я прослыла пропащей.
То и другое – истина и ложь.

Но этой самой истинною ложью
Спасается подлунный грешный мир,
Где дураки похлеще бездорожий,
Чумы похлеще хлебосольный пир.

Ни в Бога и ни в чёрта не поверю,
Когда уже который век и год
Чумных пиров полынное похмелье
И порохом, и кровью отдаёт.

Текут века, а мне и горя мало.
Степным простором допьяна упьюсь...
... Здесь, в междуречье Волги и Урала,
Моим стихом заговорила Русь.

Уральская печальная приبلуда,
Самарская лукавая змея...
Как жаль, что я давно не верю в чудо,
Ведь надо верить – чёрт возьми! – в себя!

Памяти митрополита Иоанна Снычева

Ваши пальцы пахнут зыбким ладаном.
Наши пальцы – крепким никотином...
С этим, право, что-то делать надо бы –
С этим неизбывным русским сплином.

С этим, право, что-то делать надо же,
А не делать вид, что так и надо...
Зябкий свет осеннего Приладожья
Не пророчит чаемого лада.

И почти на равных – до обидного! –
Наш вопрос не одарив ответом,
Прочь струится фимиам молитвенный
И дымок лукавый сигаретный.

...Мы не извращенцы и не нытики,
И не суицидники по пьяни,
Но боятся психоаналитики
Нас, великий Отче Иоанне!

Крепким никотином заарканены
В этой зябкой северной столице,
Чем мы так смертельно в душу ранены,
Что и смерть нас до смерти боится?..

* * *

Накануне ночью, жестко жизнь итожа,
Я была жесточе, но зато моложе.
И, бордо с бургундским намешав по-русски,
Я пила азартно, то есть без закуски.

Своевольно губы закусив до боли,
Всех, кто были любы, вспомнила невольно...
Ах, любовь-чахотка! Ты неизлечима!
Не спасала водка, не спасут и вина.

Вовсе не пытаюсь врачевать печали,
Вновь бордо с бургундским кровно воевали.
Не щадя постылых, не жалея милых,
Ледяным коктейлем закипали в жилах.

Кто сказал, что вина уврачуют вины?
Грянет день январский с брызгами рябины...
И любовь склонится тихо к изголовью,
В белую перчатку покашливая кровью.

* * *

Причешись, причепурись,
Улыбнись, примерь обновы!...
– Свет мой, зеркальце, заткнись!
Мне и без тебя хреново.

По спирали жизнь бежит...
Поспирали, поспирали
Годы юный шёлк ланит,
Что остался в зазеркалье.

Эвон дочка подросла,
Красотой меня затмила...
Всё вы врите, зеркала!
Хоть я правды не просила!

Строчка встала на крыло
И далёко улетела...
Ах ты, мерзкое стекло!
Ну твоё какое дело?

Бон суар, мон шер ами?
Ни фига! Ещё не вечер!
Свет мой, зеркальце, храни
Память нашей первой встречи.

В зазеркальных тайниках
Пусть живёт девчушка эта,
Что не ведает пока,
Что сулит судьба поэта.

Эльвира КУКЛИНА

Родилась в Нижнем Новгороде. Окончила Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского в 1989 году. Двадцать лет проработала в средней школе преподавателем литературы. Сейчас методист централизованной библиотечной системы Нижегородского района Н. Новгорода. Стихи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Аврора», «Волга», «Смена», «Север», «Наш современник». Живет в Нижнем Новгороде.

ТЫ ДЫШИШЬ, ПОЧВА, – НЕЗАМЕТНО ГЛАЗУ...

Последний снег

Тихо-тихо идет снежок –
 Всей-то силы его на час...
 ...Долго-долго болит ожог.
 И особенно по ночам...

Сколько минуло с той войны –
 Только пули ее свистят,
 Залетая в тревожные сны
 Семь десятков весен спустя...

Хлеб высушивается – впрок:
 Лучше птицам, если не в рот.
 И бумаги каждый клочок
 Непременно в дело идет...

Словно рана болит война.
 Р-раз – и памятью обожжет...
 ...Снег последний – знает: весна –
 Вот и силы свои бережет.

Обреченный, еле идет...
 Тает в воздухе, на лету...
 ...Ветеранов – наперечет.
 Тихо время подводит черту.

Сонет

Там, выше крыши, на верхушке клена
 Трепещет на ветру последний лист.
 Он бьётся – безнадежно, обреченно.
 Смешной романтик, горе-гуманист.

А как была великолепна корона!
 Был май волшебен, а июль душист...
 Но полетела «царская корона»
 В холодном октябре, под ветра свист.

Последняя надежда бастиона –
 Последний флаг, не спущенный пока,
 Продрогший лист, не верящий прогнозу.

Там, выше крыши, на верхушке клена,
 Он верит, что взлетит под облака –
 Не сдавшийся ни ветру, ни морозу.

* * *

Не важно, что мы разных поколений,
 А важно, что мы разных покорений.
 Ты – покорений космоса, вершин,
 Бескрайней целины – масштаб огромен.
 Я – покоренья собственной души,
 Где коридорчик призрачен и темен.

Другу-стихотворцу

Твои стихи – тебя умней.
 В них есть невидимое глазу.
 ...Так никогда в саду камней
 Не разглядеть все камни сразу.

Привстань на цыпочки, присядь –
 Всё время есть пятно слепое –
 И в нём не «клумба» и не «сад»,
 А без конца и края – «поле».

И что там?
 Жаворонка трель
 Или тревожный грай вороний?

Все камни вроде рассмотрел,
 Но есть один – *по-ту-сторонний*...

Баллада о Времени (Отталкиваясь от Высоцкого)

Часы устали.
 Отставали поначалу,
 Потом умолкло многолетнее «тик-так».

Им батарейку поменяли.
 Полегчало.
 Пошли, пошли...
 Но что-то было в них не так –

Как будто Время в них упорно не держалось -
Искало трещину, просачивалось – сквозь...
Оно, свободное, не ведало про жалость –
Не привязалось и с привычным не срослось.

Оно искало оболочку поновее...

Недолго место пустовало на стене:
Румянощеким циферблатом розовея,
Другие часики подмигивают мне.

– А те, изношенные?
Что же стало с теми?
– Не зря пристреливают
загнанных коней...

...А Время движется –
вселяется «на время»,
Но не пускает, словно дерево, корней...

О лошадиных мастях

Эта лошадь –
как невеста в белом –
Посреди гнедых,
буланых,
рыжих
– Серой масти.
Просто поседела.
Чем светлее –
тем к финалу ближе.

Чисто белых
нет в России.
Точно.
Белый конь под принцем?
Значит, кляча.

...Майский снег –
последний,
Неурочный.
Он на гриве тает,
словно плача.

Мир – ясней,
незамутнённой,
чище...

Снег – и лошадь.
Белое на белом.

И душа такого света ищет,
Что почти несовместима с телом...

Эхо Пастернака

Ты дышишь, почва,
медленно вздымая
Живой водой наполненную грудь...
Всё принимаешь – тёмная, немая, –
Чтоб претворить –
и к солнцу протолкнуть.

Ты дышишь, почва, –
незаметно глазу.
И сколько на земле ни задержись
Асфальт или брусчатка –
пусть не сразу –
Тебе уступят,
пропуская
жизнь.

Металл вбираешь,
камни и стекляшки,
И честно отработавшую плоть,
Не требуешь ни гимнов, ни побрякки,
Ни удобрять не просишь, ни полоть.

И майская раскрывшаяся почка,
Ликуя каждой клеточкой:
– Я есть! –
Как с нарочным отправленная почта –
Не подведёт.
Твою доставит
весть.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Родился в городе Кулебаки Нижегородской области в 1991 году. Окончил металлургический колледж, филологический факультет Нижегородского госуниверситета.

Лауреат конкурса газеты «Литературная Россия», фестиваля «Светлояр русской словесности». Автор поэтического сборника «Словоловие». Публиковался в изданиях «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия». Стихотворения вошли в антологию нижегородской поэзии «Настоящие» (2015). Живет в Нижнем Новгороде.

ОСТАНЕШЬСЯ С СОБОЙ НАЕДИНЕ...

* * *

Останешься с собой наедине –
не выйти покурить, но выпить воздух –
и новой мыслью думаешь о ней,
о жизни на свету. А мальчик – взрослый.

Скажи, и что там будет без меня?
Пространство пустоты сосет глазами.
Летит крупица льда. Крупицу льда –
плоток-наскок. Оставь. Мы выпьем сами.

Он, знаю я, здесь все проговорит,
сожмет горбушку утреннего хлеба.
Таков словарь; а день – перегорит.
Смотри в окно, смотри: я *был* и не был.

В начале марта

Поезд мчит на Лабытнанги
по архангельской глуши.
Ты черкни мне, добрый ангел,
эсэмэску напиши.
Друг сидит над пятой строчкой,
скрестив руки на груди.
Он на полке прям и склочен.
Километры впереди.
Так по Северной железной
к поселению идем.

Русский Север. Царство леса.
 Плавный свода водоем.
 Ненадолго здесь, конечно;
 а хотя, не исключай:
 надо б нам в избе со свечкой
 съесть капусту, выпить чай.
 Пусть деревню точит время.
 Лишь чубушника побег –
 как звезда – в конце апреля –
 в объективе – оберег.

* * *

С Разъезжей свернул на Марата,
 но Uber я брать не хочу,
 ведь есть по три сотни на брата,
 и музыка есть – и лечу

на мифологический Невский.
 В айфоне обратный билет.
 К чему уезжать? Было б не с кем
 идти за черту на просвет –

то дело другое. В лиловый
 здесь воздух окрашен. Узор
 моей памяти – только слово;
 продолжается разговор –

и мы продолжаемся. Значит,
 и сеть перспективы верна:
 филолог, дурак, неудачник –
 вразвалочку. Сквозь времена.

Достигнут небес постранично,
 их впишут в локальный реестр.
 Те трое, минуя Аничков,
 уходят. Играет оркестр.

Дуэль

Фотография Наппельбаума – вот – как прыжок в параллель: сквозь шум таксомотора и вакуум пересекают апрель, мимо свалок едут по Лахтинской (или ноябрь на ноже?). Также едут из новой редакции, кондитерской Беранже. Уже небо над Старой Деревней прячется в илистой мгле. И лишь восемь шагов в направлении «от результата». Дуэль.

– Ох, да им бы сейчас о хорошем!

– Ну как же... Видимо, нет.

«Дай Le Page мне!» – тихо рывкнул Волошин. Вскоре он взял пистолет. Пусть один из них встанет на кочку, а другой – выстрелит вверх. Сам Гумилев!.. Рвется сна оболочка, <...> ярко его фейерверк.

Понял: нет такой фотографии. Есть лишь порядок вещей, двойки-тройки по химии, алгебре; и – родинка на плече.

* * *

Возница обилетил пассажиров
и повернул на улицу Труда.
«Поэзия зависит от нажима,
режима, остальное – ерунда», –

подумал человек, уткнувшись в книгу.
Но город затянули облака;
вот школьник посмотрел «Конец каникул»
и в первый раз зажал аккорд В/А.

Мой друг в архиве раздобыл поэта,
а точнее – его стихи. Ну, да.
Мне кажется, что город стал макетом –
таким, что и не вспомню никогда.

* * *

Так недолго учился отцовству
и нередко черкал от руки,
что с годами ворованный воздух
променял на билет в Хмельники.

Дальний край болотной губернии,
где близ Подюга, Ковжа и Вель;
крынка неба, солнце вечернее,
а у церкви – ирисы. К тебе

пес бежит на соломенных лапах.
Зажигается первый моллюск.
Понимаешь: молиться не надо –
«Отче наш» позабыл. Наизусть

разве только стишок и припомнишь
(каждый здесь говорит про ИБ).
Этим летом поеду в Воронеж,
что-нибудь напишу о тебе.

* * *

От Покровской до Монмартра,
где живут твои друзья
(пару снимков — и обратно),
не добраться мне. Нельзя.

Слегонца прокрутим Бреля.
Клик – представлю сам себе –
слепок раннего апреля:
прочерк, звездочка, пробел.

Вновь таксистка Женеьева
отвезет на Одеон.

Там был Паунд. И с припева
загрустит аккордеон.

Есть мгновение простое,
неприметное. Прочти.
В ресторане сядут двое,
что невидимы почти.

Огоньки горят, как флоксы,
просит трубку господин.
Он, наверное, с Покровской –
и, должно быть, не один.

Покутят, пройдут сквозь двери,
разойдутся по домам.
Вглубь глазниц вращается время.
Опускается зима.

* * *

Стихи по осени читают,
а пишут, верно, в феврале;
планшет, состряпанный в Китае,
поймал кузминскую «Форель».

Смотрю в очередное небо.
Вновь лаком стал ручей до льда.
Нажму на клавишу «Отмена» –
и не уеду никуда.

Пусть веер северный и пальцы
не смажут зрение слезой:
мы пешеходы, постояльцы,
уходим в сумрак золотой.

Владимир БОЛОХОВ

Родился в 1946 году в Иркутске. Литературный крестник Александра Солженицына и Виктора Астафьева.

Автор «гулаговской энциклопедии» «Клетчатая хрестоматия» и тома избранных стихотворений под названием «Исполненное». Печатался в журналах «Аврора», «Волга», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Литературное обозрение», «Литературная учеба», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Юность». Лауреат Всемирной поэтической премии «Надежды Лиры Золотая» (Нью-Йорк, 2003 г.). Пожизненный стипендиат Русского общественного фонда им. А.И. Солженицына.

Живёт в Новомосковске.

ОКТАБРЬСКИЕ ОКТАВЫ

*Счастье есть полная и окончательная готовность
выстрадать судьбу.*

Иосиф Бродский

1

Небесный олух – суть земной дурак,
себе же – беспотомственный – предтеча,
сизифовой упёртости маньяк –
суть добровольный раб насущной речи,
безбашенным по-русски октябрём
рождённый чертогонить – в сердце с Богом,
судьбы копейку ставлю вновь ребром
в орлянке, где индейка-жизнь – залогом.

2

Гудит октябрь. С расхристанной душой
и бесшабашной плотью нараспашку
лесная голь гуляет – по большой,
спуская с плеч последнюю рубашку.
И у меня – под ветра матерком –
раздрай в груди, где тоже не лукошко,
и шваркает под смутным черепком
какая-то яичница с окрошкой.

3

Наждачит в пыль лирический минор
мажорности сусечные ошмётки,
пух-праховой трын-травности задор
кроша и клоча в закадычной глотке.
По-е-ха-ли! Теперь не удержать
вопросов вечных клятую рванину.
И, следственно, причина есть поддать,
чему всегда отыщется причина.

4

Шумит октябрь, как выпивший простак,
проруху заматающий прорехой,
что, закусив отрыжкой натошак,
икоты клинья вышибает смехом –
прискорбным иль совсем наоборот,
готовый со слезой исповедальной
любить весь мир и грешный в нём народ
со всей его детальностью скандальной.

5

Гуляй, октябрь, мой кровник временной!
Похмелимся за общее здоровье,
презревши шашни с пошлой мельтешней
инертного людского суесловья.
Банкуй, планидно-календарный брат
не одного отпетого поэта!
На свете нету счастья, говорят,
во тьме, по слухам, и несчастья нету.

6

Зато всесущи – горе да беда,
да сплотка их удавье-кольцевая.
Самостоянье кровного труда,
не оплошай, ту смычку попирая,
приемля всё, но не цепной терпёж –
в кандальности сует остервенелых,
на подноготный волокя правёж
то, что – могло, да сбывься – не посмело...

7

Отринувшая участь нищеты,
чей потолок – горбатая возможность
сиюминутно-выгодной тщеты
и прочая холопская ничтожность,

разбойно-соловьиная труба
иль зря – под небом в клетку – мне досталась,
не знавшая – и в малом – губ раба...
Весомей многих – этакая малость.

8

И мне, кому и малость не прощалась,
пусть не простят – вдоль-поперечный труд.
Признав неправомочной – саможалость,
готов я – в полный рост – на высший суд
тобой, октябрь, порученного дара
изрядность чью прочуял наперёд,
и чей черёд, понятно, не задаром –
всего-то лишь за грош судьбы – грядёт...

XX–XXI вв.

Из будущих книг

Олег СУХОНИН

Родился в 1964 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета. Долгие годы работал тележурналистом на телеканалах ННТВ и «Диалог». Стажировался в США по программе Конгресса США, делал теле- и газетные репортажи из стран СНГ, Египта, Франции, Германии, США.

Автор многочисленных журналистских публикаций по самой различной тематике в региональных и федеральных СМИ, в том числе журналах «Родина», «Честь Отечества», многих газетах, занимался подготовкой многочисленных материалов о Нижегородской области в зарубежных СМИ.

Живет в Нижнем Новгороде.

Из романа

ГОЛОВЫ УЖЕ НЕТ, А КУРИЦА ЕЩЁ БЕЖИТ

Репетиция с оркестром

Возвратившись в «Древо Хитрово», я первым делом подошёл на репетицию, попросил у Эли свою сумку, расстроено сообщив ей, что документы мои не нашлись. Между делом спросил:

– У вас кто-нибудь из родственников случайно не учился на журфаке МГУ?

– Откуда вы знаете? – удивлённо посмотрела она на меня.

– Начальница, посылая меня сюда в командировку, обмолвилась, что училась в Москве с подружкой из Ульяновска с такой же фамилией, как у вас.

– Да, моя тётя, сестра моего отца, окончила МГУ. Но она там же, в Москве, вышла замуж за иностранца, так что мы видимся нечасто.

– Всё равно удивительное совпадение. Как тесен мир.

– Вы определились с ночлегом? – спросила она меня.

– Пока нет, но выбор невелик: или снять комнату где-то поблизости, или, может, найдётся всё-таки какой-нибудь вариант здесь в отеле?

– В принципе я могла бы вам найти комнату в городе у своих знакомых, возьмут не очень дорого, – начала она. – Я освобожусь вечером, хотите, позвоню и узнаю?

Я так наматался за день, что совсем не хотелось тащиться куда-то ещё на ночь глядя, и тут мне пришла в голову хорошая, как мне показалось, мысль:

– Послушайте, Эля, вы утром говорили, что здесь в отеле можно поставить раскладушку. Мы, журналисты, люди, совершенно не избалованные комфортом, к полевым условиям привычные. В отеле же есть различные подсобные помещения, пункт проката музыкальных инструментов, например. Всё равно он закрыт по ночам, а мне перекаптоваться ночь-другую вполне хватило бы, а я вам – или кому тут – за это немного заплачу. А завтра, глядишь, кто-нибудь да съедет, и могут появиться места в номерах. Как вам такая идея?

– Ну, не знаю... – недоверчиво ответила она. – Прокат закрывается поздно – после девяти вечера, да и вряд ли они пойдут навстречу – там же материальные ценности. А отель – вы сами видите – битком набит... Хотя, – задумалась она, – в принципе есть одна мысль... За пять тысяч я, пожалуй, смогу вас пристроить, но это строго между нами!

– Пять – дорого. Может, за три?

– Ну хорошо, – подумав, ответила она. – Подходите в девять вечера на ресепшен, может быть, решим. Только – никому! Не подведите меня.

– Могила! – кивнул я. – Спасибо заранее. Тогда я опять оставлю сумку здесь, а сам пойду прогуляюсь на банкет – скоротаю время.

Влад Покров предлагал мне встретиться вечером на торжественном приёме по случаю открытия фестиваля, и, хотя мне не очень понравилось его выступление на сегодняшней панельной дискуссии о горизонтах доверия власти и прессы, я всё же пошёл его искать.

Впрочем, к банкету подтянулась вся журналистская тусовка фестиваля независимо от политических взглядов и жанровых предпочтений – желание выпить и закусить на халяву сближало и объединяло всех. Фуршет – со шведским столом, зал был набит до отказа, спонсоры не поскупились – вино лилось рекой. Музыканты на сцене играли лёгкую музыку, официальные тосты сменялись экспромтами, плавно перетекавшими в шутки и каламбуры. Сначала журналисты кустились за столами по региональному принципу, но потом потихоньку начинали браться со своими соседями. Тут я встретил и всех своих земляков – и Евгения Витольдовича Тараканова с помощницей, одетой в вечернее платье, и Валентину Ивановну Матрёнову с подружками из районных газет и геями-информационщиками. Подсчитав, сколько у меня осталось денег из занятых поутру, я было с претензией посмотрел на Тараканова, но, вспомнив о продемонстрированных мной на панельной дискуссии английских манерах и его недобром взгляде, решил с вопросом о деньгах к нему не обращаться.

Мы быстро выпили несколько тостов и стали обмениваться впечатлениями: кто и кого здесь встретил из давних знакомых, на каких круглых столах побывал и в котором часу на этот раз набрался Поддонов. Я поведал Матрёновой о том, как безрезультатно съездил днём на вокзал и в полицию, как до сих пор ещё не определился с ночлегом, но вроде как всё на мази...

– А порепетировать вы не забыли? – перебила она меня. – Вы обещали! Смотрите, завтра не подведите нас...

Все уже находились в изрядном подпитии, ребята из информагентств достали из карманов губные гармошки и, дурачась, стали подыгрывать музыкантам из оркестра. У Тараканова беспричинно текли слюни. Хотя очень скоро я понял, что был неправ – причина была: за одним из столов в зале выделялась эффектная блондинка, как две капли воды похожая на известную супермодель Наталью Водянову, и Тараканов похотливым глазом косил в её сторону. Но «Водянова» была не одна –

она явно была сопровождающим приложением к важному брюхастому дядьке в дорогих часах и золотых кольцах чуть ли не на каждом пальце. Тараканов сильно выпятил нижнюю губу и пускал пузыри.

И тут Матрёнова сказала:

– Мальчики, а пойдёте танцевать – какая музыка хорошая играет!

Действительно, со сцены исполняли шансон «Под небом Парижа». Я насколько мог галантно пригласил на танец саму Валентину Ивановну, геи хорОВОДОМ закружились с редакторшами районных газет, помощницу Тараканова как-то вдруг увлёк на танцпол молодой кавказец с соседнего стола. Тогда сам Тараканов, вконец осмелев и распоясавшись, вызвал на танец «Водянову». Рядом с нами танцевал и Влад Покров со своей эффектной коллегой и другими не менее колоритными представителями народов Севера. Ликованье и веселье были всеобщими, выплёскиваясь через край. Под бархатный голос со сцены мы незабвенно кружились с Валентиной Матрёновой в вальсе.

Sous le ciel de Paris
S'envole une chanson
Elle est née d'aujourd'hui
Dans le cœur d'un garçon

Sous le ciel de Paris
Marchent les amoureux
Leur bonheur se construit
Sur une air fait pour eux,

– пел бархатный баритон, а я, всё теснее прижимаясь к Валентине, жарко переводил в её покрасневшее ухо:

Под небом Парижа
взлетает песня
Она родилась сегодня
в сердце мальчишки,

Под небом Парижа
прогуливаются влюбленные
Их счастье возникает на мотив,
созданный для них.

– А вы озорник, Игорь, – кокетливо отвечала она мне. – Но не забудьте, что и нам с вами придётся завтра петь, а мы ещё даже не репетировали, – тут же остудила она меня (вот что делают с людьми руководящие должности!).

В этом момент мы буквально столкнулись спинами с Таракановым и «Водяновой». Я обратил внимание на то, что Евгений Витольдович ведёт себя чересчур нескромно: он не просто тесно прижался к красивой блондинке, но и откровенно трогал её за те места, за которые обычно любит трогать дам Слуцкий (не футбольный тренер, а депутат Госдумы). «Да, руководящие должности разлагают всех по-разному», – афористично подумал я.

Пока мы вальсировали до конца шансона, мне в голову пришла идея, навеянная Парижем, выпитым вином, а также расчётливым поведением Валентины Ивановны Матрёновой. Дело в том, что про Париж у меня был вальс и собственного сочинения, спеть его под влиянием ал-

Я так вымотался за этот бесконечный шебутной день, что мне как можно скорее хотелось принять горизонтальное положение – плюхнуться на любой лежак и забыться мертвецким сном.

– Куда мы идём? – спросил я её по мере того, как мы углублялись в чрево отеля по длинному нескончаемому коридору.

– Сейчас увидишь, – как-то вдруг перешла она со мной на «ты».

– Мы вроде не пили ещё на брудершафт, – уже заплетающимся языком отвечал я.

– Ещё не вечер, – не оборачиваясь, нервно отвечала она.

– Это тоже мне будет стоить денег? – пытался шутить я.

– А они есть? – обидно подколола она меня.

Igor goes to Hollywood

– Так куда мы идём? К тебе в номер? – продолжал допытываться я.

– У меня нет здесь номера – на всех дежурных в отеле всего одно общее помещение, – ответила она, – но вариант я нашла.

Пока мы шли по длинному коридору вглубь «Древа Хитрово», образно говоря, от основания ствола дерева к его макушке, она объяснила, куда решила меня определить на ночлег.

Оказалось, что ещё на стадии строительства один из близких друзей хозяина отеля заранее арендовал у него на длительный срок целый – самый дальний по расположению – отсек в этом огромном разветвленном комплексе. Так как он находился практически в самом конце гостиницы, то представлял собою тупик, уходящий от центрального коридора направо, и располагался на полуторном этаже: чтобы попасть туда – нужно было со второго этажа спуститься на полуторный уровень вниз по лестнице, и там весь отсек находился за одной большой дверью.

Пока мы туда шли, Эля мне вкратце рассказала, что этот друг хозяина отеля был каким-то важным учёным, работавшим то ли по линии «Роснано» у Чубайса, то ли при каком-то крупном институте, но финансирование у него было очень солидное, денег у него было немало. Жил он тут уже больше года, но довольно замкнуто.

– А зачем ему было нужно селиться в этом отеле? – удивился я. – Что за странная прихоть?

– Понимаешь, он человек довольно скрытный, – объяснила мне Эльвира, – но мы с ним сдружились, и он мне рассказал, что ведёт здесь научные разработки, чтобы не светиться в головной организации. Что-то вроде индивидуального предпринимателя под частные заказы. Он тут живёт практически затворником и выходит только покушать. Хозяин отеля, по-моему, с ним в доле в его проектах, поэтому и разрешил ему занимать тут целый отсек за сравнительно небольшие деньги, ниже общей таксы. Он целый год здесь сидел безвылазно, а теперь, видимо, деньги кончились – сказал, что съездит в Москву недели на две за каким-то очередным грантом, а также отвезёт и продаст готовые изделия.

– Что за изделия? – поинтересовался я.

– Сейчас увидишь, тебе понравятся, – ответила она. – Меня он попросил в его отсутствие последить за его апартаментами по мелочам – цветы полить, пыль вытирать, за электроприборами посмотреть. Вот я тебя там и размещу, и немного денег подзаработаю. Но только не удивляйся: это не гостиничный номер, а по сути большая научная ла-

боратория, он там жил почти безвылазно – и спал, и работал. Но тебе ночь-другую перекантоваться – сойдёт, раз согласен. Но за каждую последующую ночь – ещё по три тыщи! – строго напомнила она.

– Ja ja, natürlich, – ответил я, вспомнив, что мне опять нужно будет где-то раздобыть денег («Займу у Покрова?»). – А чем этот учёный занимается? В какой сфере работает?

– Мне он сказал, что разрабатывает биороботов – мужчин в качестве «двойников» для крупных политиков и бизнесменов, а женщин – вместо резиновых кукол или проституток, чтобы, говорит, удержать женщин от падения. Да ты сейчас сам всё увидишь – там у него должны быть образцы типа манекенов. Только ты их не трогай, чтобы он ничего не заподозрил, когда вернётся. Переночуешь, и всё! – строго добавила она. – А я потом приберу, надеюсь, он ничего и не заметит. Он богатый, а скупердяй! – в сердцах воскликнула Эльвира. – Просил присмотреть на две недели, а дал мне за это всего червонец!

– Такое бывает. А я, видишь – бедный, а плачу три косяря за ночь. Спасибо тебе! – поблагодарил я мою спасительницу.

За время беседы мы дошли практически до самого конца длиннющего коридора, повернув направо спустились на половину пролета вниз по лестнице и уперлись в серебристую металлическую дверь. Эльвира достала ключ, вставила его в замочную скважину, повернула – и мы вошли.

СНЫ О ЧЁМ-ТО БОЛЬШЕМ

Помещение сразу поражало своими размерами. От двери до единственного большого окна напротив было метров тридцать. В ширину – метров восемь. Перегородок никаких не было – всё пространство делилось на секции мебелью. Справа и слева от входной двери стояли два больших гардеробных шкафа. Далее по левой стороне шли туалетный и душевой отсеки, за ними – кухонное пространство с мойкой, шкафчиками, встроенными плитами и барными стойками, после них – большой шкаф с книгами, у окна – огромный угловой диван цвета слоновой кости. По правой стене за гардеробом шла зона всевозможных приборов, станков, медицинских и каких-то иных неведомых мне барокамер, центрифуг, электроприборов и другой различной аппаратуры, а пространство у самого окна справа от дивана было затянуто цветными шторками и ширмочками.

Я поставил бутылку коньяка и фрукты на барную стойку, оглядел комнату и сказал Эльвире:

– Действительно – ощущение, что попал в какую-то научно-производственную лабораторию. Примерно в такой я работал недолгое время после университета на авиационном заводе в Нижнем, только там было больше железа, а тут в основном – пластик да кожа, что ли, какая?

Подойдя к окну, я провёл ладонью по коже дивана – она была изумительной.

– Спать можно здесь? – спросил я свою спутницу.

– Да, – ответила она. – Постельное бельё – в шкафу. Сам постелешь или тебе постелить?

– Буду премного благодарен, я сегодня вконец вымотался. А я пока открою бутылку коньяка – ты обещала выпить со мной на брудершафт.

Пока она стелила постель, я подошёл к барной стойке, разлил по рюмкам коньяк, нарезал груш и лимонов. Когда она подошла ко мне, я протянул ей рюмку, тарелку с нарезанными фруктами и театрально произнёс:

– Моя спасительница! Предлагаю выпить за наше знакомство, вашу неземную красоту и отзывчивость к ближнему своему.

Она заулыбалась, мы чокнулись рюмками, переплели руки и, глядя друг другу в глаза, выпили коньяк до дна. Поцелуй был страстным даже со скидкой на то, что за день я неимоверно вымотался. Эля зарделась, мы взяли груши – они оказались очень сочными и сладкими, но не вкуснее нашего поцелуя. Я видел, что она очень даже не прочь, но силы покидали меня...

– Да, кстати, ты грозилась мне показать здесь что-то эдакое... Какие-то изделия? – спросил я её, ставя рюмки на стол. – Это наверняка спрятано в гардеробе? Или в душевой? Или в этих барокамерах?

– Это будет для тебя сюрпризом, – ответила она. – В этих, как ты их назвал, барокамерах он наверняка их делает. А изделия – куклы – вот они! – она подошла к ширмам и шторкам справа от окна и резко все их сдвинула и раздёрнула.

Я выронил грушу из рук на пол и только что и мог вымолвить:

– Охренеть...

Справа от дивана у окна, ранее скрытые завесами, моему взору открылись пять ослепительной красоты обнажённых женщин, три мускулистых красавца и два невзрачных мужичка.

Я не мог прийти в себя от столь внезапного зрелища, медленно приблизился к ним, повторяя одно только слово в разных вариациях:

– Охренеть! Опупеть! Что это?!

Конечно же, я сначала двинулся к женщинам. Из пяти обнажённых красавиц я сразу узнал двух – это были абсолютно голые Моника Беллуччи и Шарлиз Терон. Три другие были ничуть не хуже, имён их я не помнил, но самих явно где-то раньше видел. «В порнофильмах!» – тут же догадался я. Одну, кажется, звали Kendra Lust.

Что касается мужиков, то трое из них были молодыми красавцами что-то вроде с рекламы нижнего белья, один – лысый, сильно обрюзгший старичок, похожий то ли на Лужкова, то ли на какого-то банкира или олигарха, которые часто мелькают по телевизору, а другой – какой-то молодой политик, то ли министр, то ли губернатор, что нынче все на одно лицо словно под копирку.

Я смотрел на них, вытаращив глаза. Они в ответ разглядывали меня с равнодушным любопытством. Все эти люди не то чтобы стояли неподвижно, но словно переминались с ноги на ногу или поводили плечами вполоборота, так что их мышцы, а особенно груди у женщин возбуждающе трепетали. Правда, бросилось в глаза то, что у всех у них не было видно гениталий – пах и у женщин, и у мужчин словно был затянута телесного цвета лентами.

Мою прежнюю усталость сразу как сдуло. Мне даже стало стыдно перед Эльвирой, когда она увидела то, чего скрыть было никак нельзя – мои штаны лопались от эрекции.

– Это же куклы! – воскликнула она. – На меня у тебя такого не было! – услышал я её упрёк.

Но мне уже были безразличны все упрёки целого мира, я протянул руку к трепещущей груди стоявшей в шаге от меня Монике Беллуччи

и – ба-бац-ц!! – меня словно током долбануло, так что я чуть не отлетел от неё.

– Что это?! – закричал я, отпрыгнув от Моники шага на три и корчась от неожиданной боли.

– Ха-ха-ха! – хохотала, схватившись за живот, Эльвира. – Аха-ха-ха-ха! Ты что, дурачок, думал они живые? Я же говорила тебе, что это биороботы. Куклы! Манекены!

– Но они же действительно выглядят как живые! – всё ещё кричал я. – Никогда бы не отличил! А чем это она меня шарахнула?

– А разве ты не заметил, что все они – на миллиметра два-три – ни с чем не соприкасаются?! – насмешливо сказала мне она.

Я пригляделся – и точно: между полом и стопами их ног, между задницами и табуретами (у принявших сидячее положение) или между телами и стенами или предметами мебели действительно было пространство примерно в два-три миллиметра. То есть каждый из них не соприкасался ни с какой поверхностью, а был окутан неким полем.

– Ты можешь мне объяснить – что это? – спросил я Эльвиру.

– Только в общих словах, я – не учёный-физик, не практик и даже не теоретик, – ответила она. – Хозяин этой квартиры по изобретённым им технологиям делает этих биороботов за бешеные бабки по частным заказам. Как ты, наверное, сам догадался – вот этих двух, – она показала на старого лысого пузана и невзрачного средних лет дядьку, – ему заказали в качестве своих двойников какие-то бизнесмены или политики. Может, покушения бояться, а может – просто для отвода глаз, куклу в кабинете на работе оставляют, а сами – по своим делам, в баню или сауну! Красавиц – понятно, на заказ тем, у кого нет возможности переспать с живыми Моникой Беллуччи или Шарлиз Терон, а очень хочется. Молодых парней – для тех же целей.

– Но почему они без гениталий?

– Я спрашивала учёного об этом. Он сказал, что этот последний штрих – сущий пустяк. Когда заказчик оплатит свою куклу, он сделает им гениталии на любой вкус и размер – всё, что пожелает клиент. Женщинам – хочешь выше-ниже, шире-уже, мельче-глубже. Мужикам – да хоть на полметра пришьёт! Кстати, он говорил, что красавчиков ему заказывают сами мужики не реже женщин. Так-то! – почему-то с укором посмотрела она на меня. – Ну а этим, – кивнула Эльвира на пузана и его соседа, – обычно и не просят ничего приделывать, им это не к надобности, они для отвлекающих маневров.

– А почему от них током бьёт? – снова спрашивал я.

– Чтобы кто-нибудь, вроде тебя, – усмехнулась моя спутница, – не надругался над ними, не испортил или не похитил эти куклы до оплаты, внутри у них он поставил какое-то устройство или датчики, которые создают вокруг небольшое физическое поле (не буду врать какое, потому что ничего не понимаю в этом – электрическое, электромагнитное или какие там бывают ещё?). Поэтому к ним и нельзя прикоснуться. К примеру, даже если сейчас попробовать эти биороботы одеть – одежда всё равно будет болтаться от их кожи на те же три миллиметра. Но хорошо, что на такой подзарядке куклы и сами, как видишь, особо двигаться не могут, только покачиваются. А то бы они тут таких дел натворили! Я как-то сама ради любопытства до одной дотронулась – так меня тоже шарахнуло, мама не горюй! Так что осторожнее! Мы, живые-то, лучше! – снова расхохоталась она надо мной и продолжила: –

А когда за них заплатят, он, приделав гениталии, убирает это поле и передаёт их заказчику. Кстати, он и в этот раз, уезжая в Москву, повёз собой сразу несколько экземпляров. Потому что в прошлый раз, когда я была здесь до его отъезда, у него женских кукол было на три штуки больше и мужиков было больше на одного.

– Дорого они стоят?

– Бешеные деньги! – расширив глаза, сказала Эля. – Это же штучный товар, понимать надо! Вот сейчас он четыре куклы, которые повёз с собой, продаст заказчикам и съездит на какой-нибудь суперфешенебельный курорт, а потом минимум год, а то и больше, может здесь безвылазно шиковать. Но он не шикует, а больше работает.

– А разговаривать они умеют? – спросил я Эльвиру, снова кивнув на кукол.

– Когда на зарядке, как сейчас, – точно нет! Я пробовала – не отвечают. А уж когда электрополе с них снимут, думаю, что да. Он же в них специальную программу вставляет – всякие-разные чипы: так что и кричат, и стонут, как захочешь, и разговаривают, сколько пожелаешь. – Она немного помолчала и добавила с усмешкой: – Неужели ты думаешь, что если бы этих кукол можно было трогать, я бы тебя сюда привела?

– Какие-то эти двое, – сказал я в свою очередь, кивнув на лысого пузана и дядьку рядом с ним, – слишком напряжённые в отличие от остальных...

– Ещё бы! – ответила Эльвира и снова рассмеялась: – Их оригиналы сейчас наверняка с охранниками ходят, а эти здесь голые и сырые на табуретках сидят!

Я всё ещё никак не мог прийти в себя от увиденного и пялился как сумасшедший в основном на голых баб.

– Ладно, – сказала Эля, – мне домой пора: мы здесь работаем через сутки, так что завтра меня не будет, появлюсь только в четверг. Если следующую ночь тоже решишь здесь спать – готовь деньги, на халяву не прокатит.

– Да, конечно, отдам, не волнуйся, – ответил я. – А если хочешь, оставайся со мной.

– Нет-нет, мне сегодня обязательно нужно домой, надо ещё до города доехать, а вот после следующей смены... Ты когда уезжаешь?

– У меня обратные билеты на поезд на пятницу куплены – на прицепной вагон, – сказал я. – Нужно будет ещё что-то с документами решать. Кстати, в четверг меня здесь будут награждать как лауреата конкурса, – вспомнил я, – будет как раз твоя смена, давай отпразднуем?

– Хорошо. С четверг на пятницу я смогу остаться.

Она положила на барную стойку ключ от двери и попрощалась:

– Будешь выходить – обязательно запирай дверь. Обязательно! И ни в коем случае никого сюда не приводи и ничего здесь не трогай! А то оба вляпаемся в историю. И – готовь деньги!

– Замётано! – ответил я, уже чувствуя, что опять валюсь с ног. – Хочешь коньячку на посошок?

– Нет, мне надо ещё до дому доехать. Ложись спать, у меня есть запасной ключ, я закрою.

Сказав это, Эля вышла и заперла за собой дверь. Я подошёл к барной стойке, выпил рюмку коньяка и кое-как доковылял до дивана. Хотел было выключить свет, но, ещё раз взглянув на стоящих в углу как привидения кукол, передумал. Уже засыпая, я не мог отделаться от ощущение

ния, что голые женщины и мужчины продолжают пялиться на меня. Тогда я встал и задернул все шторы и развернул все ширмы. Но так было ещё неуютнее: мне всё мерещилось, что вот-вот куклы сами сорвут все занавеси и набросятся на меня. Я опять поднялся и снова открыл все шторы и сложил ширмы. Так под неусыпными взглядами десяти биороботов обоего пола я наконец-то провалился в тяжёлый сон.

Всю ночь мне снились кошмары: урки, опаивающие меня в поезде водкой и с приставленным к моему горлу ножом шарящие по моим карманам, Тараканов, хватающий за лобки одновременно Чулкову и женщину, похожую на Водянову, Влад Покров, занимающийся сексом с оленями, Поддонов, голый и пьяный с крыши отеля грозящий кукишами Московскому Кремлю, и, наконец, я сам, лежащий в Мавзолее вместо Ленина, и шагающие надо мной строем все десять кукол обоего пола с широко раздвинутыми ногами – и с гениталиями. И вот проходящая надо мной Kendra Lust вдруг приостановилась и со всего размаху грохнулась на меня. Во мне будто что-то хрустнуло, и я резко проснулся.

Алёна АЛЕКСЕЕВА

Родилась в 1966 году в г. Луге Ленинградской области. Окончила Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича. Победитель конкурса начинающих переводчиков ИРЛИ РАН 2009 года (перевод Р. Рильке). Около десяти лет занимается переводами древнекитайской поэзии, ряд которых мы сегодня представляем читателю.

Автор книги переводов китайской поэтессы Ли Цинчжао «Яшмой звенящие цы». Живет в Петербурге.

Ли Бо

На мелодию «Бодхисатва-инородец»

На рощу в долине все гуще и гуще ложится тумана канва,
Холодные горы стеной окружают, мучительна их синева.
В высокую башню вступает вечерняя мгла,
И кто-то на башне печалится вновь досветла.

На яшмовой лестнице долго стоять ни к чему,
И птица любая к ночлегу спешит своему,
А я позабыл, где дорога обратно, в мой дом?
Подворье сменяется вновь постоялым двором.

Бо Цзюйи

В покоях осенней ночью

Тучи рассеялись, чистое небо, свет разливает луна,
Долго смотрю, возвращаюсь в покои, в саду простояв допоздна.
Ветер в окно, и циновка остыла, разве смогу уснуть?
Скоро светильник погаснет совсем... Осенняя ночь длинна.

На мелодию «Чанъаньская улица»

Терем зеленый, в раскрытом окне цветущая ветка видна,
Еще одна дивная нежная песня, еще одна чаша вина.
Красавица мне напевает, что надо спешить веселиться-гулять,
Когда-нибудь красные щеки поблекнут, года не вернуться опять.
– И вы, Господин, неужели не видели Чжоуских гостей?
Сюда, на Чанъаньскую улицу, каждый приходит опять,
Но каждый приходит старей.

Ду Му

Пью в одиночестве

На улице ветер, снежинки кружат за окном,
У жаркой жаровни кувшин открываю с вином...
Не лучше ли в дождь под навесом дремать в челноке,
В ночи от вина захмелев на осенней реке.

Фэн Яньсы

На мелодию «Капли клепсидры»

Холодом ветер пронзил, осень неожиданно пришла,
Скоро уже орхидея, одна, отцветет без тепла.
Тучи плывут и плывут, деревья шумят и шумят,
С милым в разлуке, он все не едет назад.

Шелковый полог подняв, в тереме красном – без сна,
В уединении можно печали предаться сполна.
Гусь улетает на юг, месяц плывет на восток,
Где-то в ночи бьет по одеждам валеж.

На мелодию «Ароматные травы брода»

Листья утуна летят, доли гречишки полны.
Только закончился дождь, росы легли холодны,
Голые ветви, полынь, – запустение, время тоски.
Этой унылой порой – сожаленье с досадою только
Сердцу любому близки.

Ласточки – в дальних краях, цянская флейта грустит,
Ясны-прозрачны речные просторы, объемлющий вид.
Месяц – как будто крючок, горы – как будто черны,
С башни высокой смотрю я, видения-грезы исчезли,
Песни уже не слышны.

Ли Юй

На мелодию «Долгая тоска разлуки»

Встали горы с одной стороны,
Встали горы с другой стороны,
Бесконечные горы, небесная высь,
и холодный туман над водой,
В безграничной тоске
что мне клен с киноварной листвой.

Хризантемы давно расцвели,
 Хризантемы увяли давно,
 Вижу, гуси домой от заставы летят,
 лишь тебя я не вижу вдали,
 И от ветра с луной*
 закрываю занавесой окно.

На мелодию «Счастливая иволга»

На рассвете заходит луна, тает дымка ночных облаков,
 И, не в силах уснуть, к изголовью склоняюсь без слов.
 Ароматными травами грежу опять, о тебе не забыть ни на миг,
 В небе слышится дикого гуся слабеющий крик.

Пенье иволги стихло давно, и в листве уж цветов не найду,
 В одиночестве здесь, в расписном павильоне, в заросшем саду...
 – Не сменяйте алеющие лепестки, пусть лежат в ожиданье, когда
 Молодая танцовщица снова вернется сюда.

Янь Шу

На мелодию «Капли клепсидры»

Сливы мэй укрывает снежок, ивы в дымке едва ли видны,
 Эти смутные дни, время первой луны, наступленье весны.
 Только диких гусей провожу, пенье иволги слушать готов,
 На зеленом пруду, вижу, волны рождаются вновь.

Мы цветы соберемся искать, пить вино до утра и гулять,
 И былое припомним, весенние чувства вернутся опять...
 Эту чашу наполни вином, ароматы курильниц вдохни,
 И забудешь тоску, будут ясными долгие дни.

На мелодию «Отправляясь в путь»

Прощальной пирушки печальные песни,
 В беседке мы пьем, расставаясь, вино.
 Душистая пыль нас уже разделила, но смотрим вослед все равно.
 И я остаюсь, где у рощи тенистой лишь конь одинокий заржет,
 А ты отплываешь, и лодку потоком влечет за речной поворот...

В смятенье душа, поднимаюсь на башню,
 Смотрю, сколько взора хватает вдали,
 Косые лучи заходящего солнца на воды речные легли.
 И неисчерпаема и бесконечна, все длится разлуки печаль...
 И тянутся думы до края небес и летят они в дальнюю даль.

* Свежий ветер и светлая луна – образно о прекрасном вечере, обстановке, располагающей к лирической беседе, к мечтательности и любви.

Оуян Сю**На мелодию «Отправляясь в путь»**

– Слива мэй возле башни уже отцвела,
У моста над рекой ива нежно-светла.
Ветер теплый, трава ароматов полна... В путь пора, натяну удила.
А разлуки тоска, разливаясь сильнее, разливаясь всюду и везде,
Далеко-далеко, бесконечна, безбрежна, подобна весенней воде...

– Разрывается сердце, не свидеться нам,
Слезы льются и льются по белым щекам,
Поднимаюсь на башню, стою у перил, вдаль смотрю,
все ищу тебя там.
По равнине, заросшей травой, ведут за весеннюю гору пути,
Но теперь тебя нет там, не видно, тебя за весенней горой не найти.

На мелодию «Бабочка, влюбленная в цветы»

В тенистом дворе, глубоком-глубоком, немереной глубины,
Плакучие ивы завесили терем, во сколько слоев,
Ворота сквозь них не видны.
Седло расписное с нефритовой сбруей, с певичками он загулял,
На башне высокой смотрю на дорогу, далеко веселый квартал.

И ливень косой, и безудержный ветер взвиваются в третью луну,
Смеркается, и затворяют ворота, кто скажет мне, как –
Продлить хоть немного весну.
И, слезы в глазах, вопрошаю цветы, цветы же безмолвны в ответ,
Взлетают цветы над качелями, миг...
И алый осыпался цвет.

Су Ши**На мелодию «Линьцзянский отшельник»**

Преподношу почтенному Му

Расстались с тобой у столичных ворот, с тех пор уж три года прошли,
Забрел на край света, скитался ты всюду в багровой пыли...
И вот повстречались, улыбка твоя мне – весеннее солнце, мой друг,
Твоя безмятежность, как старый забытый колодец,
Твое благородство, как стойкий осенний бамбук.

Скорблю, одинокий твой челн этой ночью отправится в путь, а пока
Еще не простились, и месяц виднеется сквозь облака...
– Красавица, тонкие брови свои не хмурь перед чашей с вином,
Жизнь наша подобна двору постоялому здесь,
Где, путники все мы, лишь как постояльцы живем.

Чэнь Юйи**На мелодию «Линьцзянский отшельник»**

Поэт упоминает падение династии Северная Сун в 1127 году, в то время он долго скитался по захваченной чжурчжэнями северной части страны, добираясь до новой столицы Южной Сун, где позднее он пишет эти стихи.

Ночью поднимаюсь на башню, вспоминаю лоянских друзей.

Я помню друзей, как на южном мосту сидели и пили вино,
Бывало там много мужей благородных когда-то давно.
Беззвучно сплывала к закату луна теченьем невидимых вод,
Цвели абрикосы, под сенью их длилась весна,
Звучали свирели, пока не светлел небосвод...

И все двадцать лет, что прошли с той поры, – один угнетающий сон,
В то смутное время остался живой, я в скитаниях был истощен.
Без сна, поднимаюсь на башню, смотрю: прояснел в ночи небосвод...
Издревле донныне сколь много б ни произошло,
Как прежде рыбак в третью стражу, отчалив, поет.

Фань Чэнда**На мелодию «Рассветный рожок в холодных небесах»**

Безоблачным вечером стихли ветра,
И за ночь иссякла весенних морозов пора.
В немом восхищенье: цветы распускаются, близок рассвет,
Редеет гряда облаков, мэйхуа белоснежная ветвь.

Пейзаж несравненный, тем боле печальный стою, –
Никто не разделит заветную радость мою.
Лишь пара гусей, из далекого края летящих, видна...
Но знаю, ты тоже не спишь, и над башней высокой – луна.

Фестивали

В июле этого года в рамках Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Большом Болдине прошел V межрегиональный Слет молодых литераторов. Экспертная комиссия, рассмотрев более пятисот авторских заявок из 24 регионов России, отобрала сто человек, которые и прибыли на нижегородскую землю.

Сегодня мы представляем читателю работы наиболее ярких авторов.

Катерина КРУПНОВА

23 года, Выкса, Нижегородская область

Специальный приз газеты «Комсомольская правда – Нижний Новгород»

С ЛЮБОВЬЮ, ПЕПЕЛ

*И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она –
Спасена.*

А.Т. Твардовский, «Я убит подо Ржевом»

Аннушка, вот уже третий месяц я в земле. Холодно тут и сыро, и не слышать новостей сверху, зато товарищи все рядом. Делать тут совсем нечего – лежим все вместе, как котятки, греем друг дружку да войну вспоминаем. Закончилась уж война-то или нет?

Рассказал ребятам, как забрали меня. Оказалось, я тут не один такой. Все вспоминал, как утром на работу пошел. Машину свою вижу так, как будто фотокарточка в голове! Мужика странного с повесткой помню. Эх, даже родных мне навестить тогда не дали! Сразу забрали. Как я рад был, когда ты, Аннушка, прибежала ко мне с Катериной. Чувствовал, наверное, что не увижу вас больше. Сердце, оно ведь все знает наперед. И я тогда знал все, и так я радовался вам, как будто сто лет не видал. И вот теперь снова и снова вспоминаю – ты с Катериной, красивые, а Катерина босая, румяная. «Папка, папка...» Эх, пап-

ка. Подросла, поди, она. Похорошела. Какая она теперь, Аннушка? Уж невеста, сколько времени прошло. Помнит она меня, Аннушка? Я-то все помню. Не осталось у меня больше ничего, только ваши образа в голове.

Все ребятам про вас рассказываю, Аннушка. Про Сашу, про Катерину, про Клавушку. Как там Клавушка? Совсем она маленькая была, когда меня забрали. Сейчас подросла уже, да? Помню письма твои, ты ручки ее к бумаге прикладывала и обводила. Эх, до чего крохотные ручки! Уж и забыл я, что у людей такие маленькие ручки бывают. Ручки маленькие – а сердца большие, Аннушка. Воспитавай их хорошо, эти ручки, эти сердца. Я не слышу ничего, но я все знаю, я приглядываю, и я все помню. Все-все. Сейчас помню больше, чем когда бы то ни было.

Сердце... Сердце мое в золе, Аннушка, но оно бьется, потому что помнит все. Только вот крики, кровь, шум фронтовой – это все словно дымкой затянуто. Но я все помню. Это сердце, Аннушка, сердце... Помню, как ранили меня тогда, в сорок третьем. Лежал я, но ни боли, ни страха ни чувствовал. Тихо стало вдруг. Потом был госпиталь. Тут мне страшно вдруг стало. Страшнее, чем в бою, Аннушка. Потому писал тебе тогда так часто – боялся. Сам еще не знал, чего, но боялся. Сердце что-то подсказывало. Я тогда на поправку шел. Мне руку ранило левую, хорошо, что не правую, но писать все равно неудобно было. Но я писал. Помню, как самое последнее письмо тебе написал – я тогда совсем уже здоров был, выписали меня и на бой отправляли. Хорошо, что я тогда написал тебе, Аннушка. Хорошо, что успел написать. И теперь пишу – только письма не доходят почему-то. Плохо здешняя почта работает.

Вышел я из госпиталя – здоровый как бык, разве что мизинец на левой руке не гнулся почему-то. Но это и не важно. А потом, Аннушка, бой был. Страшный бой. Я его хорошо помню, Аннушка. Лучше, чем все остальное, а ведь я тебе говорил, что я все помню прямо как было. Но этот бой особенный, я знал, сердце чувствовало. Я был там – но, знаешь, Аннушка, как будто и не был, как будто я кино видел про себя самого. А в кино этом я, как обычно, танком управлял, и ребята мои рядом были. Было это где-то под Днепропетровском, там деревушка такая была, Мурысей ее звали. Сейчас-то, поди, нет уж деревушки этой. А тогда еще была. Правда, я и сам эту деревушку плохо знаю, я ведь из машины на нее глядел, не своими глазами. Это, Аннушка, звучит страшно, а на деле – привыкаешь, я вот быстро привык. Сначала – страшно, а потом как в заводе прямо на крану. Только шуму больше. И тесновато. Ну, и жарко. А еще... а еще, знаешь, там, в бою, нет тебя. Нет «я». Есть мы. Есть народ, есть большая страна. Вся большая страна – одно большое сердце, Аннушка, и оно полным-полно памятью, память – она в стране вместо крови. И вот я в танке, я в бою, но я с вами, Аннушка, я вижу тебя, вижу дом, вижу Катерину, и Сашу, и Валу, и крохотную Клавушку, и ручки ее, маленькие очень. Я за вас там воевал, Аннушка, за вас, чтобы вы, Аннушка, спать могли спокойно. Но вы – и во сне и наяву – помнить должны меня. Да вы и так, без «должны», помните. Я знаю.

А потом, Аннушка, тихо вдруг стало. Тихо и горячо вокруг. Горячее, чем обычно. Но я не испугался. Я знал, Аннушка, я чувствовал, что этот бой будет последним. Потому написал тогда тебе. А сейчас

пепел – все, что осталось. Пепел писем не шлет. Но пепел все помнит, Аннушка, и вам наказывает помнить.

И вот теперь, Аннушка, я в земле. Новостей тут не бывает. Зато память есть. Она – это мы, и вы, и наша земля, наша страна, за которую мы лежим теперь, безмолвные, безликие, но помнящие все. Знаешь, Аннушка, ты не обижайся, ты самая главная у меня, но главнее тебя – земля, страна, Родина наша. Мы без нее не мы. Мы можем обманываться, но – знай! – только ею живы мы, Аннушка. Так живи, Аннушка, живи и помни, что пожар в сердце твоём, кровь твоя, скорбь и радость – это все красное знамя, и это память, это прошлое, которым жива ты сейчас и которым живы будут наши дети и внуки в будущем.

СЧАСТЬЕ С УСАМИ

Всем хорошо известно, что нет для женщины большего счастья, чем мужчина с пышными и ухоженными усами. И потому тетушке моей, без сомнения, повезло. Ее муж, то бишь дядя мой, – мало того что охотник и рыбак и актер без «Оскара», мало того что безумно обаятельный и в свои шестьдесят выглядит лучше иных тридцатилетних, мало что рыбу готовит словно бог и посуду моет с удовольствием. Так вот, помимо всех этих вышперечисленных достоинств и множества других, о которых можно говорить бесконечно, – он является обладателем шикарных усов.

Усы, как нам всем известно, – это волосы, растущие под носом, прямо над верхней губой. Они могут быть прямые, могут быть закрученные, они бывают напомаженные или подкрашенные, а еще могут быть совершенно естественными; бывают усы густые, а бывают жиденькие. Но всегда щеточка над верхней губой обладает какой-то неземной притягательностью. Андрей Тарковский, Кларк Гейбл, Леонид Филатов, Фредди Меркьюри, Владимир Зельдин, Сальвадор Дали – и не говорите, что не в усах дело, не поверю ни за что!

Я, конечно, понимаю, что дело не во внешности. Но все-таки усы придают мужчине какую-то особенную притягательность, делают, так сказать, мальчика мужем. А самое главное, усы – это, без всякого сомнения, отличный талисман для привлечения счастья (и вместе с ним – симпатичных женщин). Существование в этом мире моего дяди – лишнее тому подтверждение. Счастливый и усатый! Чего еще желать? Усы у него как у Филатова, вечная классика, плюс еще густые очень и с проседью. Шикарные усы.

Если кто-то собирается к дядьке моему в гости, я всегда напрашиваюсь за компанию. Он меня любит, я его тоже. Он шикарно рассказывает истории, я люблю их слушать. Он носит усы, а я от усов без ума. Короче, идиллия.

Поэтому, когда дядька позвал меня на рыбалку, я согласилась не думая. Природа, рыбка и усы. Красота!

Компания собралась весьма приятная – дядька, Вовка, его сын и по совместительству самый красивый кузен, папа, дядя Женя, то бишь крестный мой, и Гошка, брательник. Мы загрузились в две машины и покатали к озеру, которое называется Малое Колодливо. Это на границе Нижегородской и Владимирской областей, в семнадцати километрах от Тамболеса, рядом – река Ока. Вовка всю дорогу клялся, что это тихое и красивое место, где рыба не перевелась еще и даже бобры иногда пешком прогуливаются.

И он не соврал. Как только мы отъехали от города, дорога стала ужасной, но зато вокруг были бескрайние поля, а на полях цвели

августовские цветы и ароматные травы, которые застилали землю густым зеленым и золотым ковром до самого горизонта.

Мы прибыли на место. Тут было два озера, одно побольше, другое поменьше. Соответственно, то, что поменьше – Малое Колодливо, там мы и собирались рыбачить. Мужчины распутывали бредень, передевались; Вовка достал из машины резиновую лодку, стал ее накачивать. Я же прошла прогуляться, осмотреть местность. Зашла в воду примерно по колено, присмотрелась – дно было все испещрено ракушками, поэтому ступать было немножко боязно, дядька предупредил, что можно порезать ногу.

Я разглядывала все вокруг – следы солнца на воде, чистое голубое небо без облаков, растительность вокруг воды. Слушала – переговаривались мужчины, иногда шелестели листья, порой кричала какая-то птица вдалеке и быстро замолкала. Но более всего была тишина, такая же всепроникающая, как вода.

Я вышла на берег и медленно шагала по узкой песчаной дорожке на берегу озера. Справа от меня была зеленая стена, слева – мутноватая вода, а купаться мне совсем не хотелось, поэтому двигалась я осторожно. Рядом со мной прибился Вовка на лодке и крикнул:

– Прыгай ко мне, покатаю!

Я осторожно забралась в лодку, Вовка мне помог. Села на грязное дно, поморщилась.

– На, подстели под задницу, – он подал мне старый холщовый походный рюкзак.

Поначалу я сжалась в комочек. Я вообще трусиха, воды боюсь, качки боюсь, поэтому сидела в лодке скрючившись в неудобной позе. Потом поняла, что никуда я из лодки не денусь. Расслабилась. Вытянула ноги, а руки запустила в воду.

– Теплая, – удивилась я, – все-таки уже сентябрь на носу.

– Тут мелко, быстро прогревается, – объяснил Вовка. Он догреб уже почти до середины маленького озера.

Берега у водоема были очень крутые, и мне казалось, будто наша лодочка плавает в огромной чаше с зелеными краями. Я опускала руки в мутную зеленоватую воду и представляла, что это ведьминское варево, которое подарит мне вечную молодость, бесконечную удачу, или, на худой конец, усы, желательные такие, чтобы их можно было снимать перед свиданиями (я, конечно, люблю эксперименты, но не настолько).

Я вновь и вновь вглядывалась в воду. Особенно мне нравилось то, что она полна жизни – рядом плещется рыба, у берегов можно разглядеть без труда мальков и лягушек, по поверхности бегают водомерки. Все вокруг было подвижное и живое, и это внушало такое спокойствие, которое, пожалуй, не снилось и йогам в самых прекрасных снах.

И пока я сидела в этой лодке и вдыхала чистый и ароматный воздух, ничто не могло омрачить моего настроения. В такие моменты совершенно не важны прошлые напасти и будущие страхи, а настоящее чувствуется так, что понимаешь: вот она, моя жизнь, и она хороша. В такие моменты у меня проясняется взгляд, и я понимаю, что на самом-то деле все вокруг намного глубже, красивее и чище, чем видится обычно. Наверное, это и есть счастье – быть только здесь и сейчас, и чувствовать всё втройне. Да, пожалуй, так оно и есть...

Тем более что мой прекрасный усатый дядька в пяти метрах от нашей лодочки вытряхивал из бредня не менее усатого сома! Вовка уже греб к рыбакам. Оказалось, что в сети попались еще три небольшие

щуки и несколько подлещиков. От восторга я захлопала в ладоши. Дядя закидывал рыбу прямо в лодку, а мы с Вовкой уже бросали ее в пакет.

Мне захотелось запечатлеть момент. Я достала камеру, сделала несколько снимков.

– Ты... ты еще это в газету отправить не забудь. Мы тут браконьерством занимаемся, а ты снимаешь! – шутливым тоном поругал меня папа.

– Тебя посадят, а ты не воруй, – заступился за меня Вовка.

– Ды не посадят, не робей. Своих не сдаем, – ответила я.

– Ты не рыбу, ты вона дядек снимай лучше. Секси! – зубоскалил Вовка.

Дядька и папа опустили бредень и медленно зашагали вдоль берега.

– Сейчас, Надь, щуклю килограмм на семь вытянем! – крикнул папа.

– Она тебя там так и ждет.

– А чего нет-то? Ой! – папа вдруг споткнулся в воде обо что-то, чуть было не упал, но Рома успел подхватить его.

– Топи его, Ромик! – закричал Вовка, смеясь. – Топи!

– Но, но! Топи, говорит! Сейчас кое-кого потопим! – огрызнулась я.

Они обошли с бреднем почти все небольшое озеро. Рыбы наловили немало, были и щуки, и лещи, и окуни. Мы все переоделись, перекусили, снова загрузились в машины и поехали обратно.

Когда мы приехали, тетя Ира накрывала стол. Рядом с ней хлопотала моя бабушка, которая пришла помочь. На плите уже стояла огромная кастрюля, в которой должна была вскоре булькать ароматная уха. Пока тетя Ира занялась рыбой, мы вышли побить баклуши в сад. В глубине стояли большие потрепанные временем садовые качели и две низких скамейки рядом. Мы расселись, снова потек разговор.

– А кот-то где? – спросил папа.

– Он ко мне теперь не подходит, – ответил дядька. Он сидел напротив нас на бревнышке, покуривал самокрутку.

– Что так? – спросила бабушка.

– Получил! – многозначительно протянул усач.

– Что случилось? – спросила я.

– Да вот, – начал он, – вышел я как-то с утраца покурить в одних трусиках. Сел вот как сейчас, на бревнышке этом. Сижу, курю. Вдруг чувствую... как-то тепло ноге. Смотрю – ба! Тимка! Ссыт! Прямо на мою ногу! Ну я его веником. Он теперь меня за пять метров обходит.

– Ну понятно, почему он к тебе теперь не подходит, – понимающе ответил папа. – Он тебя уже пометил, можно больше не ходить к тебе.

– Да-а, – усач выкинул бычок куда-то в сторону забора, – сижу, значит, никого не трогаю. И этот разбойник. Дует. Как ни в чем не бывало. Ой, че делается-то, ой!

– Ведь вот в целом огороде места не нашлось! – бабушка смеялась от души.

– Ты у нас теперь меченый.

– А то! Эх, жалко скотину-то. Зря я его так отпорол. Коты, они ж злопамятные. Обиделся теперь.

– Простит и вернется как миленький! – попыталась я успокоить его.

– А то как же. Кто же его кормить будет?

Вдруг прямо над нашими головами открылось окно, выглянула тетя Ира:

– Есть идите! – скомандовала она. – Готово уже все!

Мы вошли в дом, в залу, я обвела комнату взглядом и ахнула. Стол ломился от угощений, тут были и фаршированные перцы, и жареная

рыба, и копченая, и тонко-тонко нарезанное сало, и свежайшие овощи только-только с огорода – огурчики, сладкий перец, помидоры. Но самое главное – это, конечно, уха. Большая чугунная кастрюля стояла в центре, возвышалась надо всем, словно гора Синай над пустыней, от нее валил пар, тетя Ира разливала ароматное варево по тарелкам.

– Тетя Ира! – вскрикнула я. – Да ты тут нам целую свадьбу собрала!

– Ой, ну что ты! – засмеялась она. – Так, собрали всего помаленьку. Чем богаты.

Мы уселись за стол. Я схватила ложку, зачерпнула ухи, принялась и отправила ложку в рот.

– М-м! – не удержалась я. – Сладкая!

Усатый дядька сидел прямо напротив меня, положив тяжелые руки на стол. Он не ел, а оглядывал нас, словно сытый кот. Иногда с прищуром смотрел на меня, улыбался при этом хитро и кокетливо приглаживал свои красивые усы.

– Вот мы умрем, – завела свою пластинку бабушка, – а вы будете вот так собираться и вспоминать нас.

– Ага, – кивнул усач, – вспомним, как по компасу одна ходила! Мамань, – обратился он к бабушке, – помнишь, как мы с подружкой твоей, бабой Маней, тогда побегали? О-о-о! Ушла, час, два нету, ёшкин... Мы – искать! Туда, сюда, туда, сюда!

– Может, компас сбился? – спросил папа.

– Не знаю, что у нее сбилось! Нашли к вечеру только. Идет, красавица. Корзинка, спрашиваю, где. А она: не знаю, мол, где-то на дороге бросила. – Он призадумался на минутку. – А вообще я с вами люблю ездить, хорошо. Чуть что – сразу поляну накрывают. Это мне нравится!

– Жень, а ты в одних вот этих вот?.. – бабуля обратилась к моему крестному. – Ну, в брюках-то? Прямо в них рыбачил?

– Да ладно, в брюках! – громыхнул голос усача. – Он и без брюк позировал! О какой натюрморт!

– Да ну? – с сомнением спросил дядя Женя.

– А как же! Когда ты переодевался, такой весь коричневый, а ягодички-то белые, и весь в жиру. И тут как тут наш корреспондент с фоторужьем.

– Да когда это успели меня сфотографировать? – не унимался мой крестный.

– Когда ты за машиной был.

– Так я специально туда ушел, спрятался.

– Ну, спрятался он! В такой компании разве спрячешься! Тем более у нас корреспондент Штрабикус, – дядька кивнул в мою сторону, – из-под колеса тебя сфотографировала.

– Специально за машину ушел... – то ли крестный мой очень хорошо играл, то ли принял все за чистую монету.

– А ты ее видел, машину-то? Это же тебе не «шевроле», тут посадка-то метр! Смотрю, Штрабикус под колесом лежит, думаю – ой-ой-ой! Дядьку в натуре сфотографировала!

– Утром в куплете, вечером в газете, – пропел папа.

Бабушка, раскрасневшись, уже хохотала вовсю. А смеялась она красиво, певуче, как смеются девицы в старых советских фильмах.

– Ой, че делается-то, ой! – вздохнул любимый мой дядька. Он пригладил усы, взял графин с самогонкой, плеснул себе и папе и, кивнув, опрокинул рюмку в горло. Потом быстренько подцепил кусочек малосольного огурчика, понюхал его и отправил в рот.

– Хор-р-роши! – выдохнул он, хрустя огурчиком.

– Рыбы-то много наловили? – спросила бабуля.

– Ды неплохо, мамань, неплохо, и тебе достанется, – похвастался дядька.

– Увлеклись они, – тетя Ира вынырнула из дверного проема с большой тарелкой тушеной картошки с мясом, поставила ее в центр стола. – Картошечка! – объявила она. – Ешьте картошку с огурцами малосольными!

– Да-а, – протянул дядька, – а там непонятно, не то мы браконьеры, не то нудисты с голыми задками. А бегали-то ты да я, – он кивнул дяде Жене, – они-то с умом уже ехали, плавок там всяких понабрали, а мы-то – простота! Мы только с тобой трусишки меняли, а я-то вообще без трусиков ловил, в одних брюках.

– Тебе там ничего не откусили? – спросила с улыбкой тетя Ира.

– Вот разойдутся, и я тебе покажу.

– А чего показывать-то? – усмехнулся папа. – Все в Колодливке осталось.

– Эх!.. Хорошо наловили. А эти двое в лодке плавали, – он кивнул в мою сторону, – один греб, другая фотографировала в разных ракурсах. Завтра смело можно в прокуратуру нести, а послезавтра по три с половиной года нам обеспечено, – спокойно рассуждал он. – Ну, Гошке как несовершеннолетнему условно. И Вован вроде тут ни при чем. А мы трое попали.

– Это он сейчас гоголем запел, а то мотор-то... Помнишь? В лугах мотор зашумел, и он присмирел сразу, и шепчет, мол, присядь под движок, бредень притопи.

– Знаешь! Дают-то не за бредень, дают за голову, а голов уже нормально было. А чем меньше голова – тем больше штраф.

Он взял в руки ложку, поковырял картошку, откопал приличный такой кусочек мяса, подхватил его ловко и отправил в рот. Вытирая масло с губ хлебом, снова заговорил:

– А на ночь как хорошо ездить! Хоть и комаров, конечно, пурга. Да и волки там, кстати, водятся. Но красивые места я вам могу показать! Бобровые эти... я ей показал, – он взглянул на меня, – и плотину где они собирают, и погрызы, и тропы какие они набивают. Бобров много. Мамань! – обратился он к бабуле. – Чтоб вода с озера не уходила, взяли в истоке и перегородили!

– Кто?

– Да бобры же!

– Вот и все!

– Да! А было бы воды поменьше, и нам было бы лучше лазить. А так в Малом Колодливке вода на целый метр выше, чем в Большом.

Мне было хорошо, сытно, но из жаркой душевой комнаты потянуло на свежий воздух. В этот момент мы с Вовкой и Гошей переглянулись и, поняв друг друга, один за другим вышли во двор и направились в огород. Там мы уселись втроем в большие садовые качели, вновь начали болтать обо всяких пустяках. Мы могли разговаривать так очень долго, и этот разговор, как будто ты ни о чем, тем не менее никогда не проходил впустую. Как ни странно, даже за такими разговорами между людьми порой рождаются связи, более того – связи эти крепнут, ниточки превращаются в веревки, затем в цепи, которые никак не разорвать. У нас с Вовкой было мало общего, мало что совпадало, но притом мы связаны намертво связью, которая в тот момент была мне непонятна,

но ощущение этой связи было реальным и тогда и сейчас, и она грела и греет, и светит, мерцая, словно свеча в летнюю ночь.

Мы так проболтали до темноты. Потом к нам пришел папа и присоединился к нашему разговору, он начал рассказывать разные веселые истории про бурную молодость усача. Стало зябко, влажный воздух щекотал ноздри.

– А где бабушка? – спросила я папу.

– Ушла уже давно, – ответил он, – и дядя Женя тоже домой ушел. Да и нам пора. Я вот собрался уже, только за вами зашел. Надо уже идти.

– Да, – согласилась я. Гоша рядом кивнул.

Мы посидели еще минутку, разглядывая звездное небо.

– Пора идти, – еще раз напомнил папа, – ты готова?

– Почти, – ответила я, – только сумку забыла в доме. Сгоняю за ней.

Папа кивнул. Я повернулась к Вовке.

– Ну, покедова! – он улыбнулся.

– Когда усы-то отращивать начнешь? – спросила я, улыбаясь одним уголком губ.

– Ты совсем на усах помешалась. Не идут они мне.

– Ты же не зна-а-аешь!

– Знаю, – категорично ответил Вовка.

– Ты слишком самокритичен.

– Ну хоть какая-то слабость у меня должна быть.

– Знаю я твою слабость. Надежда имя ее!

– Топай, малявка! – ответил он, смеясь.

– Смешной ты, Вовк. Ну, пока!

– Пока, пока.

Я вскочила с качелей, быстро пролетела через весь огород, забежала во двор, и вдруг...

Вдруг увидела!

Дядька, мой любимый усатый дядька, такой сильный, такой находчивый, красивый, умный, талантливый, великодушный, обаятельный и привлекательный, – самый лучший в мире усач сидел на лестнице, согнувшись в три погибели, и плакал звучно, всхлипывая, размазывая кулаками слезы, словно мальчик, у которого отняли любимую игрушку.

Я испугалась не на шутку.

Я еще раз взгляделась в темноту. Мой любимый усатый дядька сидел на ступенях, уронив голову на колени. Он попытался встать, качаясь, как тоненькая ивушка на ветру. Я бросилась к несчастному рыдающему усачу, подхватила его, чтобы он не свалился окончательно. Несчастное дитя размером с великовозрастного медведя не преминуло тут же навалиться на меня всем своим весом, а это ни много ни мало примерно полтора центнера.

Я крикнула. Потом глубоко вдохнула и крикнула:

– Дядьк! А ну, хватит хулиганить! Сам! Ножкой, ножкой!

Поднять я его не могла. Только стояла, напрягаясь всем телом, придерживая его, чтобы дядька не грохнулся окончательно. Он облокотился на меня, и я чувствовала запах рвоты вперемешку с алкогольным духом. Рубашка на нем была влажная от слез и еще бог знает чего. А усач все больше наваливался на меня, становилось все тяжелее.

– Эй, кто-нибудь! – что есть мочи крикнула я.

В доме послышался какой-то шум, наверное, я разбудила тетю Иру. Впрочем, оно к лучшему, одна я этого великана домой ни за что бы не дотащила.

Он немного выпрямился, стало легче. В этот момент выбежала тетя Ирина, быстро смекнула, что происходит, крикнула: «Сейчас, девочка!» – и бросилась во двор. Уже через миг вернулась вместе с Вовкой, они вдвоем стащили с меня дядьку, кое-как подняли его и повели в дом. Я осталась на лестнице, растерянная, перепачканная рвотой. Но более всего меня страшило, что вот этот большой и сильный человек, который, я была уверена, познал дзен и обрел абсолютное счастье, вот он лежал сейчас пьяный на лестнице, не в силах подняться, плакал, вытирал слезы, бормотал что-то нечленораздельное. Разве могло такое произойти? Разве возможно что-то подобное с абсолютно счастливым человеком? Я была растеряна и напугана.

Уже через минуту я, папа и Ромка шли домой. Папа тащил меня за руку, говорил что-то, но я не слышала. У меня в голове стояла картинка – лестница в темноте, а на ступенях большой человек, который рыдает, словно маленький мальчик.

На следующий день папа позвонил дядьке, тот сказал, что все хорошо, что он пришел в себя. Через неделю семейство Лаговых нанесло нам ответный визит. Были и угощения, и шуточки, и истории. Но время от времени та самая картинка вновь всплывала в моей голове, и я никак не могла расслабиться и просто получать удовольствие, мне казалось, что все как-то не то.

Я вышла в огород, села на лавочку. Разглядывала небо, слушала ветер. Неожиданно кто-то сел рядом со мной.

– Не помешаю? – услышала я знакомый голос. И усы щеточкой.

– Нет, конечно! – улыбнулась я.

Он закурил. Заговорил о каких-то мелочах. А потом вдруг неожиданно выдал:

– Ты прости дядьку старого. Седины нажил, а умов не стало больше.

– М? – не сразу поняла я.

– Я тебя тогда там на лестнице чуть не раздавил, дурак старый!

– Ды ничего, ничего, нормально все. Я сильная, – я поспешила его успокоить.

– Да, – уверенно сказал он, – тебя так просто не раздавишь.

– И многое прощается тому, кто возлюбил много, – зачем-то сказала я.

На секунду повисла пауза.

– Дядьк, – осторожно начала я, – у тебя на следующий день голова сильно болела?

– Голова-то? Нет! У меня такого не бывает!

– Ну ничего себе!

– Есть одно средство! Вот, смотри, берешь свеженькое яичко... – он заговорил так, будто делился со мной рецептом вечной жизни или рассказывал почти правдивую легенду о несметных сокровищах, зарытых прямо в нашем огороде.

И сразу как-то полегчало.

Он уже давно ушел, а я все сидела, размышляла о счастье. Все-таки неправ Пушкин, есть оно, счастье, есть. Вот только оно – не взрыв и, простите уж мне мой французский, оно точно не фонтан. Счастье, оно не врывается в парадную дверь, размахивая напомаженными усами и выкрикивая анекдоты. Оно приходит тайно, неприметно, как усы не сразу отрастают. И надо признать, что не всякий усатый дядька, сколь бы ни были атомно очаровательны его усы, сможет сеять вокруг себя добро и хорошее настроение и после плохого урожая. Равно

и не всякий безусый салага однозначно безнадежен по той единственной причине, что усов не имеет. И Москва не сразу строилась, скажу я вам!

Поэтому самое большое достижение моего дядьки – не усы, а счастье, конечно. То самое, которое тихо растет, если его поливать каждый час, рыхлить, подкармливать – взращивать трудом своим, делом, мыслью. И для того, чтобы быть счастливым, нужна не магия, не божественное вмешательство, не судьба. Счастье – это свет, тихий, ровный, такой, что льется во тьме, и тьма не объяла его. Это добро. Это любовь. И счастье приходит к нам счастье разными путями, в разных обличиях, но приходит не извне, а рождается внутри. И как про царство небесное нельзя сказать, что вот оно здесь или вот оно там, так и про счастье, ибо есть лишь оно внутри нас. А может, это одно и то же, просто имена разные.

Анна СЕНИЧЕВА*32 года, Нижний Новгород**1-е место в номинации «Поэзия»*

* * *

Когда нас накроет июньской волной
и компас укажет на лето,
садись на моторку и синей стрелой
лети, обогнав скорость света.

Храни мои мысли, рисуй мои сны
в тетрадке с пустыми полями.
Мы юные боги, и нам не страшны
две тысячи лет за плечами.

Потёртые джинсы, забытый куплет
и вверх устремлённые плечи.
Нам небо откроет круженье планет.
Мы были.
Мы будем.
Мы вечны.

Лови мои ритмы и бешеный пульс,
включи позывные сирены.
Я лондонским ливнем без спроса прольюсь
на пыльные, серые стены.

Не думай о крае, но верь в горизонт,
который нас видит снаружи.
У лета нет правил, запретов и зон,
здесь каждый влюблён и разбужен.

Латунное солнце взойдёт на карниз
и бросится встречным под ноги.
Кто верит в июнь, тот прекрасен и чист.
Мы боги...
Мы юные боги.

* * *

Речка вышла за грани русла
после плена и власти льдов, –
так меня накрывает чувство
неприятия берегов.

У весны всё предельно просто:
завоёвывай и цвети
каждым сантиметровым ростом,
в каждой трещине на пути.

Я тебе до психоза рада, –
пораствай бузиной внутри!
Из любимых персон – в нон грата
переходят на раз-два-три.

Только ты оставайся. Точка.
Буду сдержана и тиха.
Я молчу тобой в каждой строчке
не написанного стиха.

Я хореем тебя не выдам.
Вместо текста – сплошной пробел.
Только четверостишьё с видом
на собрания ЖЗЛ.

Не уйди от меня в архивы.
Отпусти свои берега...
Мы упорно и дерзко живы,
чтобы вместе взвеснить снега.

* * *

Просто кому-то всегда не хватает стула:
это такая игра, и надо всё делать быстро.
Вот Маяковский смотрит в воронку дула,
и тишину преломляет финальный выстрел.

Это игра, но правила очень строги:
«море волнуется раз», а потом – замри.
Вот потолок деревянный, стена, пороги...
Кто погасил над Елабугой фонари?

Дети рисуют мелками смешные рожи,
крестики-нолики или простые слова.
Вот уравнение с неизвестным решил Серёжа,
всем доказав: «эта жизнь никому не нова».

Прячься или тебя найдут. Туки-туки.
Выход всегда расположен в конце тупика.
Каждый Поэт уходит, оставив звуки
и черновые записки, в которых его ДНК.

Наталья КРАСЮКОВА*31 год, Коломна**2-е место в номинации «Поэзия»*

* * *

Обездвиженный город. Густая чернильная мгла.
Запах прели от листьев стоит невесомо и остро.
Я хочу дотянуться рукой, но она тяжела.
Он ведёт разговор и сутулится, словно подросток.

Говорит, говорит, мой кивает в ответ капюшон.
Рукавом прикасаюсь, скользя по блестящему краю.
Только всё не о том. Вот сейчас, пока он не ушёл,
Протянуть бы ладонь, что ключи в кулаке зажимает.

Он так близко. Так близко! Немеет по локоть рука.
Что мне Рыжий и Рубина, и Турбина, и Фарятьев...
Я забуду их всех. И останется только ругать
Оглушённую нежность несбывшихся наших объятий.

* * *

На Сретение – не встретились.
Бог ли отвёл? Гололедица?
Мой календарь как летопись:
Всё-то тебе не едется.

Тянешь до дня рождения?
Я расстилаю простыни.
Видишь, я жду, я прежняя,
Всё ведь теперь по-взрослому...

Помнишь, как ты, соскучившись,
Письма писал мне с Севера?
Щёки твои колючие,
Руки мои загорелые

Снились до поздней осени.
И до Покрова, кажется,
Я всё стелила простыни.
Спать, хоть одной, но надо же.

* * *

В километре от старого кладбища были сады.
На участке, который достался в наследство от деда,
Ты построил бревенчатый дом и меня приводил
Показать, как дырявят сосну наглецы-короеды.

В доме пахло смолой. Ты колол, раззадорясь, дрова.
Бесновался огонь и глодал, словно кости, поленья.
И когда ты меня, не бросая топор, целовал,
И когда ты меня прижимал и сажал на колени,

Мне казалось, что всё это длиться и длиться должно,
Что пора бы стянуть продымлённые джинсы и свитер.
Расшнуровывал левой свой сорок второй и смешно
Хмурил брови от шёпота: «Просто возьми и порви ты!»

Обнажённая яблоня кроной задела Луну,
А потом ты меня разбудил и сказал: «Как неловко!
Не выглядывай в окна, чёрт дёрнул приехать жену.
Хоть и бывшая, будет кричать на тебя, что воровка».

Я не знаю, откуда у бывших берутся ключи
От ворот. Если связи разорваны, станут ли люди
Задыхаться и ждать, чтобы ночью фонарик включить
И прийти посмотреть, кто ещё их любимого любит.

Поменял бы замок, только что-то всегда не с руки.
Хорошо, что хоть в доме засов – не откроешь снаружи.
Мне казалось, любить – это значит быть честной с другим,
А тебе – что никто не сумеет враньё обнаружить.

* * *

По работе в Москву, на Митинский радиорынок.
И раскисший февраль предвещал полуночный приезд.
Я покрасилась в рыжий и жарила жирную рыбу.
Он приедет голодный, обнимет меня и поест.

Он приедет. Два стука заглохнут в пыли дерматина.
Целлофановый свёрток протянет: «Смотри, что привёз!
Выбегает из леса и прямо ко мне под машину».
Открываю пакет, а в пакете – отрезанный хвост.

Я не помню, как долго он жёг электричество в ванной,
Вырезая хрящи, отмывая дамаскую сталь.
Но висит на балконе и пахнет шампунем охряный
Лисий хвост, а за ним леденеющий чёрный февраль.

«Убери в холодильник, не буду ни рыбу, ни мясо.
И давай уже спать». Он ушёл, я осталась сидеть.
Не заметил, что рыжая, – это пустяк. Но ужасней
Намотать на колёса – и не почувствовать смерть.

«Пусть просохнет, – сказал поутру, – это будет нескоро,
Я потом на рюкзак тебе сделаю классный брелок».
И просвечивал хвост, растекаясь пятном по шторе,
И зелёную горечь молчание вдруг обрело.

Мы расстались полгода назад. Но по-прежнему жутко
Просыпаться и видеть играющий шерстью сквозняк.
И никто не узнает, что новая рыжая куртка
Незаметно в живую лису превращает меня.

Ирина БАТАРЕВА

35 лет, Владимир

Специальный приз жюри в номинации «За развитие поэтических традиций»

* * *

Идут большие корабли.
Их ждут крутые берега.
Ты ищешь то, что на века,
но не найдешь такой земли,
где жизнь течет без перемен,
где ноша кажется легка,
дает просящему рука,
не ждущая гроша взамен.
Ты ищешь то, что на века, —
занятие для дурака.

* * *

Душит валенки сугроб.
Снег скрипит и след съедает.
Что потом, никто не знает,
и крестясь, целует в лоб.
Но за этой тишиной
только свет и снег, и слово,
что на божий свет готовы
следом вырваться за мной.

* * *

Только тянется к теплу
из мохнатой почки вербы
неокрепший, самый первый
лист. Свеча горит в углу
моей комнаты пустой.
А душе все мало места.
Ей, как в коммуналке, тесно
и совсем не интересно
из окна смотреть за мной.

* * *

Слезятся яблони глаза
в тени родительского сада.

Само пройдёт, жалеть не надо
того, кому немного за...

Бросает яблоки в траву,
ветвями разбивает стекла
душа, которая промокла...
А я как жил, так и живу.

* * *

Обнимай меня до гроба,
обнимай меня потом,
чтобы помнили мы оба
этот свет на свете том,

где и днём, и ночью снится
в маках рыхлая земля.
Лица. Лица. Повториться б
и молиться за тебя.

Публицистика

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Живет в Екатеринбурге.

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

Заметки о литературе, театре, кинематографе

Ошибки восприятия или неприятие устаревшего?

На радиостанции «Эхо Москвы» есть передача «Говорим по-русски». Передача полезная, стараюсь ее не пропускать... Не так давно там снова зашла речь о восприятии детьми (младшими школьниками) знаменитого (теперь уже печально, можно считать) отрывка из «Евгения Онегина»:

Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

Помните, несколько месяцев назад в интернете появилась новость, что дети ничего не понимают в этих строках? «Бразды» – это у них птички вроде дроздов, «кушак» – платок... Тогда это исследование проводилось, так сказать, на любительском уровне, а теперь его провели уже на научной основе.

Филологи-психологи в недоумении и возмущении – дети ничего не понимают. Сплошные «ошибки восприятия». Призывают с этим бороться.

Хочу задать вопрос: а надо ли? Надо ли реанимировать и вбивать детям в голову устаревшие слова, понятия? Зачем им «кибитка», «кушак», «бразды» в смысле «борозды», «облучок»?

Наши дети – десятилетние, пятнадцатилетние – если захотят, заговорят на совершенно непонятном нам языке. Только не надо кричать,

что это язык заимствований и потому это чудовищно... Если присмотреться к нормативному русскому языку, то он в абсолютном большинстве состоит из заимствованных слов. Но одни были заимствованы в XIII веке, другие в восемнадцатом, третьи в девятнадцатом. Мы ко многим привыкли, считаем их исконными. А к заимствованиям последних десятилетий относимся крайне враждебно.

Пушкин, коли его строки взяты для опытов, в критических заметках и письмах к друзьям очень непочтительно отзывался о литературных произведениях своих предшественников, об их лексиконе. Его же стихотворения и проза возмущали старшее поколение. В первую очередь введением в язык литературы новых, чуждых тогда слов.

Современные дети подсознательно не принимают, отсекают устаревшие слова. Они им попросту не нужны. С «облучком», «кушаком» они не сталкиваются в реальной жизни. Зато сталкиваются с тем, что неведомо, как правило, людям пожилым. Зачем же детям вдалбливать ненужное? Кругозора их такие слова не расширят, художественно вряд ли обогатят...

Существует многотомный труд – «Словарь языка Пушкина». В нем собраны десятки тысяч слов, которые употреблял Александр Сергеевич в своих произведениях. Старославянских, древнерусских там – меньшинство. Да и то в основном из поэзии. В прозе Пушкин пользовался простыми, современными ему словами. А по свидетельству современников, в повседневной речи был очень прост, редких слов не любил.

Знал ли Пушкин всю толщу устаревших в его время слов, когда ему было лет семь-десять? Вряд ли. Друзья детства да и первые автографы Пушкина показывают, что он куда лучше владел французским языком, чем разговорным и письменным русским. В глубины русского языка Пушкин стал вглядываться уже достаточно взрослым человеком, и отнюдь не благодаря Арине Родионовне...

Омут детства

Занимаясь правкой своего нового романа, заметил, что о детстве и отрочестве героя, во многом – по времени рождения, месту жизни лет до двадцати – совпадающего со мной самим, я написал куда теплее и ярче чем о его взрослом существовании. Я прямо упивался его детскими впечатлениями, играми, вообще той атмосферой конца 70-х – первой половины 80-х.

Теперь приходится очень многое вычеркивать, сокращать, так как эти главы явно перевешивают, отодвигают на задний план то, о чем я собственно и хотел написать в этой новой вещи, довольно объемной, с большой временной протяженностью.

Сокращаю и думаю, почему у меня и моих сверстников-литераторов, начиная с Дмитрия Новикова, Ильи Кочергина, которые меня на несколько лет старше, заканчивая Захаром Прилепиным, Сергеем Шаргуновым, которые на несколько лет младше, так много о детстве и отрочестве? И так подробно, тепло?

Вот недавно мой одногодок Шамиль Идиатуллин выпустил роман «Город Брежнев», где подробности детства героя затмевают остальное, хотя должны были наверняка стать лишь фоном. Но они стали основным содержанием...

Конечно, во все периоды русские писатели уделяли теме детства и отрочества большое внимание. Вернее, посвящали им много страниц своих произведений, а то и отдельные произведения. Но наше поколение буквально утонуло в омуте своего – именно своего – детства. И уже взрослые, а то и приближающиеся к старости люди, мы пишем о современной жизни зачастую держась, крепко держась за свое детство. Нырять в него при первой же трудности.

Например, с нашим взрослым героем что-то происходит, и он тут же ныряет...

То ли у нас было такое хорошее детство, в натуре «счастливое», как говорили нам еще тогда, лет тридцать пять назад, то ли... Пытаюсь вот разобраться, в чем дело.

Диалектизмы: необходимость или сор?

Читаю новую книгу Михаила Тарковского «Полет совы». Автор давно живет в Сибири, на Енисее, и пишет о тех местах.

У Тарковского есть почитатели, есть и те, кто отзывается о его прозе с горячим раздражением. Главная претензия, как я заметил, такая: слишком много, искусственно много, местных слов, неправильные конструкции с точки зрения литературного языка.

Я хоть и родился и вырос в Сибири, часто бываю в сибирских деревнях, в повести и рассказы Михаила Тарковского вхожу с трудом. Да, сложно, находясь в городской среде, сразу погрузиться в другой мир, иную речь. Но, погрузившись, начинаю испытывать огромное удовольствие от чтения.

Вообще литературный язык и язык художественной литературы – разные вещи. Но довольно долго в советское время их пытались соединить. Безжалостно вытравили диалектизмы, провинциализмы, областные слова из художественных текстах. У редакторов очень популярно было вот это высказывание Максима Горького. Вернее, оно было инструкцией:

«Местные речения, “провинциализмы” очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя нехарактерные, непонятные слова... Мы должны добиваться от слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения, – мы добьемся этого только тогда, когда воспитаем в себе уважение к языку как материалу, когда научимся отсеивать от него пустую шелуху, перестанем искажать слова, делать их непонятными и уродливыми. Чем проще слово, тем более оно точно, чем правильнее поставлено – тем больше придаёт фразе силы и убедительности. Пристрастие к провинциализмам, к местным речениям также мешает ясности изображения, как затрудняет нашего читателя втыкание в русскую фразу иностранных слов. Нет смысла писать “конденсация”, когда мы имеем своё хорошее слово – сгущение».

Но где та грань, когда диалектизм (а возьмем и шире – жаргонизм, сленг) необходим, а когда становится сором?

По-моему, если пишешь о молодежи и используешь общеупотребительные слова, получается вранье; когда механики говорят «сгущение», а не «конденсация» слышится неправда. В сибирских деревнях диалектные слова по-прежнему очень сильны, и заменять их на нормативные – значит изменять реальности. К тому же многие диалектизмы куда точнее и сочнее общеупотребительных слов.

Может быть, кое-где Михаил Тарковский и сгущает обилие «местных речений», но в целом в его художественную речь верится. В повести «Полет совы» тем более главный герой – приезжий. Молодой учитель Сергей, горожанин, выбравший жизнь в таежном поселке. И он впитывает местный язык, старается говорить, как окружающие его люди.

«...Может, я просто хочу сбросить это выправленное литературное наречие? Потому что язык, на котором говорит русская деревня, прав веки и хоть ничего уже не решает, но стоит как отвес, как вертикаль... за которую ещё можно держаться.

Когда я пытаюсь говорить их языком, они воспринимают это как должное – для них оно неважно. А для меня важно: я костями его чувствую – корни-то у нас у всех крестьянские...»

Сергею непросто, трудно. Как и читателю, обитающему в иных местах, нужно приложить труд, чтобы начать понимать речь далеких, но тоже наших, русских людей. А понимать необходимо.

Обыкновенный талантливый фильм

Рад, что фильм «Аритмия» не только отмечен множеством премий, но и замечен зрителем.

Сколько бы еще сравнительно недавно ни ёрничали про так называемую «производственную тему», не выживали ее из кинематографа, литературы, театра, оказывается, она продолжает жить и трогать душу. Несколько раз подступал ком к горлу, и я, стыдясь своих чувство, покашливал и кряхтел.

Нет в фильме никакой социальной заточенности, жертв «кровавого режима» и капиталистических отношений. Фильм про людей, которые работают (очень редкий случай в современном искусстве). Их работа отражается на личной жизни. Олег, главный герой «Аритмии», врач скорой помощи, его жена, Катя, – врач в больнице. Смена, отдых, смена, отдых... (Сразу скажу, потому как читал в отзывах, что пьют в фильме очень много. Да нет, не очень. Терпимо.) И он и она еще молодые люди, и Катя, скорее всего подсознательно, пытается разорвать этот круг – уйти от Олега. Ей, наверное, кажется, что с мужчиной другой профессии ее жизнь изменится.

Но врачи – каста. Это проговаривается в фильме во время посиделок врачей и фельдшеров: одна из девушек жалуется, что ей нет времени ни с кем другим познакомиться – только с таким же врачом, ведь «не с больным же».

Олег и Катя то разбегаются, то соединяются; Олега ругают за нарушение правил работы бригады скорой помощи, даже бьет начальник, но снова посылают на выезд. Жизнь героя то теряет смысл, то обретает. В этом – аритмия.

Герои не жалуются друг другу, и без разговоров всё понятно – понятно, с чем они сталкиваются в своих рабочих буднях. И вокруг такие же люди. Вплоть до родителей Кати, которые тоже врачи.

Быть может, профессиональные врачи увидят в фильме массу неточностей, это закономерно. Но художественная правда в «Аритмии», по моему, есть. Есть ощущение документальности. Документальности, облаченной в форму художественного фильма.

Таких фильмов, кстати сказать, было очень много в 60–70-е годы – в период расцвета советского кинематографа. Режиссерские, сценарные, актерские работы Марлена Хуциева, Василия Шукшина, Георгия Данелия, Геннадия Шпаликова, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева, Олега Даля, Олега Янковского, Виктора Мережко, Ирины Купченко и так далее, так далее.

Теперь обыкновенный талантливый фильм, каким является «Аритмия», – нечто из ряда вон выдающееся. Для некоторых, как я заметил, с огромным знаком минус. Эти некоторые, которых, впрочем, немало, просто перестали воспринимать нечто отличное от «Матильды», «Шпиона», «Сталинграда», «Обитаемого острова», «Цитадели» с «Предстоянием»...

Нужны ли писательские группировки?

Под конец прошлого года в литературных журналах появились две статьи, возвращающие тему писательских группировок – «Победы и поражения “нового реализма”» Андрея Тимофеева («Вопросы литературы», 2017, № 5) и «Технология успеха и технология романа» Галины Абкулатовой («Урал», 2017, № 12).

И там и там объединения, группы писателей трактуются как зло для литературы и самих писателей. Тимофеев многословно доказывает, что течение «новый реализм» несостоятельно, да и напрасно, Абкулатова и вовсе приходит к мысли, что тот же «новый реализм» был создан «старшими товарищами» для того, чтобы оправдывать литературными средствами капитализм, рыночные отношения и т. д.

Не буду сейчас спорить с авторами. Но хочу задать вопрос, нужны ли писательские группировки, нужно ли писателям объединяться?

Впрочем, для меня большой проблемы в этом вопросе нет. История литературы показывает, что писатели, особенно молодые, объединялись с давних пор. Возьмем отечественную литературу: был кружок адмирала Шишкова и был «Арзамас», были кружки авторов журналов «Современник» и «Москвитянин», были «Среды», были символисты, кубо- и эгофутуристы, имажинисты, обэриуты, «Серапионовы братья», были группы «Настоящее» и «Памир»... В 60–80-е годы были шестидесятники, «Иркутская стенка», СМОГ, «Московское время», сорокалетние, «Новые амазонки» и так далее...

Литераторам, особенно молодым, свойственно объединяться. Потом эти объединения, как правило, рассыпаются, но в определенный период они необходимы.

Но почему-то такие объединения, группировки всегда вызывают желание их уничтожить. При царях закрывали журналы и разгоняли кружки, при Сталине членов сажали или расстреливали, после Сталина всячески поносили «групповщину». И теперь с ними борются и подозревают в каких-то заговорах, чуть ли не мошенничестве каком-то.

По-моему, группировки очень полезны и состоящим в них, и движению литературы. В них рождаются новые идеи, новые методы, новый язык даже. То что писательство – дело одинокое, кажется, лукавство. Пишешь, конечно, как правило, один, но заряжаешься написание в обществе близких тебе.

К тому же одиночке очень сложно заявить о себе, обратить внимание на то, что он написал и даже опубликовал, издал. А на группу, течение

обращают внимание чаще. Хотя бы затем, чтоб сказать: это глупо, все это было, было...

Интересно, что тот же Андрей Тимофеев, жестко критикуя новый реализм, явился создателем новой группировки – новые традиционалисты. От этого никуда не денешься.

Приём фальшивого автопортрета

Писатели нередко рискуют, пиша о себе вещи, за которые их можно вполне арестовать и крутить на допросах. Но о себе ли они пишут? Лев Данилкин то ли придумал, то ли удачно позаимствовал у кого-то термин «прием фальшивого автопортрета». Очень точно.

Я лично не раз пытался написать полностью документальный рассказ, повесть о том, что происходило со мной или чему я был очевидцем. Не получалось. Всегда что-то придумываешь, что-то отбрасываешь, что-то усложняешь, а что-то упрощаешь. Это неизбежно. Часто своему герою (а у меня периодически появляется герой «Роман Сенчин») приписываешь такие поступки, какие не совершал и больше всего боишься совершить. И думается, я не один такой.

Если рассматривать художественное произведение как чистосердечное признание или заявление о преступлении, то нужно бы привлекать в качестве обвиняемых и свидетелей практически всех литераторов, начиная со времен Древней Греции, а то и какой-нибудь Месопотамии. Уж точно ходили бы на допросы Достоевский по поводу «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых», Толстой в связи с поступком Нехлюдова по отношению к Катюше Масловой, Леонид Андреев из-за своей «Бездны».

«Откуда вы взяли такие-то факты? – спрашивал бы следователь. – Почему вы так хорошо знаете то-то и то-то?»

А авторы, пишущие от первого лица, наверняка бы не вылезали из прокуратуры и следственного отдела.

Бывает, что художественный текст пытаются использовать как подтверждение вины. Помнится, когда Алину Витухновскую сажали, ее стихотворения фигурировали в деле; Баяна Ширянова в связи с делом его «Пилотажей» пытались расколоть на раскрытие наркотрафика.

Самый яркий пример, какой я знаю: в Абакане в 90-е годы какой-то человек избивал беременных женщин. Составили фоторобот. Стали искать. Одним из похожих на маньяка оказался Алексей Козловский, поэт, заслуженный учитель. На обложке его тогдашней новой книги (дело было в 1997 году) была изображена беременная женщина. Следователи читали стихи, нашли несколько подозрительных строк. Его арестовали, били на допросах... Деятели культуры, сибирскому отделению ПЕН-центра кое-как удалось добиться его освобождения. Даже разрешили вернуться к учительству, хотя следствие длилось еще довольно долго. И ничем не кончилось...

Козловский не хотел давать повода, чтоб им заинтересовались органы. Так совпало. Да и те, кто пишет о своих героях довольно щекотливые вещи, тоже, думаю. Но так устроена психика творческого человека, что без представления себя вором, насильником или жертвой насильника и так далее он не может. А только представляя себя таковым, возможно описать такого рода персонажей. А иногда и главного героя, ведя повествование от первого лица. То есть – «я».

Ручкой теплее

Каких только дней не найдешь в международном календаре – День спонтанного проявления доброты, День аккредитации, День начальника... Один из таких на первый взгляд шутивных дней отмечают 23 января – это День ручного письма. Учредили его довольно давно – в 1977 году. Инициатором выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, и тут можно усмотреть коммерческие мотивы. Но в последние годы день этот становится всё более актуальным. Скоро, наверное, придется слегка переименовать его, назвав День памяти ручного письма.

Компьютер и все его ответвления можно назвать гениальным изобретением. Жизнь людей, получение информации, общение друг с другом упростились до предела... Ну, не до предела – многие мечтают общаться телепатически: мысленно обратился к кому-либо, и он услышал и ответил. Но и сейчас, обладая устройством с клавиатурой, экранчиком и подключением к Всемирной паутине, ты, теоретически, хозяин мира. Вполне можешь за минуту написать и донести до каждого обладателя подобного устройства такое, что изменит ход истории, перевернет цивилизацию.

Но это именно теоретически. На самом же деле твой голос тонет в гуще других голосов, да и мысль, которую ты хотел донести до человечества, оказывается слабой, незрелой, неоформленной.

Интересно, что чем проще нам создавать слова, тем меньшей силой они обладают. В древности слова высекали не только на камнях, но и писали на песке, но слова на камнях обладают огромным весом (извините за каламбур). В выбитых на стенах и стелах надписях зачастую важнейшая информация. На века и тысячелетия.

То же можно сказать о рукописных книгах из дощечек, кожи, бумаги. Их было мало, создавать их стоило труда, и они чрезвычайно ценились, были предметом поистине священным.

Конечно, писали и на бересте, но без намерения сохранить написанное – это были записки, грамматические упражнения, и чудо, что несколько сотен их дошло до нас. Одни только грамоты Онфима чего стоят – пред нами предстает реальный мальчик XIII века, который, оказывается, мыслил, рисовал, учился практически так же, как дети двадцать первого. И, не исключено, люди какого-нибудь XXIX века будут разглядывать уцелевшие ученические тетради современных школьников, умиляться рисуночкам на последней странице и удивляться, что дети всегда похожи, но у каждого свое лицо, свой характер, зафиксированный почерком.

А взрослые нынче пишут от руки всё реже и реже. Само слово «писать» уходит в прошлое. Теперь говорят: набить текст, набить сообщение. «Набить», а не «написать». Жутковато. Тем более что набивают не на камне, а на экране компьютера, и набитое можно уничтожить одним нажатием на соответствующую кнопку.

Впрочем, ученые спорят, какой носитель надежнее, и многие приходят к выводу, что надежнее цифра. Камень в конце концов довольно просто уничтожить, что продемонстрировали недавно новые варвары на территории Сирии и Ирака, цифровой текст же может бесконечно копироваться.

Меня лично как представителя писательского цеха больше заботит отказ от ручного письма современными литераторами. То, что проза,

поэзия мельчают, а то и переживают последние времена, было расхожим мнением во все эпохи. Но нынче очевидно, что мировая словесность становится всё усреднённой. Выдающиеся из общего ряда писатели, мыслители, художники-философы, оригинальные стилисты почти не рождаются, хотя тех, кого можно читать, занимая досуг, становится больше и больше.

Сложно судить о грамотности целых народов, но грамотность тех, кто занимается литературным творчеством, повышается, и при этом падает число – грубо говоря – гениев. Главенствует некая безликость. Одна из основных, если не основная причина этого – новые методы написания прозы, стихотворений, драматургии. Технология, вернее.

Конечно, и в прошлых веках не все литераторы и не всегда писали исключительно сами. Кто-то надиктовывал, кто-то давал переписывать черновики другим людям, кто-то с изобретением пишущей машинки стал писать на ней, минуя стадию рукописи. Но, как правило, выводили буквы, связывали их в слова, а слова во фразы собственноручно.

Рукописи Пушкина, Гоголя, Толстого, Флобера, Золя, Платонова, Булгакова, Шолохова (да, и Михаила Шолохова) показывают, как они искали нужное слово, переставляли слова местами и возвращали обратно, вычеркивали и восстанавливали. Переписывали и переписывали свои произведения... Они мучились, но и очевидно любили это дело. И добивались результата. Пусть сами потом порой утверждали, что «не получилось».

Никакой компьютер, никакая правка в распечатке или машинописи не дадут того же эффекта. И это очевидно, когда читаешь современную литературу. Ее набивают в компьютерах, вычитывают на экране и отправляют в издательства. Там работа тоже идет, как правило, «в электронном виде». Да и читатель теперь предпочитает «электронные книги»; чтение с карандашом в руке, маргиналии тоже сошли на нет. Всё, наверное, необратимо, но о бумаге и шариковой ручке (не говорю уж о перьевой) и писателям, и читателям стоило бы вспоминать. Записывать свои мысли, вести дневники в тетрадке, взять и отправить знакомым весточку в конверте с марками... Как говорил один мой знакомый литератор, пожилой человек, «ручкой теплее».

Без контекста

Неожиданно мой сборник повестей и рассказов «Постоянное напряжение» попал в новостные сводки. И не в рубрике «Культура» или тому подобное, а в политические блоки.

Вот привожу сообщение агентства УНИАН:

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказал ООО «Форс Україна» в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин «Постоянное напряжение» и серию «Путешествие вокруг света» (издатель – ООО «Издательство «Э») из-за пропаганды войны и названного русским Крыма. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

В частности, сообщается, что приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению её к категории продукции, не разрешенной к рас-

пространению на территории Украины. «Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны. Один из ее героев, российский офицер запаса, ностальгирует по войне: “А вокруг... Вокруг Новороссия, Сирия... То один его однополчанин уехал на Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя...”. А дальше – описание событий в Украине с пропагандистскими лозунгами: “антигосударственный переворот в Киеве”, “гибли люди, говорящие по-русски”, “Надо вводить войска – защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!”», – пояснили в комитете.

В то же время серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызвала вопросов что касается содержания, однако в исходных данных изданий сказано: «Отпечатано в России. Республика Крым». «Именно из-за этой “ошибки” в географии (Крым был, есть и будет украинским!) издания не получили разрешения на ввоз и распространение в Украине», – подчеркнули в Госкомтелерадио.

Сперва я не понял, о чем идет речь, где я в своей книге что пропагандирую. Но полистал сборник и вспомнил, что в рассказе «Сугроб» действительно бывший офицер Российской армии (уволенный в свое время), ныне работающий охранником в ресторане суши, говорит главному герою нечто подобное. Что ему стыдно, что его товарищи едут на войну, а он прозябает здесь. И пытается оправдаться тем, что у него семья, ипотека...

Тут как раз приходит сообщение, что в Сирии турки сбили наш военный самолет, и главный герой, сменщик этого бывшего офицера, прокручивает в памяти, как там всё начиналось в Крыму, Донбассе, Сирии, вспоминает, какие звучали лозунги...

Не буду оправдываться, говорить о том, что цитаты вырваны из контекста. Хочу задать вопросы: право ли Госкомтелерадио Украины, что запрещает к ввозу для продажи (частным лицам, говорят, можно ввозить практически любую литературу до 10 экземпляров) книги, где упоминаются Крым, Новороссия, слова российских политиков, не обращая внимания на то, в каком контексте они звучат? И как вести себя российским литераторам, пишущим о современной жизни, которая все-таки пропитана и Крымом, и Новороссией с Донбассом, и телевизором, из которого звучат разнообразные призывы и лозунги?

Многие наши литераторы, вижу, современную жизнь словно бы перестали замечать. По крайней мере в своих текстах. Ушли в прошлое, будущее, в глубокий внутренний мир своих персонажей, где одно вневременное и вечное... Может, поэтому и не замечают, чтоб никого не раздражать, никуда не вляпаться?

За бортом словесности

Довольно долго не мог определиться, под какую рубрику поместить этот текст. Вообще с драматургией нынче всё очень непросто, да и печально, если говорить начистоту.

Театров тысячи, в них каждый день что-то играют. Порой очень хорошие спектакли по прекрасным пьесам. Но сами пьесы не то чтобы

не найти, чтоб прочитать, а и желания прочитать у абсолютного большинства людей не возникает. Погибла эта традиция – читать пьесы.

На днях посмотрел спектакль «Летели качели» по пьесе относительно еще молодого драматурга Константина Стешика. Спектакль сильный, сюжет хоть и не закрученный – и это хорошо, – но жизненный, очень многим моим сверстникам и людям немного младше (в общем, тем, кому от почти пятидесяти до примерно тридцати пяти) близкий. Рассказывать, о чем «Летели качели» – не буду. Одна из задач моей заметки – это побудить читать пьесы.

Я нашел пьесы Константина Стешика, прочитал. Без труда, как хорошую прозу, построенную на диалогах. И в очередной раз задумался, почему нынче – вернее, последние лет тридцать уже – драматургия находится за бортом русской словесности.

Ведь начиналась-то наша литература, по сути, с драматургии. Сумароков, Фонвизин, Крылов... Поэзия еще была смешная, проза – в зачаточном состоянии, а драматургия более или менее сформировавшаяся. Ну, это понятно, и любой культуролог скажет, что ничего удивительного в этом нет.

Но и во времена расцвета поэзии, прозы драматургия оставалась у наших писателей да и читателей, более чем востребованной. Создавали пьесы и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов. И так далее, и так далее. Даже Лев Толстой, как известно, относившийся к театру не очень хорошо, писал пьесы.

По сути-то, чистым драматургом был в то время лишь Александр Островский. Основную же массу пьес – извините за выражение – составляли прозаики и поэты.

Русские писатели советского периода тоже не забывали о драматургии. Не буду приводить фамилии, потому что практически любой прозаик или поэт оставил нам если и не ряд широко ставившихся тогда на сцене драматических произведений, то пробовали себя в драматургии на протяжении почти всей творческой жизни.

Многие нынешние прозаики и поэты, видимо, о драматургии и не слыхивали. Этот вид литературы ушел куда-то далеко-далеко... Пьесы в толстых журналах практически не печатают, свой журнал драматургов – «Современная драматургия» – существует как-то подпольно, да и, кажется, вот-вот закроется.

Драматурги становятся какими-то ремесленниками, мастерами заготовки для спектаклей по требованию режиссеров, сами режиссеры на собственно пьесы внимания почти не обращают, предпочитая прозу, для чего опять же драматурги вынуждены делать инсценировки, вычищая из прозы собственно прозу и оставляя фрагменты диалогов, усиливая динамику действие. Прозаики же, не пробуя писать пьесы, избегают прямой речи, не умеют писать диалогов. А читатель не знает уже, что пьесы можно читать...

Такой вот, по моему мнению, получается печальный клубок.

В кои веки про жизнь

На излете проката фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» сходил в кинотеатр. Посмотрел. Знаю, что фильм этот буду помнить долго. Носить в себе.

В кои веки увидел про жизнь... Ну, ни в кои веки, конечно, но все же. В любом случае редкое явление.

Наверняка и в Америке, и в Европе, да повсюду на свете снимается предостаточно честных, реалистических фильмов. Вот только на экранах кинотеатров их найти очень сложно. Процентом 95, а то и 99 отдано разнообразной дорогостоящей, эффектной галиматье.

Нет, фантастика, ужастики, боевики, сказки (для взрослых в данном случае) нужны. Но они должны – да, должны – быть чем-то вроде или пряности, или десерта. А не основным блюдом. Не знаю, как там за рубежом, а у нас последние десятилетия эти жанры являются основным блюдом. Впрочем, судя по номинациям на разные кинопремии, рейтинги и тому подобное, и за пределами России ситуация та же.

Какой российский фильм прошлого года про реальную жизнь могу вспомнить без усилия? Пожалуй, только «Аритмию» Бориса Хлебникова. С усилием – «Нелюбовь» Звягинцева... Пожалуй, всё. Кто-то, может, дополнит, напомнит. Но вряд ли список будет слишком длинный.

Какие зарубежные фильмы вспоминаются? Тут впору считать пятилетками... «Август. Графство Осейдж», «Бёрдмэн»... Ну и вот «Три билборда...»

«Три билборда...» – по-настоящему авторское кино, пробившееся на мировой рынок. Нечастый случай нынче. Автор сценария и режиссер Мартин Макдонах. Отличный ирландский драматург, ушедший в кинематограф.

Не читал интервью с ним, но смею предположить, что ради этого фильма он в кинематограф и ушел. Добился известности как автор фильмов про бандитов, а теперь, обретя имя, снял про реальную жизнь, проблемы, которые если и не касаются напрямую, то волнуют очень многих. Кассовые сборы тому подтверждение: бюджет фильма, если верить «Википедии», 12 миллионов долларов, а сборы – 134 миллиона. Причем никаких умопомрачительных спецэффектов, закрученного сюжета... Впечатляющий пожар в полицейском участке и то кажется излишним. Необязательно было его устраивать в кадре...

Опять же не знаю как там за рубежом, но в России в последнее время снова стали ругать литературу, драматургию, кинематограф за негатив. Можно снимать километры криминальных сериалов, где будут убивать, убивать и убивать картонных жертв или злодеев, но вот показать трагедию реального человека или семьи, – это опасно.

В конце концов мы вообще можем оказаться в мире сплошных мультиков и случающиеся у нас проблемы, душевные переживания будут казаться нам некоей патологией. И ни в книгах, ни в кино мы не сможем найти не то что ответов, но и подтверждения того, что у других людей бывает то же самое.

О писательских резиденциях

Нахожусь в Казани. Третий день. Впереди еще почти неделя. Впервые приглашен в так называемую творческую резиденцию. Мне предоставлено жилище (очень, скажу вам, уютная и просторная квартира), выданы деньги на еду. Предусмотрена одна встреча с читателями, а остальное время я свободен – гуляй по городу, пиши, читай...

О творческих резиденциях я слышал давно. Но все они – до последнего времени – находились за рубежами России. В Швеции, Бельгии,

Франции, США. За границу меня не особо тянет, а вот пожить в разных городах родной страны хотелось давно.

Я много езжу как литератор. Побывал и в Норильске, во Владивостоке, Воронеже, Архангельске, Калининграде, Березниках, Сыктывкаре, Иркутске... Но все эти поездки, во-первых, короткие, а во-вторых, насыщены встречами, круглыми столами и так далее. Иногда ощущаешь себя спортсменом или артистом – они часто признаются, что городов, в которых бывают, почти не видят. Выступят и уезжают. Так же и литераторы.

Когда-то, в мифическое уже советское время, говорят, член Союза писателей мог взять творческую командировку, получить в каком-нибудь журнале или газете аванс (приличную сумму) под будущую повесть или очерк и уехать далеко-далеко от Москвы, пожить там месяц-другой. Можно было и повесть с очерком не писать – прощалось. Не пришло вдохновение, что ж делать...

Теперь литератор привязан к тому месту, где живет. Более-менее известным предлагают время от времени съездить туда-то или туда-то на два-три дня. Но что узнаешь за эти два-три дня? Из аэропорта или вокзала в гостиницу, из гостиницы на встречу, потом в музей, из музея в театр или на фуршет... Сюжет найти практически невозможно.

А начинающий литератор, скажем, из Москвы вообще, получается, заперт в Москве. Новых Братских ГЭС, БАМов, Талнахов нет, никуда его не зовут. Вот он и пишет о своем московском круге или же очень быстро бросает писать, уходит в редакторы на ТВ, в гляцевые журналы... Из моих однокурсников по Литинституту никто из ребят и девушек из Москвы не стал писателем. Хотя талантливые были практически все. Просто не о чем было писать. Написали по пять-десять рассказов о своем переходе из отрочества в юность – и всё. Дальше никакой пищи для прозы.

Конечно, можно говорить, что для того, чтоб найти тему, сюжет, не нужны резиденции и творческие командировки. Душно и пусто в том месте, где живешь, – возьми и сам, как простой человек, поезжай в другое место. Иди «от деревни к деревне», как Юрий Казаков, завербуйся на рыболовецкое судно или в бригаду строителей, геологическую партию... Но на практике такое бывает исключительно редко. Особенно теперь.

(Да и Юрий Казаков впервые приехал на Север в творческую командировку от журнала «Знамя».)

В Казани совсем недавно открылась чуть ли не первая творческая резиденция в России. Знаю еще про Коломну со слов Дмитрия Данилова, смутно слышал о резиденциях в Архангельске, Петрозаводске, Петербурге.

Не знаю, напишу ли рассказ, в котором действие происходит в Казани. Но в любом случае я открыл для себя еще один город России, и Казань теперь не кружок на карте, а нечто живое, со своим лицом, своим дыханием, запахом. Мог бы пожить здесь и месяц, но не могу. Я хоть и официально неработающий, но работы хватает...

Я рад, что я здесь в таком качестве – свободного человека, который может распоряжаться временем. Не торопиться, присматриваться, отмечать, запоминать. Медленно хожу по улочкам старых районов Казани и чуть ли не впервые испытываю чувство, что я все-таки писатель. Пишущий человек. И вот оказался здесь с некой миссией.

Может, я оболыщаюсь.

Литература прямого действия

В очередной раз перечитал рассказ Владимира Тендрякова «Ухабы». Это произведение, замечая, становится одним из самых моих любимых. Нет, неточное определение – «любимых»... Одно из самых важных, что ли.

Нынче практически каждый писатель еще и журналист, колумнист и тому подобный. В статьях и колонках он рассуждает об общественных, политических проблемах, о реалиях сегодняшней жизни, а в прозе словно бы отдыхает: фантазирует, погружается или в отдаленное прошлое, или в неизведанное будущее.

Наверное, многие согласятся, что проза о современности в нашей литературе очень скудная.

Рассказ «Ухабы» – из ранних произведений Тендрякова, полузабытого ныне писателя второй половины прошлого века. Писателя русского и советского. Советского в хорошем смысле этого слова. По крайней мере – для меня.

Тендряков не писал вирши о вождях, не призывал ехать перекрывать реки плотинами, не воспевал великие стройки, не славил чекистов, но и не был диссидентом. Кажется, верил в социализм, пытался его построить. Пример тому как раз «Ухабы». Литература – именно художественная литература, а не публицистика – прямого действия.

Не буду пересказывать сюжет. Книги Тендрякова переиздаются теперь редко, но рассказ довольно легко найти в интернете. Советую прочитать и – или согласиться со мной, или поспорить. Такая литература, по-моему, необходима. Она действенна.

Впервые «Ухабы» были опубликованы в 1956 году в не очень-то популярном тогда «Нашем современнике». Государство вполне могло сделать вид, что не заметило этот рассказ, включая его тихо-мирно в дальнейшие сборники Тендрякова. Но «Ухабы» были изданы миллионным тиражом, по всей стране проходили обсуждения этого рассказа. И наверняка в случаях, происходящих в действительности, в жизни, подобных описанному в «Ухабах», многие потрясали этим рассказом, как документом, как последним, неоспоримым, доводом. И спасали реальные жизни реальных людей.

К чему приведет безгонорарье журналов?

На днях убедился, что еще два именитых московских – а вернее, общероссийского масштаба – толстых журнала перестали платить гонорары. Слышал об этом, но не хотел верить. Убедился, обратившись с вопросом после публикации рассказов: а как с гонораром? Мне ответили: к сожалению, гонорары больше не платим. Ни копейки.

С одной стороны, гонорары давно уже были символические – только отметить публикацию. Да и то не в ресторане в компании друзей (а говорят, когда-то это было принято, и в ЦДЛ существовала целая очередь для такого рода торжеств), а так – одному или с семьей, купив на выданные в редакции денежки бутылочку, необычный для стола кусочек семги, оливки, еще чего-нибудь типа того...

Но теперь нет и символической суммы. Хорошо, если выдадут авторский экземпляр журнала с твоей публикацией.

Журналы существуют, выходят. Многие уже не имея помещений для редакций, а члены редакций не получая зарплат. Слухи о том, что тот или иной журнал погиб, закрывается, каждый раз не подтверждаются. Наверное, к счастью. Так или иначе, но толстые литературные журналы – это фундамент русской литературы. Впрочем, фундамент этот буквально в последние годы стал крошиться и трескаться особенно сильно.

Толстые журналы есть не только в Москве и Петербурге. И в так называемой провинции положение их несколько лучше – там большинство из них стали чуть ли не брендами, культурным достоянием городов. Местные власти прописывают в бюджете отдельные статьи на финансирование журналов. Статьи наверняка не жирные, но тем не менее.

И авторы, естественно, все пристальнее смотрят на Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. Все-таки писательство для многих является в том числе и профессией, а профессия должна подразумевать заработок. Людмила Улицкая, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Борис Акунин, Виктор Пелевин и многие-многие другие успешные и популярные давно не появляются на страницах толстяков (или появляются крайне редко) наверняка потому, что не получают там тех денег, которые считают уместными за свою писательскую работу. А теперь, видимо, и никаких не получают. И они относят свои рукописи в издательства.

Достаточно посмотреть содержание номеров толстых журналов за последние два-три года, чтобы убедиться, что литераторов «с именем» там все меньше и меньше. Традиция публикации в журнале, а потом издания книги уходит в прошлое. Да практически уже ушла.

К чему это приведет? Надеюсь, толстяки в Москве и Питере продолжат существовать. Может быть, случится чудо, и их возьмут под крыло или федеральные власти, или городские. Появится возможность вновь набрать корректоров, призвать редакторов, возродить гонорары, вернуть авторов. Но в чудо верится с огромным трудом. Много лет идут переговоры о настоящей и стабильной помощи журналам, но дело ограничивается разовыми грантами...

Можно утверждать, что помощь журналам от государства не нужна, что это советский пережиток, вспомнить, что до революции журналы были частным делом, и это было правильно. Наверное, эти утверждения будут верными. Но сегодня журналы без помощи государства или какого-нибудь сказочного миллиардера-мецената не выживут. Популярность им можно вернуть, но для этого, как ни меркантильно и цинично это звучит, нужны деньги. Большие.

Представим, что новый роман Пелевина или Улицкой выходит не в издательстве, а в «Знамени» или «Новом мире». Электронной – бесплатной, как сейчас – версии у журнала нет. Вернее, она платная. Естественно, несколько тысяч читателей бросятся покупать журнал. В следующих номерах публикуются роман Прилепина (надеюсь, в литературу он вернется) или Гузели Яхиной, или Водолазкина, или Дины Рубиной... И читатель знает, что в ближайший год или три года он нигде эти романы не прочтет, кроме как в журналах. Авторские права принадлежат журналам.

Это, конечно, утопия. Но так было до революции. И номера с «Анной Карениной», «Преступлением и наказанием», повестями Чехова, рассказами Андреева раскупались, мягко говоря, активно. Заодно читатель знакомился с помещенными в том же номере стихотворениями, критикой, публицистикой.

Что особенно тревожно, так это судьба литературной критики, так называемой толстожурнальной критики. Большие аналитические и обзорные статьи стали было возвращаться во второй половине нулевых благодаря толстым журналам, но затем вновь зачихали. Критик, в отличие от прозаика (да и поэта), не может понести свои вещи в издательство – издание книг критики факт из ряда вон выходящий ныне. Площадкой критика был толстый журнал. Но писать бесплатно или почти бесплатно огромную и сложную статью – дело настоящего героя. Впрочем, герою тоже нужно пропитание, а оно даром не дается.

Толстые журналы открывают в последние годы немало новых имен. Если не читателям открывают, то издателям. Но это до той поры, пока новые имена будут появляться рядом с более или менее известными, пока будут сохраняться остатки толстожурнальной школы редакторства, корректуры, пока будет сохраняться довольно высокая планка отобранных для публикации рукописей. Но это скоро закончится. К огромному сожалению.

Или не закончится?

Герои и прототипы

Посмотрел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. Случилось это в городе Новороссийске. Сеанс был ночной, и нас в зале было три человека: мы с женой и какой-то парень с большим рюкзаком и туристическим ковриком... Можно было решить, что в полночь Новороссийск уже весь спит, но соседний кинозал вошло человек двадцать. На «Мир Юрского периода 2».

Скажу примитивно: фильм мне понравился. Конечно, можно приводить множество «но», но – понравился. Настоящий кинематограф.

Еще во время съемок началась критика, возникли споры, чуть ли не скандалы. Борис Гребенщиков настоятельно попросил не упоминать в фильме свои имя и фамилию (он проходит в «Лете» как Боб), не включать песни, Алексей Рыбин, ближайший соратник Виктора Цоя 1981–1982 годов, прочитав сценарий, запретил выводить себя в фильме, поэтому вместо него появился персонаж по имени Леонид. Негативно отозвался о сценарии и звукорежиссер многих магнитоальбомов ленинградских рок-групп первой половины 80-х Андрей Тропилло...

Короче говоря, большинство живых прототипов встретили «Лето» еще на стадии сценария.

Я сценарий не читал. Может быть, в процессе съемок и под влиянием критических отзывов были внесены изменения. Но в фильме неточностей и натяжек предостаточно. Это очевидно мне, заставшему лишь глубокую осень ленинградского рока, знающему детали – часть деталей – по воспоминаниям участников тех событий. Для самих же участников наверняка очень многое представляется или враньем, или прямым оскорблением непосредственно их.

Самое вопиющее, это нечто вроде любовного треугольника Майк Науменко – его жена Наталья – Виктор Цой. Детали раскрывать не хочу, но есть достаточно смешной момент: Наталья признается мужу, что «хочет поцеловать Цоя», и Майк отвечает, что не придет сегодня ночевать, и их комната в распоряжении Натальи и Цоя. Наталья соблазняет Виктора (тут же маленький сын Натальи и Майка), но доходит

только до поцелуя, а потом Цой уходит. Они, что называется, остаются друзьями. Майк же мучается под дождем, потом идет к Бобу и рассказывает, какой талантливый Цой и нужно срочно записать его песни.

Науменко, особенно в те годы – начало 80-х, – был альтруистом и подвижником, во многом благодаря ему ленинградский рок стал столь многообразным – от «Автоматических удовлетворителей» до «Секрета», но, как говорится, не до такой степени. Не до того, чтобы уступить свою жену...

Скорее всего, личным оскорблением посчитал своего персонажа Борис Гребенщиков. Ведь это он в первую очередь опекал Цоя, стал инициатором создания дебютного альбома «Кино». А создатели фильма его мысли и слова: что нужно срочно записать песни Цоя, вложили в уста Науменко. Естественно Борис Борисович разгневался.

Но – стоп! Это я себя останавливаю. Я собирался написать не критический, историографический разбор фильма, не рецензию. Я о проблеме прототипов и героев.

Так случилось, что практически одновременно с выходом фильма опубликован мой рассказ «Аркаша» (журнал «Новый мир», № 6), в числе героев которого тоже Майк, Цой и Андрей Панов (Свин), выведенный в «Лете» под кличкой «Панк».

Тот, кто знаком с работой толстых журналов, знает, что от подачи рукописи в редакцию до публикации (если до нее доходит) достаточно большой временной интервал. Несколько месяцев. А рассказ я задумал лет пять назад, когда прочитал, что Аркадий Северный и группа «Россияне» в 1979 году сделали совместную запись. Она, кажется, не сохранилась, воспоминания участников и очевидцев туманны – плавают месяца, место записи, люди, которые находились в помещении красного уголка... Но сам факт того, что Аркадий Северный, оставшийся для большинства исполнителем в первую очередь блатного фольклора, и самая, пожалуй, интеллигентная в тот период ленинградская рок-группа пересеклись, меня очень заинтересовал.

Вообще в отличие, скажем, от Высоцкого, Северного в ленинградской рок-среде в основном уважали. Это объясняется, наверное, тем, что его любил Майк Науменко, пел несколько песен из репертуара Северного, сочинил балладу в духе блатного фольклора, и осталась запись ее исполнения на совместном с Цоем квартирнике. Интересно, что остался записанным кусок песни «Анаша», которую поет Цой, а эта песня тоже «из Северного», сохранилась песня самого Цоя «Атаман», напоминающая «белогвардейские» и «анархистские» песни, которые исполнял Аркадий Северный, у группы «Автоматические удовлетворители», лидером которой был Панов (Свин), есть две-три песни, которые напоминают все те же песни Северного (сам он, отмечу, песен почти не писал) и выбиваются из репертуара «АУ».

И вот я решил пофантазировать: Майк Науменко узнает, что будет запись «Россиян» (а в 1979 году андеграундные студии еще в Ленинграде не возникли) и приходит посмотреть, как устроен этот процесс, вместе с юными Пановым и Цоем. Те – панки – поначалу морщатся и от «Россиян», и от Аркадия Северного, но позже оказывается, что полуалкаш со скрипучим голосом, его монолог о жизни поющего человека – человека без квартиры, без паспорта, без надежд на большую сцену – очень сильно влияют на судьбу и Цоя, и Свина, и Майка...

Толчком для написания «Аркаши» стали перемены в моей личной жизни в начале 2017-го.

Перед тем как начать рассказ, я долго мучился вопросом имен персонажей. Выводить действующих лиц под своими именами – значит искривлять прошлое. Ведь 99,9 процента, что ни один из трех не присутствовал при записи «Россиян» с Северным, да и наверняка ни Майк, ни Панов, ни Цой никогда не видели Северного. С другой стороны, тот же Майк породил по крайней мере два мифа о Северном, которые я сейчас пересказывать не буду, они упоминаются в «Аркаше».

Я решил незамысловато переименовать героев – Аркадия Северного сделать Антоном Петроградским, Майка Науменко Ником Потапенко, Виктора Цоя Виталием Кимом. Набросал даже вариации песен. Но рассказ в таком виде писаться не стал, оказалось, что нужны подлинные имена даже второстепенных персонажей, цитаты из песен, которые действительно исполнялись.

Так же и в «Лете». Все бы мы – кто заинтересовался этим фильмом – без труда узнали бы, кто скрыт за прозрачными псевдонимами, угадали бы, что за песня положена в основу того или иного трека. Но вряд ли это нас бы удовлетворило. Как не удовлетворило и отступление от документальной правды для достижения художественных целей, обострения сюжета, обозначения конфликта.

Персонаж и прототип всегда будут в конфликте между собой. Так я считаю. Может, у кого-то есть другое мнение...

Трагедия выживших, но не изживших

На днях посмотрел спектакль «Чудный день, чтоб сдохнуть» по пьесе словенского драматурга и сценариста Винко Модерндорфера. Там про далеко не молодую панкушку, которая изо всех сил пытается жить так, как жила в молодости. То есть – панковать.

Ее навещает дочь. Взрослая, лет двадцати. Она воспитывалась в отрыве от матери – та не то чтобы бросила ее, но дочку у нее практически отобрали. Асоциальный образ жизни и все такое...

Дочь тихая, примерная. Пытается вытащить мать из той ямы, в какой та, по ее мнению, находится. Убраться в квартире, найти матери нормальную работу. Мать принимает это в штыки, чуть ли не гонит дочь... Потом дочь приносит матери пива на опохмелку, слушает ее рассказы о тусовках, поездках, концертах.

Дочь ждет ребенка. Рожает. Мать с женихом не знакомит, нянчиться с сыном не дает. А в последнем действии приходит к матери, которая уже сбросила свой панковский прикид, готова стать примерной бабушкой, без ребенка. Дочь признается, что родила непонятно от кого, цветов на выходе из роддома не было, и начинает завидовать матери, у которой получилась такая интересная юность. Мать сначала поражена этим признанием, а потом радуется.

Мать и дочь выбрасывают в окно диван, символизирующий мещанство (а так как пьеса европейская, то, видимо, бюргерство), и планируют жить на всю катушку, к тому же вместе с сыном-внуком, которого дочь обещает привести сюда...

Признаюсь, пьесу я не нашел. Сужу по спектаклю. Это трагедия. Нет, никто не умирает, но выхода из той ситуации, в какой оказываются мать и дочь, – не видно. И я не могу пофантазировать их дальнейшую жизнь.

Мать, выжившая в бурной панковской юности, но не пережившая это увлечение. Оно стало ее образом жизни, мышлением, целью.

Протест пятнадцатилетней сохранился и у сорокалетней. За ней потянулась и дочь, которая наверняка погибнет раньше матери. Мать-то уже укоренилась в своем мире, а дочь – неофитка. К тому же слишком взрослая для панкования...

Вспоминается пьеса белорусского драматурга Константина Стешика «Летели качели». Герой – взрослый мужчина, оставшийся в мире, который открыли ему песни «Гражданской обороны». Тоже трагический типаж. Знаю таких предостаточно – в девятнадцать лет не покончивших с собой, «чтоб стало легко», и мучающихся до сих пор. И мучающих других.

Вообще это интересная тема – не изжившие свою неформатскую юность люди. Им, подросткам 80-х, сегодня за сорок. Как они существуют? Как мирятся с действительностью?.. Необходимо об этом писать.

Писателю нужно подставляться

Помню, как уж лет пятнадцать назад на меня набросились критики за рассказ «Чужой». Там о молодом, но уже испытывавшем признаки известности писателе, который приехал к родителям, живущим в райцентре. И вот он смотрит на земляков с таким презрением и жалостью, хмыкает, делится с родителями впечатлениями. И удивляется, что родители его осуждают.

Рассказ был написан от первого лица, героя, кажется, звали так же, как и автора, и критики стали ругать не героя, а меня, автора. Типа того, что Сенчин не стесняется публиковать свои антинародные мысли. Заступилась за меня, кажется, одна только Ирина Бенционовна Роднянская, написавшая, что автор намеренно «подставляется» – «моралистически», – это художественный прием.

Когда я читал гневные рецензии на своего «Чужого», я радовался бурной, хоть и негативной реакции, думал: правильно, я и добивался того, чтоб вы позлились. Но прошло время, и заметил, что подставляться мне стало как-то даже боязно. Я не маргинал вроде Селина, Миллера, Лимонова, эпатировать в тридцать пять лет уже вроде как моветон... Я стал все реже использовать первое лицо, старался – сейчас понимаю, что неосознанно – не ставить героев в очень уж щекотливые ситуации, не давать им разгуляться в мыслях.

На днях я прочитал два рассказа, которые и заставили меня сесть за эту заметку, вспомнить историю с «Чужим», задуматься о том, что я писал когда-то и что пишу сейчас.

Это рассказы Владимира Солоухина «Комбинированный вагон» и «На степной реке» из двухтомника, изданного в 1974 году. Рассказы удивительные по авторскому бесстрашию подставиться. (Там есть и еще несколько подобных, но эти, на мой взгляд, самые яркие.)

Не стану пересказывать сюжет. Кто заинтересуется, тот найдет без труда и прочтает. Солоухин хоть и полузабыт нынче, но и бумажных книг в библиотеках полно, и в интернете почти все им написанное есть.

Поразительно, как Солоухину позволялось публиковать много того, что не позволялось многим другим. И здесь я имею в виду не столько темы, критику многочисленных недостатков, а так называемого лирического героя, которого зачастую зовут так же, как и автора – Володя, Владимир. И писал Солоухин почти всегда от первого лица.

Вот концовка «Комбинированного вагона». Герой то ли журналист, то ли писатель, которому нужно срочно поехать на поезде в другой город, и он не успевает обратиться в своем учреждении за блатным билетиком в купе или СВ. И вынужден ехать в комбинированном – попросту в общем. Впрочем, по стечению обстоятельств и благодаря усилиям героя начальник поезда переводит его в мягкий вагон.

И – последний абзац:

«Через полчаса, выпив наконец долгожданную кружку пива и пожелав соседу в полосатой пижаме спокойной ночи, я спокойно засыпал в чистых простынях, на мягкой, приятно пружинящей постели. Я не вспоминал о том, что в этом же, в нашем составе трясется так называемый “комбинированный”, с бабкой, свернувшейся калачиком, с желтыми ногами, загородившими проход, с девушкой в красном байковом халатике, с демобилизованным парнем, с женщиной, кормящей сынишку из мягкой голубоватой груди...»

Первая реакция читателя: ах ты, такой-сякой, устроился и вспоминаешь! Начинаешь осуждать слившегося воедино автора и героя. И лишь потом понимаешь, что все он вспоминает и страдает, но чтобы рассказ стал по-настоящему сильным, он пишет, что не вспоминает. Что ему прекрасно в чистых простынях и после кружки пива.

Напиши Солоухин этот рассказ от третьего лица, получилось бы этакое нравоучение, обличение, а так это, на мой взгляд, настоящее произведение искусства.

То же самое и с рассказом «На степной реке».

Это редкие примеры такого рода. Подставляться абсолютное большинство писателей боится. А подставляться нужно. Иначе выходит преснятина, а то и самолюбование. Вот я какой правильный автор, зато герой мой мерзавец и подлец. Но между нами ничего общего. Ни-ни!

Не совсем, но подолгу

В Сростках на двери летней кухне дома, где жила мать Василия Шукшина, есть бумажка с цитатой из шукшинского письма: «...лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так...»

Вот это «не совсем» меня зацепило. Очень точно Шукшин выразил в словах, непредусмотренных для печати, не для посторонних глаз эту мысль: писать и жить лучше дома, но не все время.

Находясь постоянно в одном месте, перестаешь замечать окружающее. Воспринимаешь его как само собой разумеющееся. Но приезжая пусть не на родину (не в ту точку, где именно родился), а в то место, которое считаешь домом, пусть не на год, но на месяц-полтора-два довольно часто, получается увидеть больше, заметить множество важных деталей.

По сути, те, кто стал классиками деревенской прозы, рано ушли из дому. Кто – учиться в старшие классы или в техникум, институт, кто – работать, кого увезли из родных мест. Но почти все очень часто возвращались домой, черпали оттуда темы для прозы, героев, язык. Это и Абрамов, и Распутин, и Шукшин, и Белов, и Евгений Носов, и Солоухин, Тендряков, Можаяев. Уже почти стариком вернулся в родное село Астафьев, обрел свой дом на родине предков Борис Екимов.

Но и Астафьев не жил в Овсянке постоянно, и Борис Екимов не все время проводит в Задонье. Это можно объяснить скорее не тягой

к городской, благоустроенной жизни, а потребностью писателя на некоторое время отстраниться, посмотреть на «дом» издали или вовсе не смотреть, чтобы преобразить в художественное произведение увиденное ранее.

С другой стороны, Шолохов (фигура, конечно, загадочная), укоренившись в «доме» – станице Вешенской – в конце 50-х, после этого почти ничего не создал.

Я бываю дома – в деревне у родителей – раза два-три в год. Летом – по месяцу-полтора. Понимаю, что за это время увидеть и понять получается мало что, но чувствую, что взгляд мой притупляется, дела и заботы становятся обыденными, которые вроде и не стоит описывать. Но после отъезда они вновь обретают значимость и ценность. Поэтому хоть часто и тянет в квартире на высоком этаже уехать, поселиться в родных краях, на земле, но ясно, что насовсем возвращаться не стоит. По крайней мере – пока.

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, работал полевым зоологом на биостанции, затем охотником в селе Бахта, где и живет по сию пору. В 1991 году окончил Литинститут им. А.М. Горького.

Автор книг стихов и прозы, публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и других. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», литературных премий Белкина, «Ясная Поляна» и других.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА ЕНИСЕЙСКА

«Город ране в Енисейске был», – говорил мой сосед дядя Гриша, Григорий Трофимович Попов, матёрый старик, сроднившийся с Енисеем и сибирской стариной до такой степени, что, казалось, оторви его хоть на минуту, погибнет от голода и удушья. «Город ране в Енисейске был...» В этой фразе заключается судьба старинных сибирских городов, которые, будучи во времена освоения Сибири опорными и центральными, к двадцатому веку оказались в стороне и уступили ношу столичности Красноярску и Новосибирску. Город Енисейск основали на левом берегу Енисея в полусотне километров ниже устья Ангары в 1619 году тобольские казаки во главе с Максимом Трубчаниновым. «...Пошли за волок в тынгусы и Тынгуской острог... ставили».

В одно из десятилетий восемнадцатого века (с 1730 по 1740 год) сюда из Тобольска ходило более двух десятков тридцатитонных судов. В ту же пору здесь проходила ярмарка с пушным отделом – самым большим в Сибири. Суда шли с Оби по Кети до острога Маковский, а дальше до Енисейска на лошадях, или, как говорят в Сибири, на ко́нях.

До конца восемнадцатого века путь из Томска на Иркутск проходил именно через Енисейск, но после обустройства нового Сибирского тракта через Красноярск началось угасание этого важнейшего городка. Его судьба лишь отчасти сходна с судьбой Томска, минуя который в 1893–1896 годах, прошёл Транссиб. Именно железная дорога превратила малоизвестный Новониколаевск в столичный Новосибирск и лишила Томска центральной роли. Но если этот первый в Сибири университетский город лишь несколько померк перед гигантским

Новосибирском, то с ростом Красноярска Енисейск свою роль утратил убийственно.

Когда я впервые здесь по молодости оказался, то и значения-то не придавал этому городку, такому заштатному по сравнению и с Красноярском, и с Абаканом. Я ничего о нём не знал и проникся его духом, только когда стал бывать и интересоваться историей. Оказалось, что в Енисейске служил рядовым казаком Семён Дежнев. Именно енисейские казаки основали Красноярск, Якутск, Иркутск, Нерчинск. Енисейск стоял на перекрестье путей и, как канаты, держал в трудовых руках связи с огромным Енисеем, Ангарой и Леной, собирая ясак с кетских и тунгусских племен и служа перевалочной базой. В 1642 году здесь был возведён Спасо-Преображенский монастырь. К концу XVII века Енисейск стал в Сибири вторым после Тобольска центром ремёсел и торговли. Через Енисейск пролегали торговые пути на Тобольск и Москву, на восток и юг Сибири, на Амур и в Китай.

Енисейск сохранил облик сибирского города XVIII–XIX вв., по сути являясь музеем под открытым небом, но экспонаты находятся в таком удручающем состоянии, что сердце обливается кровью. Нигде не испытываешь такого чувства запустения и такой любви ко всему уходящему, как в этом тихом городке, поражающим количеством старинных домов и домишек с удивительными наличниками – их очертания необыкновенно плавны, а узоры-завитки с глазками придают зрячее выражение. Купеческие дома, деревянные, каменные, каменно-деревянные с несусветными ажурными угловыми верандами на втором этаже, храмы, восстановленные и нуждающиеся в восстановлении, покосившиеся, уходящие в землю избы с наличниками и ставнями, потемневшие от времени заборы... Вольно разросшиеся тополя. Полузаросшие травой могильные плиты в Спасо-Преображенском монастыре. И ты... Со всем этим один на один. С глаза на глаз с бессонно текущим в душу потоком родной земли. Со страдание к ней. Ощущение ушедшего времени, разрывающий сердце взор старины и контраст с тем, что испытываешь в сияющих исторических центрах более везучих городов. И мысль: ну почему, несмотря на утрату столичности, нельзя заняться сохранением архитектурного наследия, как это делается в Тобольске, который хоть и тоже в стороне, но несравненно ухоженной Енисейска, в чём во многом заслуга Аркадия Елфимова, мецената и знаменитого собирателя Русского мира. Но Енисейск история особая, и я уверен, что его рвущая душу запущенность зачем-то нам дана – наверное, чтобы открыть в себе самый пронзительный род любви.

В Енисейске в Спасо-Преображенском монастыре долгое время жил замечательный человек отец Севастьян, настоящий старец наших дней, единственный во всей епархии совершавший чин отчитки. К нему ехали со всей Сибири. Теперь он в том самом Маковском, через который шла связь с Тобольском. А в Енисейск приезжают молиться, думать, писать картины. Видно, место такое.

Мне всегда была близка и понятна параллель человек–страна, человек–город. Она казалась мне ключом к пониманию отношений между человеком и его землёй, хорошо объясняющим и укладывающим в душе отношение к нашей истории и пространству. Когда отождествляешь эти понятия с человеком, то становится очевидной неделимость Русского мира. Ведь не отрежешь себе часть туловища, ногу, кусок головы. Город, городок, деревня так же болят и выздоравливают, рождаются и клонятся к закату, оставляя детей в надежде на продолжение

жизни. Страна так же, как и человек, испытывает рост и внутреннюю распря – гражданскую войну, так же бьётся с недугами и недругами, защищая свой очаг.

Мы привыкли рассматривать Русский мир в защитном противостоянии агрессивным цивилизациям, забывая, что порой и смыслы внутри нашего мира меняют пути, и упадок и разрушение вызываются изменением географии жизни и передвижения.

Обо всём этом я думал прохладным осенним днём, двигаясь по трассе Красноярск–Енисейск. Дорога становилась всё задумчивей, асфальт старее, кое-где прерываясь бетонкой, ритмично отдающей в колёса, а редующие посёлки и редкие машины усиливали отрешающее ощущение от этого пути на север. Чем ближе был Енисейск, тем сильнее я волновался – каждая встреча с этим городом особый разговор. Особое усилие и особый вопрос: долго ли город-музей будто погружаться в прошлое, несмотря на обращение в ЮНЕСКО взять его на поруки? И не позорище ли такие обращения, отдающие признанием собственного бессилия? И что будет, когда сменятся поколения и встанет вопрос: кому принять на плечи ношу этого города, понести его образ дальше? Найдётся ли вообще кто-то раненный этим образом?

Уже шли подступы к Енисейску и тянулся промышленный Лесосибирск, который давно перерос Енисейск со своими лесоперерабатывающими предприятиями и огромным речным портом. С самым большим к востоку от Урала Крестовоздвиженским красавцем-собором, построенным в наши дни и архитектурно напоминающим собор Василия Блаженного. И ещё с одним строящимся храмом. Всё это я видел много раз, но, повторяюсь, ехал в Енисейск с новым ощущением. В моих глазах стояли картины молодой красноярской художницы Евгении Аблязовой.

Евгения – я знаю её не первый год и зову Женя – настоящая гордость нашего края, она, конечно же, член Союза художников России, участница многих выставок и представляла свою живопись, участвуя в международных пленэрах в Сирии и Италии. Женя занимается ещё и преподаванием.

Енисейск – Женина тема. Я давно не видел картин, в которых было бы столько материнской заботы к тому, что любишь и хочешь спасти. Под впечатлением от них я записал интервью с Женей и теперь вместо музыки в машине звучал её задумчивый голос:

– Думаю, главное для художника – найти тему, близкую сердцу и не надуманную. Сейчас в том, что называют современным искусством, многое делается ради денег. А найти свою тему, которая тебя трогает и наполняет, – это большое счастье. Мне повезло. Я родилась в Енисейске, в месте, которое само по себе напитано глубокой энергией, удивительным духом. У меня простая семья, мама – библиотекарь, бабушка – учитель русского языка и литературы, с детства мне прививали духовные ценности. Какую поддержку мне дала семья! Мной гордились, помогали во всем. Это долгий путь – вырастить художника, начиная с шести лет, с того момента, как меня повели в художественную школу. Потом училище, потом институт. Мы долго учимся. Наверное, я осознала свой путь не сразу, не помню ощущения выбора: мне кажется, все решило само окружающее пространство – это же Енисейск!

«Енисейск» – отсёк придорожный щит, и, едва я въехал в осенний городок, закрапал дождь, словно подчёркивая особость происходящего, и через несколько минут я шелестел по потемневшим блестящим улицам, сравнивая Женины картины с тем, что видел по сторонам.

Картины Аблязовой при всей их сознательной сдержанности настолько выразительны, что я уже не понимал, что первородней – её портреты енисейских окошек или сами эти окна, проплывающие мимо в выцветшей своей красе. Я остановился возле такого дома – в нём была раньше, кажется, почта, но висел ржавый засов. Поддаваясь настроению, я медленно нащупал кнопку на дверце. Покрытое крупными каплями стекло так же медленно оползло, и в машину хлынул запах дождя. Целый мир влажным лезвием тронул и без того обострённую душу.

Правая посадка за рулём позволяла мне глядеть в глаза и окнам, и удивительным здешним наличникам. Чуден зрячий совиный вид их глазков! Будто время глядит на тебя недвижно и пристально. Наличники эти появились в конце XIX века в русле моды на «изящный вкус», которая в аскетической обстановке Сибири выглядит неожиданно оранжерейно, да и ничего подобного в остальной округе не увидишь. Это же «сибирское барокко» есть в Томске и Иркутске, что подчеркивает историческую связь между этими главными городами, их былую близость.

Порыв ветра влажно и шумно прошёл по тополям, дождь с силой осыпал и мостовую, и крышу машины, и я несколько раз тронул клавишку громкости. Чистый Женин голос прозвучал отзывчиво и будто окрепнув:

– Домики, да. Балясинки, наличники... А та часть, что над окном, называется сандрик. А сами завитки с глазками – волюты. В училище я любила рисовать то, что покривее, что завалилось, – такая живая пластика. Это по технике рисовать интереснее. А теперь есть любимый небольшой участок, там три-четыре дома. Раньше меня это место не привлекало, а теперь я его вдруг открыла и написала много этюдов. Бывает, ищешь место, ходишь часами. Много зависит от освещения, от времени года. Можно неожиданно увидеть какую-то фактуру в короткой момент. Маленькие случайные мгновения.

Я закрыл окно и тронулся, медленно поехав вдоль домов и заборов, которые угловато ломались, то уходя в землю, то снова будто выплывая на поверхность нашего времени. Заборы были прямоугольных линий с ажурными карнизам на воротах. Доски располагались то в строчку, то ёлочкой. И без того тёмные, они особенно потемнели от дождя.

– Не каждому зрителю нужны серьезные выстраданные вещи, – прозвучал Женин голос, – кто-то скажет, что это мрачно, например, спросит: «а почему здесь забор сломанный?» Есть прикладная сторона искусства, а есть содержательная, бесконечная по поискам. Как есть картины для жизни, интерьерные, а есть – для музея. Последние могут быть прекрасны, но они для... встречи, а не для того, чтобы с ними жить. Если покупаешь картину, помни, что с ней придётся жить, как с членом семьи. Это очень тонко. Мне кажется, картины – это такие же люди как мы.

Я уже не понимал, где Женины картины, а где настоящие дома, поразному покосившиеся и с разным выражением глаз. Несмотря на старость, и избы, и заборы образовывали очень плотный ряд. Вдруг в нём открылся зияющий квадрат.

– Я приезжаю и в любую погоду брожу и стараюсь побольше подметить, захватить. Проверить, всё ли на месте. – Женя помолчала – Бывает, уже не всё... А если и всё, то смотрю, где что ещё отвалилось или оторвано. Сейчас все глобально меняется, даже отношение к семье. А у меня к семье очень глубокая привязанность. И возможно, это тоже

объясняет мою привязанность к месту – к деталям, которые дороги. И даже к простым вещам, которые нравятся рисовать – опавшему листу под ногами, капусте в огороде, вот этим домотканым половичкам. Да... такие вот мы немодные... Я считаю, что художник должен просто быть искренним. И если я это всё люблю, из этого состою, мне не надо ничего выдумывать... А я всегда любила Енисейск. И не было желания сбежать оттуда, мол, дыра, деревня...

Я неумолимо двигался в сторону Спасо-Преображенского монастыря. На Жениной картине главный собор проглядывается сквозь золотую листву. егодня всё было серым, блестящим от дождя... Это обычные отношения жизни и искусства, существующего, чтобы открывать в окружающем обобщающий смысл. Силу образа.

– Иногда так страшно, – сказала вдруг Женя, – а вдруг темы кончатся? Но они не кончаются. Я очень жалею, что не написала тогда портрет отца Севастьяна, но я бы наверно и не осмелилась... А теперь жалею... Но коплю материал, этюды натурные, фотографии – все пролистываю и вдруг вижу совсем другое, новое, неожиданное. Енисейск, думаю, всегда будет основой для меня. Но я надеюсь, что подкоплю человеческого опыта и выйду на более широкие темы. Может быть, это будут что-то общенравственное, религиозное. Или портретное. Вообще, мне кажется, нормальный художник никогда не думает о шедеврах. Просто делает то, что его трогает. Я знаю, что всегда найдется зритель. А задачи прославиться и заработать кучу денег у меня нет. Лучше быть собой на своем месте, чем неизвестно кем среди общей массы. Наш Союз художников – прекрасные, профессиональные люди, создающие настоящие произведения. Хотя они продаются, может быть, раз в год. А те ребята, которые зарабатывают деньги, шокируя зрителя... не знаю, что от этого останется, время покажет. Всё-таки есть ремесло и традиция. А все эти перфоменсы и инсталляции, когда голышом дефилируют в ошейнике... Разве это изобразительное искусство? Для меня огромные города – жёсткая чуждая среда, их пространство меня душит. Тем более и уехать далеко от Енисейска я не могу. А друзей у меня хватает. Да и понятие одиночества для художника... особое.

Я подумал о том, что тоже всегда оказываюсь в Енисейске один. И что это труднейшее одиночество мне так же необходимо, как и Жене, бродящей в любую погоду по Енисейску и выискивающей его оттенки то в снежной слякоти, то в морочной морозности, то в прозрачности бабьего лета. И что я, бредя по полупустым улицам мимо собора с выломанной фасадной иконой, испытываю такие ощущения, которые никогда бы не испытал, если бы Енисейск был отреставрирован и полон туристических толп. Но город надо восстанавливать. Ты согласна, Жень?

– Да. Я слышала, что собирались перевезти часть ангарских изб из зоны затопления Богучанской ГЭС и сделать в пригороде Енисейска музей деревянного зодчества да ещё несколько енисейских домов спасти. Но, по-моему, все заглохло. Скорей всего, каменный купеческий центр не сломают. Подали документы в ЮНЕСКО, повесили таблички памятников федерального значения. А деревянный фонд стремительно утрачивается. Культурное отношение, к сожалению, требует больших вложений, чем... некультурное. Я очень болезненно это переживаю. Перемены, стройки. С одной стороны, я понимаю, что молодежь останется, будет растить детей, город будет жить. С другой стороны, безумно жаль этой старины. Культура – это, увы, не первоочередная

потребность человека. Дома разбирают, распиливают. А бревна внутри белые! Дома живые. Исторические окна заменяются на пластик – тупо вырезают дыру, запенивают и ляпают. Встречаются мнения – вот, мол, зачем реставрировать эту рухлядь, лучше бы садик построили! Люди не понимают, что если не спасать эту «рухлядь», то Енисейска не будет вообще. *Потому что там нет никакого другого ресурса, кроме красоты.*

Я медленно ехал вдоль Спасо-Преображенского монастыря... Дышащего, живого, уже восстановленного до такой степени, что недавний ветхий его облик казался минутным наваждением и вызывал недоверие собственной памяти. А когда-то он очень сильно пострадал от разрушителей. В довершение всего в него был буквально вживлён пивзавод. Прямо в стену. Да и стоял он говоряще: в островке между улиц Перенсона, Марковского и Рабоче-Крестьянской. Возрождение монашеской жизни началось здесь с 1990 года. В монастыре долгое время жил отец Севастьян. Вот что говорил о нём один монах: «И ещё есть у нас в епархии благодатный старец отец Севастьян под 90 годочков – духовник мужского монастыря в Енисейске (очень суровый край). За духовным советом в нашей епархии к нему только все и ездят (скольким людям он помог!). Обладает он многими дарами преизобильно. Бесов изгоняет. Только один он во всей епархии совершает чин отчитки. Всего человека и все помышления его видит как на ладони, многим говорит, как быть в их ситуации, ещё до того, как те успевают слово вымолвить, часто говорит что-то человеку, например: «а книжки-то с чёрной магией нужно обязательно из дома выбросить», а у этого человека их и нету, он вроде как и близко к сердцу эти слова не воспринимает, зато эти книжки есть у человека, который стоит рядом и обязательно это слышит, но ему отец Севастьян по любви этого не говорит, чтобы не обидеть».

Отец Севастьян был небольшого роста, с прозрачными висками и необыкновенно ясными молодыми глазами. Отличался добротой, желанием и готовностью помогать. Несмотря на преклонный возраст, он всегда находил силы для страждущих. Хотя и очень уставал. «Бывает, после службы пойдет к себе в келью отдохнуть. – рассказывает близко знавший его иеромонах: – Кто-то приезжает. Ему говоришь: «Вот, батюшка, снова приехали». Вдохнет так. Видно, что тяжело ему. Спросишь: «Может, сказать, чтоб завтра приходили?» «Нет, – отвечает, – люди приехали издалека, значит, беда какая-то их привела, надо поговорить»... Народу много идет в течение дня. По себе могу сказать, что иногда начинаешь раздражаться, хочется побыть в одиночестве. В нем этого вообще не было, проявлялись какие-то уже сверхчеловеческие свойства. Бывает, тяжело на душе, просто рядом с ним стоишь, ни слова не говоря, – и отходит уныние. Вот такой человек.

К нему приезжали самые разные люди. Среди них были руководители предприятий, члены их семей, музыканты, художники, преподаватели институтов. Многие находились на грани самоубийства, настолько невыносимы были их страдания. Демон ведь намного сильнее человека, и он пользуется своим превосходством, издевается, внушает какие-то неразумные вещи. А люди этого не понимают, пытаются с ним разговаривать. Во время отчитки внешние проявления одержимости усиливаются. Пришедшие в храм начинают кричать матом, ругать батюшку, чего до этого за ними не наблюдалось. Некоторые катаются по полу, дрыгают ногами – в общем, ведут себя неадекватно. Бывали слу-

чаи, когда на отца Севастьяна пытались наброситься. Вообще такие обряды сильно сказывались на здоровье священника. Он даже в обморок падал во время отчитки... Злобная сущность действует не только на того, кто ею одержим. Когда мы участвуем в судьбе человека, мы берем на себя часть его тяжести...».

Моя хорошая знакомая, приехавшая из Новосибирска специально к отцу Севастьяну, рассказывала, как попросила у него просфоры, и они пошли в подсобку их искать. Он не мог вспомнить, где они лежат, и долго копался среди бочек с крупами и прочей жизненной всячиной. Вышел отец Севастьян по-летнему, а на улице был сильный мороз, но он не остановился, пока не нашел просфоры и не отсыпал ей целый пакет. А про деньги сказал, что денег у них хватает и что они понадобятся моей знакомой на обратном пути. Так и случилось, по дороге навалились траты, и денег хватило впритык. Сейчас отец Севастьян живёт в старинном селе Маковском Енисейского района, где продолжает служить в храме, но уже за штатом церкви. И к нему так же тянутся люди...

Я оставил машину у крашенных железных ворот и, зайдя в монастырь, прошёл в храм, где первый раз в жизни увидел отца Севастьяна, попав к нему на службу. Это было больше чем десять лет назад. После той памятной службы отец Севастьян прочитал проповедь о покаянии. Храм ещё только восстанавливался, и всё происходило в каком-то боковом помещении, чуть ли не среди опалубок и цемента. Это была сильнейшая служба в моей жизни.

Я помолился за отца Севастьяна и за Женю, после этого дня будто связавшихся в светлую и бесконечную дорогу. И поехал по мокрому Енисейску, на мостовых которого уже завязывались вечерние радужные пятна. И переживая одну радужную мысль: если по Божьей воле Енисейск восстановим, то Женины образы приобретут особую уже летописную ценность. А если нет, то всё равно останутся пронзительным напоминанием о забывчивости, картинной галерей с названием «Город, в котором ране был город».

Евгений ШИШКИН

Родился в 1956 году в Кирове. Окончил Кировский политехнический институт, филологический факультет Горьковского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького.

Руководил студией во Дворце культуры железнодорожников, работал в речном училище, в Бюро пропаганды художественной литературы, в издательстве «Бегемот», главным редактором журнала «Нижний Новгород» (1998–2001), преподавателем в Литературном институте имени М. Горького. В настоящее время – заведующий отделом прозы журнала «Наш современник».

Член Союза писателей РФ. Лауреат премий им. В. Шукшина, имени А. Платонова, им. И. Гончарова и других. В 2016 году был удостоен премии М. Салтыкова-Щедрина за роман «Правда и блаженство» (2012).

Живёт в Москве.

КЛЕВЕТНИКАМ «БЕЛЕЮЩИХ БЕРЕЗ»

Недавно, в мае 2018 года, опять был в Пятигорске, опять был на месте дуэли Лермонтова и Мартынова, опять был в Лермонтовском музее; говорил с научным сотрудником, вернее сотрудницей, о стихке, который приписали великому поэту.

Но с жаром получил ответ, что стихок «Прощай, немытая Россия...» писан, безусловно, Михаилом Юрьевичем Лермонтовым и что госпожа О.В. Миллер, лермонтовед, доктор филологических наук, так убедительно написала об этом, что закрыла тему...

«Читал я эту госпожу Миллер! – хотелось мне воскликнуть. – Никаких документальных фактов она не предъявляет: только цитатки из тех, кто не сомневается в авторстве, да ещё приводит сомнительные рассуждения на тему “родины” некоего Виталия Коротича, что вызывает только усмешку...» Но спора, я понял, не получится, да и не надо. Только заметил учёной даме из Пятигорского музея: «Академик Скатов придерживается другого мнения»... И сразу же получил урок: «Он не лермонтовед!»

Что тут скажешь?! Разведешь руками да и только. Разговор продолжать было бессмысленно.

Тема авторства этого стихка уже поднималась много раз.

И вот удивительно, в основном доказывают авторство Лермонтова люди не совсем, что ли, русские, что-то их греет в этом стихке, который приписали великому поэту.

Стихотворение с «немытой Россией», по мнению еще одной ученой дамы, доктора филологических наук Л.И. Вольперт, представляет со-

бой «вершину политической лирики Лермонтова». Не сомневается в авторстве и еще один лермонтовед, мемуаристка Э.Г. Герштейн. Она тоже опирается на исторический образ России, выписанный господином А. де Кюстином. Он для нее является мерилom правды о нашей истории. Ах, как любопытно! Кстати, этот путешественник, известный педераст, которого сторонилось даже парижское общество, был в нашей стране совсем недолго, но успел порядочно нагадить, недаром В.А. Жуковский называл его собакой после публикации чернушных заметок о России, столь угодных русофобам всего мира. Может, русское общество и русскую армию лучше изучать не на основании гнусных впечатлений заезжего туриста-педераста, а на основании документов, воспоминаний наших соотечественников о традициях русского офицерства... Но это мои личные благие пожелания; у дамочек-филологинь сомнений в авторстве нет.

С ними солидарен психолог Т.Г. Динесман. Он утверждает, что «нарциссизм» Лермонтова был ущемлен, поэт вышел из себя и выдал этакий стишок. Психологически, утверждает психолог Динесман, это объясняется амбивалентностью, когда любят и ненавидят одновременно.

Армия таких лермонтоведов велика. И казалось бы, как тут не признать авторство данного стишка, ежели и наш вождь читает его (благо всего восемь строчек) даже наизусть. И не где-нибудь читает – на встрече с победителями конкурса «Учитель года России». И всё бы как-то у этих лермонтоведов сладилось, доказалось, утвердилось, вождь читает стишок, в школьную программу стишок давно пролез, но... большое «НО» осталось.

Вопросов очень много. И даже ученые халдеи вождя, которые его на этот стишок настропалили, на них вряд ли смогут ответить, не извиваясь как ужи...

Есть основательная версия, что стишок этот написал пародист Д.Д. Минаев, он к тому же писал пародию на лермонтовского «Демона», а здесь сделал переключку с пушкинским «Прощай, свободная стихия!». Но эту версию оставим без комментариев.

Другое. Удивительное. Источник. Его нет! Ни рукописи, ни рукописи того, кто записал якобы со слов или с подлинника поэта данный стишок. Опубликован стишок аж через сорок с лишним лет после смерти поэта. А что ж, где этот стишок, в каких закромах лежал, почему о нем никто не ведал, не слышал, кроме какого-то современника-инкогнито. Неужели за этот стишок кого-то бы загребли «мундиры голубые»? Почему главный публикатор П.И. Бартев дает разные варианты. То «вожди», то «паши», то «цари», то «им преданный», то «послушный им»... Что это за вольности в восьми строчках?! Об этом уже много писалось. Кое-что невольно приходится повторять. Ну и пусть! Повторимся. Не все у нас «лермонтоведы»...

Глянем еще раз на текст. Беспристрастно не получится. Учтем, что этот текст приписывают гениальному поэту.

«Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ...»

«Прощай, свободная стихия!» – так начинает Пушкин свое стихотворение «К морю». У настоящих поэтов «копировать» начало друг у друга не принято! У друзей-поэтов – это запросто. Но Лермонтов

не знал лично Пушкина и вряд ли бы взял «Прощай» в запев своего стиха...

А что дальше? «...немытая Россия». Это что, метафора, новый образ, где в каком месте она немытая?! Это сочинил дворянин, русский офицер, который едет в действующую русскую армию, который написал «Бородино»?!

«Страна рабов, страна господ...»

Каких рабов и каких господ? Выходит, автор сам был из тех «немытых» господ, окруженный «немытыми» рабами? В общем-то, по большому счету: все страны того времени социально состояли из господ и рабов. Из богачей и трудовой челяди, которая была во многом занята рабским трудом и прав никаких не имела. Но вряд ли автор стишка думал о международных господах и рабах... Он, скорее всего, живописал про отечественное сообщество.

Но совсем незадолго до появления этого стишка Михаил Юрьевич Лермонтов создал истинный шедевр – стихотворение «Родина». Приведу его полностью. Дабы почувствовать разницу.

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
 Не победит её рассудок мой.
 Ни слава, купленная кровью,
 Ни полный гордого доверия покой,
 Ни тёмной старины заветные преданья
 Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
 Но я люблю – за что, не знаю сам –
 Её степей холодное молчанье,
 Её лесов безбрежных колыханье,
 Разливы рек её, подобные морям;
 Просёлочным путём люблю скакать в телеге
 И, взором медленным пронзая ночи тень,
 Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
 Дрожащие огни печальных деревень;
 Люблю дымок спалённой жнивы,
 В степи ночующий обоз
 И на холме средь жёлтой нивы
 Чету белеющих берёз.
 С отрадой, многим незнакомой,
 Я вижу полное гумно,
 Избу, покрытую соломой,
 С резными ставнями окно;
 И в праздник, вечером росистым,
 Смотреть до полночи готов
 На пляску с топаньем и свистом
 Под говор пьяных мужичков.

Это стихотворение как кость в горле для тех, кто с пеной у рта доказывает, что стих «о рабах» писан Лермонтовым.

А что же дальше в этом вульгарном стишке с немытой страной и немытыми, выходит, господами и рабами? Да нет! Там, оказывается, есть и помытые!

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Ух, как здорово! Рабы вдруг становятся народом! Не все, оказывается, непомытые. Есть «мундиры голубые»... Это, видимо, еще один класс, какой-то особенный, выделенный из господ? Прежде Лермонтов в своем творчестве таких слов не упоминал. «Мундиры голубые» – жандармерия. По сути написано: жандармам преданный народ... (А «преданный» имеет еще и смысл «переданный»). Неужели жандармерии народ был предан? Да и часто ли народ России, где было преобладание сельского населения, видел голубые мундиры жандармов?

В публикации Бартенева, который с этой публикацией что-то финтил, есть и другой вариант «и ты, послушный им народ». Кто додумался подправить автора, скрасить, смягчить чепуховину про преданность жандармам?

А дальше автор стишка переходит непосредственно к себе: он прощается с Россией.

Быть может, за хребтом Кавказа
Сокроюсь от твоих вождей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

С чего бы вдруг, если автор ехал на Северный Кавказ? По сути – в предгорья Кавказа. Откуда «за хребтом Кавказа»? За хребтом – Грузия, Армения, Турция... Куда едет автор?

Опять же любопытная деталь: «за хребтом Кавказа» – явно неточно, прятаться за хребтом... Все-таки надо бы: за хребтом Кавказских гор. И впоследствии появляется отредактированная строка «за стеной Кавказа» – стена и прочнее да точнее, нежели хребет. Кто мудрячил с этой редакцией?

...«Сокроюсь от твоих вождей». И опять же на эту строчку нашелся редактор. Есть вариант «пашей» (какие «паши» в Российской империи?), есть и другой вариант: «царей», – тоже любопытная замена, кем, когда сделана, каким современником поэта? Опять повторяю: ни одного документального подтверждения! Ни оригинала, ни списка!

Автор скрыться хочет. Но русский офицер Лермонтов ехал служить туда, куда его направили. И как он мог сокрыться от власти, если присягал государю-императору и едет на государеву службу?

Все аргументы можно принять за придирки к поэтическому мышлению, которые частенько предъявляются великим поэтам. Придирики имеют право на жизнь, тем более к великим поэтам!

«От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей».

Последняя строчка вся шипит. Неужели гениальный поэт был таким тугоухим, что не слышал и не понимал: «от их всеслышащих ушей»?! Читая такое даже про себя, а не вслух, и то спотыкаешься. «Всеслышащий» – слово тяжелое, непоэтическое. Разумеется, у поэта встречаются причастия, где характерна «ш», но когда шипит вся строчка – это выглядит как-то небрежно, даже халтурно.

Впрочем, стоп!

Читал у одной лермонтоведши (запомнил фамилию), которая, разумеется, считает этот стишок «шедевром» Лермонтова, что автор нарочито делает эту строку шипящей, это, дескать, иллюстрирует наущничество, шепот прислужников охраны и т. п. Как тут не вспомнить: один коньяк пьет и говорит: клопами пахнет; другой клопа давит и говорит: коньячком пахнет... Есть, правда, и еще одна поговорка: хоть плюй в глаза – всё божья роса...

Однако, эту статью я задумал по иному поводу, не для спора с лермонтоведами. Я сразу принял позицию академика Николая Николаевича Скатова: Лермонтов такого не сочинял! А написал я эту статью с другой *обобщающей* мыслью. И творчество Михаила Юрьевича как раз послужило примером. К сожалению, не единственным.

* * *

Литературоведение – наука отчасти безнравственная, жестокая, провокационная, ибо она предполагает не только исследование творческого, засвидетельствованного документами и фактами наследия писателя, но и его личной жизни, его черновиков, писем, воспоминаний о нем современников, подчас абсолютно отстраненных от истины и действительности, и на основании этого сомнительного «материала» дает, якобы, право исследователям делать выводы. Литературоведы подчас безжалостно «лезут» в личную жизнь, в сокровенную переписку писателя, в его интимные, «недоступные для чужих глаз» места, в постель его в конце-то концов... А кто им это позволял? Позволял в своем завещании покойный? Где ж тут нравственность? Подчас и почтения, даже простого уважения нет к тому, кого пытаются «расчленивать» какой-нибудь знаток литературовед.

К примеру, перед смертью И.А. Гончаров умолял в духовном завещании, чтобы после смерти не трогали и не печатали его личную переписку. Он даже говорил, что это будет лучшим венком на его могилу... Не хотел, стеснялся чего-то, о чем-то сожалел, может, что-то было совсем сокровенное, личное, может, что-то даже стыдливое в его письмах, отчего краснел... Не надо это печатать, письма-то ведь отправлены конкретному адресату, а не всей публике! Однако только Иван Александрович умер, литераторы, критики, тут же его письма опубликовали. Такова эта публика!

Разного пошиба литературоведы, псевдолингвисты выудят из творчества, из дневников, писем великого человека скабрзную фразу, стишок непотребный или матюжок – и давай им трясти, давай показывать всему миру: каков был гений! Уймись, господа! Нет, не таков!

Об этом Александр Сергеевич Пушкин уже сказал убедительнее некуда. Из письма А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому (1825 г.): «...Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе...»

Поэтов и писателей судят по произведениям! А не по той грязце, чернушке, сомнительным эпизодам, словам, фразам или даже письмам, которые нароют скудоумные критики, а еще чаще – припишут небывалые писателю.

Рассуждая о творчестве и жизненном пути больших русских писателей, хотелось бы поставить перед литературоведением некоторые ограничители. Нравственные, конечно. Господа, до истины, до самых глубин и истоков поступков исследуемого вы все равно не докопаетесь, это в принципе невозможно, сама природа – «натура» – вам этого не позволит, но неприглядные стороны жизни великого человека можете даже нечаянно обнажить.

А еще – часто неискушенной публике представить то, чего сам автор и не собирался публиковать или сделал это под воздействием заблуждений.

И если Н.В. Гоголь после сожжения второго тома «Мертвых душ» сожалел об этом и сознавался, что сделал это необдуманно, сгоряча, что хотел сжечь только отдельные черновики и разные ненужные бумаги, то свою первую книгу, поэму «Ганс Кюхельgarten», он не случайно скупал в книжных лавках, для того чтобы уничтожить ее! Он понимал, что это сырое, недостойное Литературы, это лучше сжечь...

Помню, мне рассказывал один талантливый писатель, как насочинял – от бедности – порнографический рассказ и хотел его протолкнуть, продать подороже одному разгульному изданию, но вовремя одумался и как ему после такой писанины было неловко перед самим собой.

...У меня есть рассказ, из самых ранних, вроде даже очень правдивый, но чернушный, о пьянстве простых русских людей. Он был опубликован. Но впоследствии я не только нигде его не печатал, но и никому никогда не показывал, – нехорошо, стыдно, муторно на душе.

Пару слов о дневниках писателей.

Мемуарам, воспоминаниям писателей и других деятелей культуры я не очень верю. Как правило, это самоупоение, объяснение в любви самому себе. Сколько кособоких сцен, искривлённых персонажей в таких писаниях! Зато есть один непогрешимый божок – это автор... Словом, полагаться на дневники писательские и околописательские нельзя. Им веры нет. Они, как бы ни вертелись их авторы, все же для публики писаны...

А всё это я веду вот к чему.

У каждого литератора, каждого поэта, писателя, найдется в закромах что-то такое, что не хотелось бы показывать публике. А что порой творится в черновиках авторов! Одни рисуют чертей на полях, другие неприличные картинки, в черновики может закрасться и полная чепуха, где-то в черновике может проскочить и мат, и брань, и соленое словцо по адресу кого-то, поэты и писатели, как правило, люди не холодные, впечатлительные, уязвимые, эмоциональные, – они могут в запале или под хмельком такого наворотить, что потом самим будет жутко. Вот поэтому и есть понятие личных, неприкосновенных архивов и черновиков.

...Возвращаясь к лермонтовскому якобы стишку. Если даже предположить: вспыльчивый, язвительный и обидчивый Лермонтов сгоряча написал восемь нелепых строчек, то и в этом случае, *они не наши*. Лермонтов этот стишок нигде не афишировал, нигде никому не прочел, кроме, якобы, одному загадочному современнику, которому не находится даже имени. Стало быть, этот стишок не был для него творением, событием, ему и вовсе было зазорно выносить его на публику. А вот стихотворение «На смерть поэта» было событием. «Стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми», – утверждает И.И. Панаев.

Словно неприличные строки в черновике, словно желчная эпиграмма, которую лучше никому не показывать, – именно таким может представлять стишок, который *услышал всеслышащими ушами* П.И. Бартенев, подредактировал его и выдал в свет. А сам автор, возможно, настроил ядовитый стишок, ну и бросил потом, пережил, забыл. А если даже где-то прочел в расхристанных чувствах своему другу, так это совсем не значит, что это, сугубо личное, надо литературоведам, публикаторам скорей тащить на публику, трясти дурными строчками в научных работах, в учебниках истории и литературы в школе! А уж тем более подсовывать вождю, который, показывая свою неосведомленность, мягко говоря, читает эти строчки перед лучшими педагогами страны.

Окститесь, господа! Туда ли вы забрались? Просил ли вас автор рекламировать то, чего не запечатлел даже на бумаге, чего сам на публику не выносил. А уж учить этому детей, так и подавно пошло, если не сказать подлю...

Или кому-то радостно, что великий поэт так якобы ударил по России? У кого-то, возможно, от радости рты до ушей. Вот нынче с идиотическим удовольствием президент независимой читает этот стишок в Евросоюзе.

Оставьте Лермонтова в покое! Никому, в том числе и Бартеневу, не давал он права печатать, якобы свой, стих о «какой-то немойтой России», не давал. И не стоит щеголять липовой просвещенностью перед русским читателем, приписывая что-то кому-то. Публикатор П.И. Бартенев явно смалодушничал, схалтурил, печатая стишок, который бездоказательно приписал Лермонтову.

Это обстоятельство обязано учитывать всё учительское сообщество, а уж литературный мир тем паче!

Если есть сомнение в авторстве, ты всегда должен принять сторону «сомнения». Нельзя тиражировать фальшивки. Это правило для истинных историков и литературоведов.

Вехи памяти

Андрей РУМЯНЦЕВ

Родился в 1938 году в рыбацьем селе Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет.

Автор многих поэтических и прозаических книг, в том числе биографических повествований о Валентине Распутине и Александре Вампилове, вышедших в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Публиковался во Франции, Канаде, Болгарии, Эстонии и других странах.

Народный поэт Бурятии, член Высшего творческого совета Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Москве.

«...ВСЯ СУТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ»

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева

В первом номере некрасовского журнала «Современник» за 1847 год появились рассказы Ивана Тургенева, вошедшие вскоре в книгу «Записки охотника». К моменту журнальной публикации автору исполнилось двадцать восемь лет. Он считался поэтом: в российских журналах уже печатались его лирические стихи и поэмы. Выходили они и отдельными изданиями.

Но «Записки охотника» с первых же опубликованных страниц произвели такое впечатление, которое вызывает лишь что-то из ряда вон выходящее. Н. Некрасов писал Ивану Сергеевичу летом 1847 года: «Успех Ваших рассказов повторился еще больше в Москве, – все о них говорят с восторгом. Нисколько не преувеличу, сказав Вам, что эти рассказы сделали такой эффект, как романы Герцена и Гончарова*... – этого, кажись, довольно. В самом деле, это настоящее Ваше дело...» Публицист Н. Шелгунов считал, что в «Записках охотника» Тургенев «захватил всю суть русской жизни», а В. Белинский заявил, что в этих рассказах автор «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил».

* * *

Подлинно художественное произведение всегда открывает жизнь с новой стороны. Оно по-новому освещает для нас человеческую

* Имеются в виду романы «Кто виноват?» и «Обыкновенная история».

сущность, явление жизни, ее красоту или черную глубину, факт истории, даже привычную природу. Свой, особый, взгляд, неведомая ранее пронизательность, своеобразное осмысление – да мало ли что приносит с собою в литературу оригинальный художник! «Записки охотника» в этом смысле книга необычайная. В ней представлены разнообразные русские характеры, даже не характеры, а типы. Такое богатство типических лиц редко встретишь в одной книге рассказов. Деловой Хорь и мечтательный Калиныч; безответный и отверженный Степушка из новеллы «Малиновая вода»; разжиревший бурмистр, «зверь, а не человек», Софрон; «чудная» душа, сын природы Касьян с Красивой Мечи; мальчишки с Бежина луга, каждый со своей изюминкой; честнейший лесник Фома, по прозвищу Бирюк; самозабвенные певцы Яшка-Турок и рядчик из городка Жиздры; «огонь-человек» Пантелей Чертопханов и его тишайший друг Тихон Недопюскин; укротившая свои земные страдания, просветленная Лукерья из потрясающей истории «Живые мощи»... Череда подлинных типов, неистовых и смиренных, полных жизненной мощи и пришибленных судьбой, откликающихся чутким сердцем на бессмертную красоту вокруг и глухих к ее зову. А еще есть в рассказах раздумья о нашем земном бытии – те несуетные размышления, на которые способен лишь ум глубокий, пронизательный и неутомимый. А еще есть поэзия, разлитая по страницам каждой новеллы, поэзия, которую впитывает один герой и слепо отталкивает другой, но которую неизменно и чутко замечает и прославляет автор, находя для этого мудрые и вдохновенные слова. А еще есть магия самого повествования, его ритм, его музыка – тот русский тон, который мы улавливаем в народной песне, сказке, притче, разнообразных и душевно цельных, неожиданно новых и с детства родных. И все это вместе взятое – как долгий вздох матери, как поцелуй ребенка, как прикосновение любимых рук. И все это – «Записки охотника».

* * *

Если вы помните, стихотворения в прозе Ивана Тургенева начинаются миниатюрой «Деревня». В этом лирическом монологе ощущается нежелание автора замечать то, что портит красоту русской глубинки: к примеру, латаную-перелатаную крышу избы, «пьяный», завалившийся наружу или внутрь двора плетень, грязную лужу во всю ширину улицы, лохмотья какого-нибудь местного горемыки... У Тургенева – «очищенный» пейзаж русской деревни. И мы с благодарным сердцем прощаем его избирательный взгляд. Мы знаем: его устами говорит любовь – а без любви нет ни высшей правды, ни литературы. Это любовь нашептывает поэту слова благоухающие, медовые:

«Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край. Ровной синевой залито все небо: одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух – молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смиренно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой – и дегтем маленько – и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух...

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, – зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли...»

Вот такая же любовь нашептала Тургеневу его рассказы из книги «Записки охотника». Гоголь написал о «мертвых душах» России – о Собакевиче, Ноздрева, Плюшкине, Коробочке, которые уже ничего не могли принести отечеству полезного, созидательного, умножающего его силу и славу. Тургенев впервые вдохновенно и правдиво рассказал о «живых душах» России, представив в «Записках охотника» собрание подлинно национальных русских характеров с их чудесными качествами и талантами. После «Записок охотника» ни один прохиндей в мире – ни у нас, дома, ни за его порогом – уже не мог обогатить русского человека, приписав ему лень, невежество, глухоту к красоте, черствость и прочие пороки. Книга Тургенева стала верным слепком с жизни, но не мертвым, а художественно одушевленным, выполненным с великой любовью и с великим талантом.

Она, конечно, появилась не на голом месте; эту книгу подготовили своим гением, прозорливым и верным правде, Пушкин и Лермонтов. Рядом с нею, в одно время, на одном и том же поле, ждавшем живых всходов, выросли эпические и лирические произведения Некрасова, впервые в русской поэзии нарисовавшего картину народного бытия и представившего это бытие как духовную и нравственную красоту родного отечества. И уже за этими двумя писателями-современниками, Тургеневым и Некрасовым, подхватив их правдивую речь, полногласно заговорили о своем народе Толстой, Достоевский, Чехов, Горький...

Нужно знать взгляды Тургенева на искусство, чтобы уяснить, чем стали для него самого «Записки охотника». По мнению писателя, «художество», в том числе и литература, – это «воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию». Литература, оторванная от народной жизни, есть, по Тургеневу, нечто мертвое. «...искусство народа, – писал он, – это его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно – звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа». Пушкин, считал писатель, потому и состоялся, что произошло его «удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь...» «Нужно постоянное общение со средою, которую берешься воспроизводить; нужна

правдивость, правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений и понятий, и, наконец, нужна образованность, нужно знание».

Всё русское вызывало у Тургенева трепет: русский быт, русская песня, православный храм, русская одежда. По его мнению, иностранцы начинали интересоваться чем-либо только благодаря национальным особенностям увиденного. Всё безнациональное, безликое, нивелированное вызывало у писателя равнодушие.

Всё сказанное – ключ к пониманию творчества писателя, во всяком случае, ключ к пониманию феномена «Записок охотника». Тургенев создал, по выражению одного современника, «великую одухотворенную картину» – живой портрет крестьянской России, которого до него литература не создавала.

* * *

Кажется, что большинство персонажей этой светлой книги – самые любимые герои автора; он рисует их словами обдуманно-мягкими, ласковыми. Помнится, однажды при мне Валентин Распутин советовал студентам-заочникам Литинститута, начинающим прозаикам: «Пишите мягче, ищите слова живописные, самобытные». Вдруг в одном из писем А. Чехова я прочитал то же самое, почти дословно (не думаю, что Распутин повторил чужое, скорее всего вышло невольное совпадение): «Господь послал Вам доброе, нежное сердце, пользуйтесь же им, пишите мягким пером...»

Иван Сергеевич во всей доброте и нежности раскрыл свое сердце, создавая первую прозаическую книгу; подлинно русские образы очерчены им точным и мягким пером.

Вот Акулина, юная крестьянка, пришедшая на последнее, прощальное свидание с избалованным, бездушным и наглым камердинером молодого богатого барина. Видно, что обманутая девушка отдалась своей любви со всей пылкостью и бесстрашием чистого невинного сердца; и видно, что скучающий и надменный лакей обольстил ее лоском своего свежего, румяного лица и модной, с барского плеча, одежды. Она целует его руки, трепещет и умоляет, он – лениво, «как бы из желудка» достает свои жестокие, холодные слова, равнодушно играет цепочкой часов, небрежно нюхает принесенные для него цветы, то есть всем видом показывает тяготу и скуку последнего свидания:

«– ...Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

– Я ничего... ничего не хочу, – отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простираться к нему трепещущие руки, – а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у неё ручьем.

– Ну так и есть, пошла плакать, – хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

– Я ничего не хочу, – продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками, – но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилого выдадут сиротинушку... Бедная моя головушка!

– Припевай, припевай, – вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

– А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапные, надрывающие грудь рыдания не дали ей закончить речи – она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами».

А вот другая крестьянка, Лукерья, постарше первой, лет, как она сама считает, двадцати восьми или двадцати девяти. В девичестве она была «первая красавица во всей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья!», собиралась замуж, по обоюдной любви, за статного кудрявого буфетчика. Но однажды ночью, оступившись, упала с крыльца и расшиблась: «словно... что внутри – в утробе – порвалось...» С тех пор, шесть-семь лет, недвижимо лежит: летом – в плетеном сарайчике, а зимой – в предбаннике. Родственников она не беспокоит, а присматривают за ней добрые люди: то девочка-сиротка зайдет, то молодые крестьянки, то священник, то странница. И что же эта наказанная судьбой, высохшая, полумертвая женщина – жалуется на злой рок, плачет и проклинает? Ничуть. Она убеждает рассказчика – охотника, случайно забредшего в ее темную нору:

« – ...я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землей роется – я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду – мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? – многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел...»

« – ... лежу я себе, лежу – полеживаю – и не думаю; чую, что жива, дышу – и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка – мне очень приятно...»

« – ...Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите – а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я – живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление – даже удивительно.

– О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

– Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья «.

Или вот еще один герой – Яков-Турок, «художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца». Он любитель пения и на спор с соперником, рядчиком по житейскому занятию (рассказчик даже не называет его имени), состязается в кабаке своим нередким русским талантом. Яков выбрал для турнира «заунывную народную песню “Не одна во поле дороженька пролежала”». «...Пел он, – говорит автор, – и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была

и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся...» Яков «...пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня...»

Другой читатель может напомнить другие страницы, другие истории и судьбы из книги Ивана Тургенева. Эти истории и судьбы лишены какого-либо налета выдумки, фантазии; они достоверны и житейски узнаваемы. «Да вот, – скажет читатель, – и у нас был похожий случай». «И я вспомнил историю наподобие тургеневской», – добавит другой. Но не в похожести, не в узнаваемости – главное достоинство «Записок охотника». Достоинство их в том, что ты увидел в обыкновенном человеке – герое книги его нравственную красоту и силу; ты увидел, что в простом человеке, жившем рядом с нашими пращурами, равно как и в том, что живет рядом с тобою ныне, обитает такая душа, которая вынесет любые муки, пересилит любую боль и, если узнаешь ее поближе, покажет богатства, что ценней любых земных – бескорыстную любовь и щедрую ласку, вечную преданность и неослабную заботу, страстное поклонение красоте и редкую даровитость. Писатель открыл подлинный русский народ, сверкающий самородками; для скользящего или подслеповатого, высокомерного или равнодушного взгляда народ этот был одной массой, серой и неинтересной, редко-редко удивлявшей каким-нибудь талантом, прибившимся случайно к «благородной» среде. Но оказалось, что земля русская, любой ее край богат людьми незаурядными – благородными, бесстрашными, отзывчивыми, бескорыстными, чуткими к красоте.

Высшим и самым строгим мерилom для писателя, считал Тургенев, является правда. К этому постулату он возвращался много раз, ему посвятил немало строк в рецензиях, предисловиях, отзывах, письмах. Писательская правда, как и внутренняя свобода художника, всегда высоко ценилась Тургеньевым и в творчестве других авторов, и в собственных сочинениях.

Почему тургеневские герои предстают, как живые? Потому что писатель не утаивает о них ничего, что существенно влияет на читательское впечатление – ни добрых, ни худых черт. Иногда кажется, что зря он, рассказав о симпатичном человеке, упомянул какую-то скверную привычку его или некрасивую черточку. «Ведь это невыгодное замечание не относится к делу», – думаешь поначалу. Но по зрелом размышлении, охватывая рассказанное в совокупности впечатлений, соглашаешься с автором. «Если неприятная мелочь не была бы замечена в герое, – говоришь себе, – то образ получился бы сусальным, облагороженным, следовательно, неправдоподобным». У Тургенева

нет героев, набросанных комплиментарной кистью. «Каким жизнь вылепила, таким и принимайте», – словно бы предуведомляет автор «Записок охотника» появление любого своего героя, и мы благодарны ему за честный рассказ.

Приглядимся внимательней к такому, например, персонажу, как Пантелей Чертопханов, дворянский сын. Он служил в армии, но в девятнадцать лет вынужден был подать в отставку «по неприятности»: похоже, под эту неприятность его подвел сумасбродный характер. Приехав в деревню по вызову больного отца, он не застал его в живых и обнаружил, что все поместье папаша промотал. «Пантелей одичал, ожесточился, – знакомит нас автор со своим героем. – Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями, – богатых он стыдился, бедных гнушался, – и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, со своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах».

Вот такой русский характер. Чертопханов пригрозил беспризорного бедолагу Недопюскина, кормил, поил и защищал его; он без памяти любил молодую цыганку Машу и, когда голос вольной крови приказал ей оставить Чертопханова, он готов был пустить себе пулю в лоб; потеряв любимца-коня, он потратил на его поиски все неожиданно свалившееся на него наследство, а найдя лошадь (но, как оказалось, не свою, а очень похожую на нее) он со злобой убил животное. Эта кульминация бесшабашной, дерзкой, запутанной жизни героя написана Тургеневым незабываемо ярко и безжалостно: «Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность – все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия – да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил». А на самом деле покончил с собой неуправляемый степняк тоже по-русски: беспросветно запил и довел себя до гробовой доски. Между тем, человек владел прекрасными качествами: был честен, справедлив, бесстрашен, неутомим в добром деле. Мог бы послужить людям и отечеству, а отдал себя бесу...

* * *

Все лучшие русские писатели середины девятнадцатого века с напряженным вниманием вглядывались в жизнь своей страны, стремясь предугадать ход ее развития, ее будущее. Общественное брожение накануне крестьянской реформы 1861 года раскалывало общество. Ответы на вопрос о путях преобразований были разные; стремление к их поиску было единодушным. Н. Гоголь писал: «Теперь более чем когда-либо нужно нам обнаружить всё, что ни есть внутри России, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы стремимся сеять...»

Чуть ли не теми же словами беседовал с читателями журнала «Современник» Н. Некрасов: «Теперь более чем когда-нибудь мы должны обратиться на самих себя, сосредоточиться, глубже вглядываться

в свою народную физиономию, изучать ее особенности, проникать внимательным оком в зародыши, хранящие великую тайну нашего, несомненно великого, исторического предназначения».

Наконец, и Тургенев, начиная первые рассказы своих будущих «Записок охотника», тоже уверенно писал: «...в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития...»

Однако, к острейшей проблеме – отмене крепостного права – автор книги подошел не с «лобовой», публицистической стороны, а со стороны художественной, естественной для беллетриста. В «Записках охотника» крепостничество явилось в лицах и судьбах, оно ожило во всей своей страшной, чудовищной жестокости, унижающей народ и не имеющей никакого оправдания и будущего. Завеса была сдернута, и явилась картина, которая могла вызвать только негодование. Третье отделение полиции, этот политический сыск, констатировало: «...Государь Император, обратив внимание на изданную в Москве книгу под заглавием “Записки охотника”, сочинение Тургенева, изволил усмотреть, что значительная часть помещенных в ней статей имеет решительное направление к унижению помещиков, которые представляются вообще или в смешном и карикатурном, или еще чаще в предосудительном для их чести виде. Признавая, что распространение столь невыгодных мнений на счет помещиков послужить может к уменьшению уважения к дворянскому сословию со стороны читателей других состояний, Его Величество Высочайше повелел цензора, пропустившего означенную книгу, князя Львова ... отставить за небрежное исполнение от должности».

* * *

«Записки охотника» внесли много нового в форму русского рассказа. Мы меньше всего подразумеваем под этим внешнюю форму повествования: представить художественное произведение как «записки» некоего рассказчика, в данном случае, охотника. Эта традиция в отечественной прозе тогда уже укоренилась. Письма, записки, дневники, рассказы путешественного или разъезжающего по долгу службы, по собственной надобности заняли в русской литературе заметное место и даже прославили ее. В художественной публицистике припоминаются знаменитые «Письма русского путешественника» Н. Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева, пушкинское «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», в беллетристике – «Повести Белкина», «Мертвые души», многие страницы романа «Герой нашего времени». Подобная форма (разумеется, у каждого автора своя, оригинальная) дает возможность свободно переходить от одной истории к другой, от одного героя к другому, рисовать широкую картину жизни. В этом смысле рассказы охотника, прошедшего вдоль и поперек поля и леса средней России, как бы приложившегося к сердцу матушки-Руси, – еще одна счастливая находка литератора, удачно выбранный вариант наметившейся в прозе формы.

Но и тут нужно знать взгляд И. Тургенева на литературное творчество, чтобы уяснить особенности «Записок охотника» с интересующей нас стороны. Писатель считал, что рассказ должен двигаться

не за счет занимательной фабулы (хотя это и не исключалось), а за счет, точнее – благодаря развитию характера героя. Он диктует автору ход повествования. Причем характер для Тургенева – это не просто поверхностно увиденный или мало интересный образ; это тип, особого склада тип, укоренившийся или укореняющийся в жизни и оригинальный по существу. Взгляд Тургенева легче понять, читая его суждения о чужих книгах. Например, об одном из произведений французского прозаика А. Доде он заметил в письме к П. Анненкову: «Роман Доде мне менее понравился, нежели Вам, вероятно, потому, что, по самой натуре сюжета, вместо типов являются одни портреты, чуть-чуть застланные прозрачной дымкой. А ведь интересны только типы...»

Более подробно высказанную мысль Тургенев обосновал в беседах с американским писателем Г. Джеймсом. Этот литератор какое-то время жил во Франции и дружески общался с Иваном Сергеевичем. Он вспоминал: «Всего интереснее были рассказы Тургенева о его собственной литературной работе, о том, как он пишет. То, что мне довелось слышать от него об этом, не уступало по значению ни замечательным результатам его творчества, ни трудной цели, которую оно преследовало, – показать жизнь такой, какая она есть. В основе произведения лежала не фабула – о ней он думал в последнюю очередь, – а изображение характеров. Вначале перед ним возникал персонаж или группа персонажей – личностей, которых ему хотелось увидеть в действии, поскольку он полагал, что действия этих лиц будут своеобразны и интересны. Они возникали в его воображении рельефные, исполненные жизни, и ему не терпелось как можно глубже постичь и показать присущие им свойства.

Прежде всего необходимо было уяснить себе, что же в конце концов ему о них известно; с этой целью он составлял своего рода биографию каждого персонажа, внося туда всё, что они делали и что с ними происходило до того момента, с которого начиналось собственно повествование... Собрав весь материал, он мог приступить к собственно рассказу, иными словами, он задавал себе вопрос: что они у меня будут делать? У Тургенева герои всегда делают именно то, что наиболее полно выявляет их натуру, но, как отмечал он сам, недостаток этого метода – в чем его не раз упрекали – это отсутствие “архитектоники”, т. е. искусного построения. Владеть не только отменным строительным материалом, но и искусством строить, архитектурной, как владели ею Вальтер Скотт, как Бальзак, – несомненно, великое дело. Но, если читаешь Тургенева, зная, как рождались, вернее, как создавались его рассказы, то видишь его художественный метод буквально в каждой строке... Этот метод тем уже хорош, что, пользуясь им, писатель в подходе к любому жизненному явлению начинает, так сказать, с давно прошедшего. Он позволяет рассказать очень многое о людях – мужчинах и женщинах...

...Однажды, помнится, говоря об Омэ – провинциальном аптекаре из “Мадам Бовари”, педанте, щеголявшем “просвещенными мнениями”, – Тургенев заметил: исключительная сила образа этого маленького нормандца в том, что он одновременно и индивидуальность, со всеми ее особенностями, и тип. В этом сочетании кроется исключительная сила тургеневского изображения характеров: его герои неповторимо воплощают в себе единичное, но в то же время столь же отчетливо и общее...»

* * *

Уже на склоне лет Иван Сергеевич писал для французских читателей о романе Л. Толстого «Война и мир»: «Вдохновенная и простая поэзия, великая любовь к правде, сочетающаяся с тончайшей чуткостью ко всякой лжи или пустословью, поразительная сила психологического анализа, а также тонкое чувство природы, непревзойденный дар создавать типы, нечто очень живое и в то же время возвышенное – вот чем определяется этот прекрасный талант, который, оставаясь сугубо русским, уже обрел в Европе поклонников, число которых будет неизменно возрастать». Может быть, найдя эти вдохновенные и точные слова для своего младшего современника, Тургенев отметил в нём те качества подлинного писателя, которые были дороги ему самому. Если это так, то он не ошибся и в оценке собственного дара, впервые так ярко проявившегося в «Записках охотника».

Алексей ШОРОХОВ

Поэт, публицист, арт-критик. Родился в 1973 году в Орле. Окончил филологическое отделение Орловского педагогического университета, Литературный институт им. А. М. Горького и аспирантуру там же. Участник событий октября 1993 года, гуманитарных миссий на Донбассе.

Автор семи книг стихов, трёх книг публицистики и культурно-философских эссе, двух книг прозы. Лауреат международных и всероссийских премий. Стихи и проза переведены на сербский, болгарский и якутский языки. Постоянный автор журналов «Москва», «Наш современник», газет «Завтра» и «День литературы», интернет-изданий «Свободная пресса» и «Русская народная линия».

Заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки». Секретарь правления Союза писателей России. Живет в Москве.

ТУРГЕНЕВ: РУССКИЙ ОТВЕТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ (Культурно-исторические типы Запада и России)

Тургенева по сложившейся традиции принято считать гениальным рассказчиком, тонким повествователем и, немного в меньшей степени, выдающимся романистом. В первую же очередь Тургенев – разумеется, поэт. И не потому вовсе, что написал ряд стихотворений (рифмованных и в прозе), а по общему пафосу своего творчества. Однако за признанным пластическим мастерством творца «Записок охотника» и «Отцов и детей» по обыкновению остаётся неоценённым в должной мере наследие Тургенева-критика, Тургенева – исследователя и толкователя основных культурно-исторических типов человечества (наметившего некоторые из них задолго до Н. Я. Данилевского и уж тем более О. Шпенглера). Об этом – не мешало бы поподробнее.

Торжество богооставленности

Известно, что Тургенев был западником (в XIX веке это отнюдь не всегда означало быть русофобом, в отличие от двадцатого и двадцать первого). Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно западная культура, известная писателю до тонкостей и воспринятая им в качестве общечеловеческой, послужила Тургеневу основным материалом для размышлений, как он считал, о человеке вообще. Впрочем, сегодня (особенно на фоне всё более очевидного конфликта цивилизаций)

можно уже совершенно отчётливо увидеть, что речь у него ведётся всё-таки о специфически западном человеке.

Итак, в 1857–1859 гг. И. С. Тургенев пишет одно из наиболее ёмких и известных своих исследований – статью «Дон-Кихот и Гамлет», где на примере двух известнейших литературных персонажей изучает два основных, по его мнению, человеческих типа. Точнее будет сказать – два последовательно сменяющих один другой культурно-исторических типа западного человечества. И вот что интересно.

Несмотря на то что Дон Кихот и Гамлет появляются практически одновременно (во всяком случае, их создатели, Сервантес и Шекспир, по странному наитию судеб даже умрут в один день – 26 апреля 1616 года*), представляют они собою не столько разные человеческие типы, сколько разные исторические эпохи в истории Западной Европы.

Дон Кихот – это католический Юг, залитая солнцем Испания («дух южного человека опочил на создании Дон Кихота»); Старый Свет на излёте своего могущества. Сознание Дон Кихота – ясный вечер; ещё тепло и тихо, но по земле уже змеятся причудливые вечерние тени; в неверном отблеске заходящего солнца многие предметы выглядят уже неправдоподобно и бредущая домой отара овец вполне может сойти за шайку разбойников, а ветряные мельницы – за великанов

Напротив, Гамлет олицетворяет собой протестантский Север («дух северного человека, дух рефлексии и анализа»); и в первую очередь – это скупая на цвета и запахи островная Англия; сюда кинуты бродильные дрожжи Нового времени; островитяне готовятся прорваться во внешний мир, готовятся к покорению и переделу старого мира; Англия готовится стать Великобританией. По сравнению с мироощущением Дон Кихота сознание Гамлета – уже сумеречное; и его мало-помалу населяют неясные тени и призраки, в каждом шорохе чудятся крысы и соглядатаи. Плата за человеческое самостояние.

Дон Кихот символизирует уходящий старокатолический мир, Гамлет – смуту (душевную и мировоззренческую), предшествующую становлению нового – протестантско-капиталистического.

Кстати, этот «новый мир» впоследствии тоже обретёт своё литературное лицо: в образе Фауста. Причём Фауст вполне законно станет третьим (то есть завершающим) в череде сменяющих друг друга культурно-исторических типов западного человечества (после Дон Кихота и Гамлета).

Ничего удивительного, что и сам образ Фауста окажется в поле повышенного внимания молодого Тургенева. Более того, одноимённая статья писателя (датирована 1845 годом), писавшаяся наряду с первыми рассказами «Записок охотника», будет нести в себе многие мысли и высказывания, которые без сомнения сегодня можно отнести к «программным» для Тургенева.

Однако вернёмся к тем характеристикам, которыми Тургенев сопровождает Дон Кихота и Гамлета (а ранее – Фауста). Поневоле приходит на ум сравнение одного современного богослова, где представителей основных христианских конфессий он делит на тех, кто сопровождал Христа до Голгофы и остался стоять возле креста (православные); тех, кто устал стоять и, отойдя немного в сторону, присел на лавки (католики); и тех, кто спустился в город, купил участки земли с видом на Голгофу и открыл там магазины (протестанты).

* Так у Тургенева.

На примере выделенных Тургеневым культурно-исторических типов совершенно очевидно это удаление западного человечества от света не-вечернего – Солнца-Христа! И если в закатном свете католичества ещё одинаково оживают небесно-голубые мадонны Джотто и уродливые химеры Notre Dame de Paris (так же как в раздвоенном сознании Дон Кихота одновременно уживаются всесовершенная Дульсинея и «грубая и грязная мужичка», реальная возлюбленная несчастного идадьго); если в сумерках протестантизма, хотя и отравленный скепсисом и критичизмом, Гамлет всё ещё сомневается to be or not be и от явного безбожия его удерживает «боязнь страны, откуда ни один не возвращался»; то Фауст в своей преобразовательной деятельности (окончательное покорение природы, торжество человеческого самостояния) уже откровенно заключает союз с дьяволом *против* Бога, и сгустившиеся сумерки сектантства завершаются всевропейской Вальпургиевой ночью с финальным гала-концертом на Брокене (Лысой горе).

Таким образом, на примере трёх культурно-исторических типов (обобщённых в литературных персонажах и выделенных Тургеневым) несложно проследить путь западного человечества от увядающего половинчатого христианства (католичество, Дон Кихот) – через сомневающееся, критическое сектантство (протестантизм, Гамлет) – к торжеству богоборческого капитализма и неоязычеству Фауста!

Тем не менее Тургенев сам понимал очевидный западоцентризм и односторонность данной картины мира, и свои надежды на «русский ответ» гамлетам и фаустам европейской истории сформулировал в собственной Пушкинской речи (1880 г.), к сожалению, гораздо менее известной, чем речь Достоевского. Но об этом – позже, а сейчас о не менее важном.

«Стерильное православие»

В последнее время как только не пытаются «подстегнуть» и «ободрить», сиречь «осовременить» явно дряхлеющую отечественную филологическую мысль. Разговоры об «амбивалентности» стали неприличны даже на провинциальных кафедрах. Среди немногих сильнодействующих инъекций, заметно ожививших содержательное поле новейших литературных изысканий, первое место по праву принадлежит новому (т. е. разумеется, «старому», «возрождённому», «дореволюционному» и т. д.) «христиански-православному взгляду» на проблематику, образный строй и другие «аспекты» литературных произведений классики и современности.

Имена Розанова, Страхова, Ильина в трудах новообращённых филологов мелькают сегодня столь же часто, как во время оно – имена Маркса и Энгельса. И едва ли не по сходным причинам. Во всяком случае, Православие сделалось сегодня в филологии такой же неотъемлемой частью «истеблишмента», как и в политике.

Тем не менее, мне кажется, что Православие Достоевского, выстрадавшее на каторге и очищенное мытарствами в петербургских трущобах, несколько отличается от «стерильного православия» большинства современных исследователей, получивших его «целиком и сразу» с библиотечных полок. Главное, не перепутать слова Христа «блаженны вы, егда поносят вас и ижденут имени моего ради» с новоявленным «респектабельным мировоззрением», гарантирующим безбедный достаток

и необременительную совесть. В том числе «научную», увешанную орденами «за многолетнее и непорочное стояние в Вере (Православии, Самодержавии, Народности) – нужное подчеркнуть).

К сожалению, ситуация «разрухи в головах», описанная Булгаковым более семидесяти лет назад, не только не преодолевается, но и, по всей видимости, ещё больше усиливается. В том числе – стараниями таких вот «православных» радетелей, беззастенчиво засоряющих современное культурное поле полуцерковным «терминологическим мусором» собственного извода. Среди многочисленных «метаной» и «синергий» недавно мне попала и «соборная личность». На роль оной претендовал то ли неистребимый Платон Каратаев, то ли кто-то ещё из прославленных «малых сих» Великой русской литературы. И претендовал совершенно напрасно.

Соборная личность

Чтобы понять это, вернёмся к Пушкинской речи Тургенева. Пожалуй, самый важный вопрос (опуская многие очень точные, а порой и бесценные наблюдения о характере поэзии Пушкина и русской поэзии вообще), которым задаётся в своём выступлении Тургенев, – это вопрос о том, «можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?». Понятно, что Тургенев вопрошает об этом, в первую очередь подразумевая создание одного великого литературного образа, который наиболее полно воплотил бы в себе тот или иной культурно-исторический и цивилизационный тип (в нашем случае русский) и был бы всемирно признан в качестве такового. Примеры Одиссея (героический период Древней Эллады), Гамлета (Реформация и религиозное брожение Северной Европы) или Фауста (попахивающая серой пробирка Нового времени), что называется, очевидны.

И что же? Ссылаясь на то, что «Пушкин не мог всего сделать и что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделённые целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу», Тургенев неутешительно подытоживает: «быть может, явится новый, ещё неведомый избранник, который превзойдёт своего учителя – и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину».

Неутешителен же вывод Тургенева (о будущем «избраннике») потому, что сделан он в 1880 году. То есть ко времени, когда уже создана вся классическая составляющая Великой русской литературы – от «Бориса Годунова» до «Братьев Карамазовых» включительно. Стало быть, ни Петруша Гринёв с Онегиным, ни Тарас Бульба с Чичиковым, ни Обломов с праведниками Лескова, ни Раскольников с Алёшей Карамазовым, ни Пьер Безухов с Платоном Каратаевым *не выразили с исчерпывающей полнотой русский культурно-исторический тип XIX века*. Однако и последующие: ни Анна Каренина (упаси боже!), ни сёстры и чёрные монахи Чехова, ни челкаши и климы самгины Горького, ни Григорий Мелехов, ни другие персонажи Великой русской литературы XX века вплоть до Ивана Денисыча с Иваном Африканычем не дали такого обобщающего образа русского человека, который был бы сопоставим с Гамлетом или Фаустом (а именно этого ожидал Тургенев). И если время от времени недобросовестные интерпретаторы (русофо-

бы) и пытаются увидеть всех русских обломовыми или же, напротив, капитанами тушинскими (это уже героизаторы), то всё равно – ничего кроме натяжки не выходит.

Хотя и безо всякой натяжки для всего мыслящего человечества уже давно очевидно, что Достоевский и Толстой – поэты всемирно-исторические, стоящие в одном ряду с Гомером, Гёте и Шекспиром. А вот гамлетов русских всё нет как нет!

Здесь, как мне кажется, происходит методологическая ошибка, и мы уже на протяжении двух веков ищем чёрную кошку в тёмной комнате, смутно догадываясь, что её вообще там нет.

Дело в том, что сам характер Русской цивилизации (православно-общинной, как мы понимаем) в корне отличается от последовательной культурной преемственности цивилизации Западноевропейской (в вульгаризированном виде – Североамериканской) от Античности с её установкой на индивидуализм и, как следствие, героизм в качестве высшего проявления индивидуализма. Так у них – от Троянской войны сквозь века Римской истории вплоть до Наполеона и Ницше.

Вглядимся же в наших героев (в военном, наиболее отчётливом смысле этого слова), что литературных, что исторических: Александр Невский («Не в силе Бог, а в правде»), смиренный инок-богатырь Александр Пересвет, капитан Тушин и добродушный богатырь-инок Иван Флягин, флота Российского архистратиг святой праведный Феодор Ушаков, а также «тихие» герои Курочкина и других авторов фронтовой прозы, «тихий» герой Чеченской войны Женя Родионов и его прообраз у Проханова – рядовой Звонарёв, наконец!

Даже в формулировках Суворова («Господу было угодно даровать русскому воинству победу») и такого сомнительного «героя» как Емельян Пугачёв («Господу было угодно покарать Россию чрез моё окаянство») – совершенно отчётливое осознание себя лишь орудием Божественной воли! То есть ничего «героического» в привычном антично-возрожденческом (Гомер, Шекспир), прометеевско-люциферянском (Гёте) смысле этого слова. И это – у бунтовщика! Впрочем, важно тут – именно *русского* бунтовщика.

Разумеется, есть в русской классике яркие и убедительные («сильные») образы зла (зло всегда более эффектно): от Печорина и Ставрогина до Вронского и булгаковского Воланда включительно. За исключением последнего – это не всегда однозначное зло; с метаниями, колебаниями. Но всегда – нерусскость, чужеродность в народном теле. Следовательно, в качестве русского культурно-исторического типа выступать они тоже не могут.

И здесь самое время вспомнить о «соборной личности». В полном (и единственном) смысле этого слова *Соборной личностью может быть только весь Русский народ, или (что то же самое) – вся полнота Русской Православной Церкви.*

То есть каждый человек, род, сословие, народность (малороссы, белоруссы, чуваша, мордва), разумеется, сохраняют свою индивидуальность, но в моменты трансисторические, сверхвременные (Божественная Литургия, война, призвание на Царство) выступают в качестве единой Соборной личности. Яркие примеры тому: призвание Рюрика и Романовых; Отечественная и Великая Отечественная война; всенародное прославление Серафима Саровского и Царственных Мучеников.

И необходимостью рассказать себе и миру о том, что является сущностью русского культурно-исторического типа, о Соборной личности –

не одном, пускай и на помаженном лампадным маслом и умильно окующем мужичке, а обо всей полноте русского народа (который без Ивана-то Карамазова неполный!) – и вызвана к жизни Великая русская литература. А Русский народ – её главный и единственный, по сути, герой. Неслучайно и то, что на такие важнейшие события, как Отечественная и Гражданская* война русская литература откликнулась именно эпосом, где и кутузовы, и каледины (но не только они!) абсолютно равны десяткам и сотням других *равнозначных* персонажей; в ситуации, когда создаётся портрет Соборной личности Русского народа в переломные моменты его существования.

Следовательно, все надежды Тургенева, а вслед за ним и целой армии «специалистов» на появление русских гамлетов и фаустов оказались тщетными. Тем не менее Великая русская литература создала и представила миру уникальный русский культурно-исторический тип – Соборную личность Русского народа. Однако, на мой взгляд, о полноте картины говорить ещё рано, так как и о соборной полноте Русского народа в условиях многовекового культурного и религиозного раскола, оглушительного атеизма и вещизма последних десятилетий – говорить тоже не приходится. Поэтому краски на портрете Соборной личности Русского народа, начатом рукою Пушкина и Гоголя, прописанном в глубину Достоевским и Толстым, насыщенном тонами и полутонами русской литературы XX века – ещё не просохли, черты лица ещё не застыли. А это значит, что у будущей (и настоящей) русской литературы, точно так же как и русской истории, есть совершенно чёткие и неотъемлемые обязательства перед её великим прошлым: закончить соборный портрет Русского народа и привести его к окончательной, вневременной уже ясности.

* Мне могут возразить, что же это за проявление соборности – братоубийственная Гражданская война? Однако стоит вспомнить, как соборно призывался (от всех сословий) на Царство Михаил Фёдорович Романов (и всё его потомство на веки вечные) и как соборно же (спустя триста лет) Русский народ (купечество, офицерский корпус, крестьянство, не говоря уже об интеллигенции) отрёкся от последнего Царя, высылая ему депутацию Госдумы, а также телеграммы командующих фронтами с просьбой об отречении. Соборным (т. е. всенародным), как это ни горько, может быть не только подвиг, но и грех. И он ждёт такого же – соборного – покаяния.

Валерий СУХОВ

Родился в 1959 года в селе Архангельское Пензенской области. Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В. Г. Белинского. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию «Сергей Есенин и имажинизм». Доцент Пензенского государственного университета. В сфере научных интересов – история русской литературы XX века, русский имажинизм, творчество С. Есенина и А. Мариенгофа, автобиографическая и мемуарная русская проза XX века.

Автор монографии «Очерки о жизни и творчестве Анатолия Мариенгофа» (2007), пяти поэтических книг. Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова (2009), Международной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (2010). В 2015 году награждён памятной медалью «Сергей Есенин».

Член Союза писателей России. Живет в Пензе.

«ВЕКОВ ТРУБЫ ЭТУ ПРОТРУБЯТ ВСТРЕЧУ»

31 августа 1918 года в Москве в здании издательства ВЦИК, где Анатолий Мариенгоф работал секретарем, произошло его знакомство с Сергеем Есениным. Эта встреча во многом ознаменовала начало целой эпохи в жизни и творчестве имажиниста из Пензы и стала импульсом для создания нового модернистского течения – русского имажинизма. А время тогда было очень тревожным. Советская власть для своего сохранения вынуждена была перейти к жестокому подавлению всех контрреволюционных проявлений. Дело в том, что накануне, 30 августа, левыми эсерами было совершено покушение на Ленина и на председателя Петроградской ЧК Урицкого. Пензяк Роман Гуль в своей книге «Дзержинский. Начало террора» подробно описал, как славящийся своей жестокостью «маленький визгливый уродец на коротких ножках Моисей Урицкий», который любил хвастаться количеством подписанных приговоров, был убит наповал эсером, молодым поэтом, одетым в кожаную куртку. После покушения Леонид Каннегисер был арестован и расстрелян в октябре 1918 года.

В «Романе без вранья» Мариенгоф так описал тогдашнюю тревожную атмосферу: «По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: МЫ ТРЕБУЕМ МАССОВОГО ТЕРРОРА».

В ответ на эти призывы к мести Мариенгоф в тот последний августовский день сочинял стихи, воспевающие красный террор. Вдруг



Леонид Каннегисер и Сергей Есенин. 1915

дверь издательства отворилась, и в комнату легкой походкой вошел желтоволосый паренек в синей поддевке. Он обратился к Анатолию:

– Доброе утро, товарищ!

И, протянув руку, представился:

– Сергей Есенин.

У взволнованного Мариенгофа перехватило дух. Ведь с есенинским творчеством он познакомился еще в

Пензе. С восторгом прочитал его поэму «Преображение», насыщенную яркими и необычными метафорами или «имажами», как их тогда называл начинающий поэт. Смелые есенинские имажи во многом определили стремление Мариенгофа создать группу имажинистов в Пензе и выпустить в 1918 году первый имажинистский сборник «Исход». Есенин произвел на Мариенгофа сильное впечатление. Особенно его порадовала есенинская оценка («лихо») только что написанных им стихов, в которых была отражена революционная эпоха с ее жестокой классовой борьбой: «Кровью плюем зазорно / Богу в юродивый взор./ Вот по красному черным /Массовый террор».

Возникает вполне закономерный вопрос: почему же Есенин обратил внимание на Мариенгофа и вскоре так тесно, по-дружески сблизился с ним? Можно предположить, что одна из причин заключалась в том, что внешне Мариенгоф был очень похож на есенинского друга юношеских лет поэта Леонида Каннегисера, входившего в группу эсеров. Того самого Каннегисера, который решил отомстить Урицкому за смерть своего товарища, расстрелянного Петроградской ЧК по делу о контрреволюционном заговоре. Этот расстрельный приказ подписал Урицкий. Бывают странные сближения. В феврале 1919 года президиум городского Совета переименовал ряд улиц Пензы. Улица Казанская стала улицей Урицкого. А ведь именно на Казанской улице стоял двухэтажный кирпичный дом, в котором с 1913 по 1918 год жила семья Мариенгофов. А Анатолий Мариенгоф не без основания на то утверждал: «Имажинизм родился в городе Пензе на Казанской улице». В Пензе Мариенгоф познакомился с Борисом Малкиным, который состоял членом ЦК партии левых эсеров и в 1917 году был редактором ежедневной газеты «Чернозём» – органа социалистов-революционеров Пензенского губернского земства. С этим изданием сотрудничал начинающий поэт Мариенгоф. Из Пензы Б. Ф. Малкин переехал в столицу в 1917 году и был введён в состав литературно-издательского отдела ВЦИК РСФСР. В 1918–1921 гг. Б. Ф. Малкин заведовал Центропечатью и оказывал содействие имажинистам в издании их поэтических сборников.

Сам Есенин в 1917–1918 годы был близок к левым эсерам, часто печатался в их газете «Знамя труда», но после их мятежа 6 июля 1918 года старался от эсеровского прошлого дистанцироваться. Возможно, именно этим стремлением подчеркнуть свою лояльность советской власти объясняется его посещение именно 31 августа издательства ВЦИК, где

он заручился поддержкой его директора, старого большевика Константина Степановича Еремеева, высоко ценившего есенинский талант.

Знакомство Мариенгофа с Есениным вскоре перерастает в крепкую дружбу. Молодых поэтов сближало стремление к созданию нового, построенного на смелых имажах, поэтического искусства. Есенину это слово «имажи», которое он услышал впервые от Мариенгофа, пришлось по душе. В образной форме Мариенгоф описал знакомство с Есениным в поэме «Встреча» (март 1920), где объяснил, для чего вступили в творческий союз под знаменем имажинизма поэт-урбанист и «последний поэт деревни». Поэт, сравнивший себя с радугой над городом, обращается к Есенину с призывом принести в городскую стихию, которую он ассоциировал с Вавилоном, все свои духовные богатства:

Город, мира каменная корона.
От зубца к зубцу с окраины и до окраины
Себя радугой над тобой гну.
В уши собираю, как в урны,
В Вавилоне чаемый
Гуд.
Шумы песен в ведрах
На грузовиках катим боль –
Кто этот мудрый отрок
Бежит от меня в поле?

Кличу:
«Гони сюда коров, овец и стада бычьи,
На тонких плечах нам носи вязанки
Зари,
Для нас сбереги в ладонях журавлиный крик
Осеннего спозаранка».

Чтобы ярче оттенить контраст городской цивилизации и деревенской природы, автор поэмы сталкивает в своеобразном поединке «асфальт» Петрограда и Москвы и «ржаное поле» крестьянской Руси. Мариенгоф использует выразительный прием образной антитезы, обыгрывая различные вариации метафоры хлеб поэзии – Божий дар. Здесь Мариенгоф



А. Мариенгоф и С. Есенин. 1919.

явно вступает в творческий диалог с Есениным. Вспомним строки есенинского стихотворения «Не напрасно дули ветры» (1917) с его программным для имажинистской мифопоэтики Есенина заключительным четверостишием, где в одном ряду – такие сакральные для него имажи:

«И невольно в море хлеба / Рвется образ с языка: / Отелившееся небо / Лижет красного телка».

В мифологии славян хлеб осмысляется как «дар Божий и одновременно как самостоятельное живое существо или даже образ самого божества». У имажинистов хлеб – метафора поэзии. Соответственно, месить тесто стиха означает творить поэтическое искусство. Так рождается цепочка развернутых имажей Мариенгофа: «Собор Исаакия – хлеб хозяйский», «Колокольня Ивана – рукоятью поднятый меч».

Отсюда: ржаное поле –
 «Здравствуй! Миллиарды золотых языков
 Веков трубы эту протрубят встречу».
 Насмерть
 Разбиться голубой чашей звездной оргии,
 Вытечь вину зари на белоснежную скатерть:
 Сегодня вместе
 Тесто стиха месить
 Анатолию и Сергею.

Мариенгоф был убежден в том, что творческий союз двух поэтов «Анатолия и Сергея» должен ознаменовать новую эпоху в искусстве. Именно поэтому со свойственным имажинистам ироническим пафосом он заявляет: «Веков трубы эту протрубят встречу». В финальном трехстрочии поэмы рождается имаж, подчеркивающий плодотворность творческого содружества «собратьев»-имажинистов, поставивших во главу угла в поэтическом искусстве образ. Так, в поэме «Встреча» Мариенгоф объяснил сущность того союза, который соединял его с Есениным. По его убеждению, это взаимно обогащало поэтов, таких разных по своему мировосприятию. На самом деле, имажинизм придал есенинской поэзии остроту новой поэтической формы, а влияние Есенина во многом определило пути дальнейшей эволюции мариенгофского образотворчества. Но критик В. Львов-Рогачевский не принял этого союза. В своей книге «Имажинизм и его образоносцы: Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич» (1921) он категорично заявил: «Ни сегодня, ни завтра не месить им вместе тесто стихов, хотя и попало случайно в чистое ржаное поле Есенина ядовитая спорынья его друга Мариенгофа». Здесь нельзя не отметить того, что автор монографии о поэтах-имажинистах сам удачно использовал выразительные метафоры. «Спорынья – паразитный ядовитый грибок, образующий в колосе ржи и некоторых других злаков черные удлиненные рожки». Критик нашел емкий образ, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие «символизма под маской имажинизма» Есенина от «футуризма под маской имажинизма» у Мариенгофа. При этом он выделил одну из ключевых «хлебных» метафор Есенина и Мариенгофа. Взаимообмен ее своеобразными вариантами стал отражением творческого диалога поэтов – имажинистов, который часто приобретал полемический характер и длился на протяжении нескольких лет.

Андрей КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ

Родился в 1989 году в Чите. Окончил филологический факультет ЛГПУ. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по этике. Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, в Российском православном университете св. Иоанна Богослова.

Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерки о русском рэпе» (2016). Публицист, философ, кандидат философских наук, старший преподаватель университета. Живет в Донецке.

КРОВЬ И ПРАХ,

или Русская «Игра престолов»

(О романе Алексея Иванова «Сердце Пармы»)

– Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крести её, живем здесь уже сколько лет – когда же она и нашей станет?

– Когда на три сажени вглубь кровью своей её напоим.

В январе 2019 года в Пермском крае начнутся съемки фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». Идея экранизировать этой книги, кажется, давно уже витала в воздухе и нуждалась в воплощении, и вот наконец, лед тронулся. Ледоход этот является прекрасным поводом поразмышлять о том, почему «Сердце Пармы» может считаться центральным историософским романом 2000-х годов и почему его экранизация может стать русской «Игрой престолов».

Роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» вышел в свет уже довольно давно, и нельзя сказать, что он остался незамеченным. Скорее наоборот, внимания к этому замечательному историческому и (и даже историософскому!) произведению было достаточно. Писательский авторитет свой Алексей Иванов закрепил после другими романами («Золото Бунта», «Вилы», «Тобол: много званых», «Тобол: мало избранных»), посвященными истории России и её пути на Восток – через Парму далее, за Урал, в далекую, неизведанную и невиданную Сибирь. И вот потекли в эти края старообрядцы, хлебопашцы, лихие и гулящие люди,

контрабандисты, дружины Ермака, сотни и тысячи русских людей, которые сделали Сибирь наконец русской землей, напоив её своею кровью вглубь на тридцать три сажени...

«Сердце Пармы» повествует о самом начале этого русского пути. О том, как русские люди двигались на Урал и, главное, как осмыслили это свое движение, свое покорение чужих земель. В романе один персонаж спрашивает другого: когда же эта земля, за которую мы воюем, на которой строим храмы, крепости и города, на которой сеем хлеб и рожаем детей, – когда же эта земля наконец станет нашей и мы перестанем её покорять? – и другой персонаж, бессмертный хумлялыт Калина, отвечает: «Когда на три сажени вглубь кровью своей её напоим».

Крови в романе льется и вправду много. Можно провести аналогию с романами Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» (которые знамениты прежде всего обилием крови и насилия). Если снять по «Сердцу Пармы» сериал, то получится русская «Игра престолов». Здесь также есть элементы фэнтези, есть и подлинная история с её реалиями, есть и свой Джон Сноу – это главный герой романа князь Михаил Великопермский, который, как и странный «инок-шаман» Калина является «хумлялытом», то есть бессмертным, потому что он прежде своей смерти должен сделать свое главное дело: «Бессмертен любой, кто не доделал своего дела».

Дело князя Михаила – дать установиться России на новой земле. На земле опасной, дикой, странной, языческой. Калина говорит князю Михаилу: «Господь всю вечность сотворил, а мы её только на неделю и поняли, да и то последний день – отдых... А там, за горами, – то, что у Бога дальше было, нам не понять. Тут мы без Бога остаемся, лицом к лицу с вечностью...»

О чем эти рассуждения? О божественном деянии, о творении мира и о том, что происходит после: покидает ли Творец свое творение и оставляет Свою тварь наедине с сотворенным, или же участвует далее в жизни твари? Это вопрошание о том, что же кроется там, горами, за лесами, что там далее, за Пармой? Неведомые холодные, еще более дикие просторы, Сибирь, куда пролегает путь русских. Неслучайно после у Иванова последует серия книг о Сибири: «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», история покорения Сибири «Дебри».

В «Сердце Пармы» много говорится о том, как трудно найти язык для проповеди христианства диким языческим народам: «Питирим пересказал им (христианские истины язычникам-пермякам. – А. К.-Л.) своими словами, поражаясь, как святотатственно звучит его переложение на чужой язык и чужой быт». Язычники ответили епископу: «Ты говоришь непонятные нам вещи. Что такое грех? Человек идет по судьбе, как по дороге. С одной стороны – стена, с другой – обрыв; свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда такое – грех?» – Здесь языческий фатализм сталкивается с христианской философией свободы. Судьба и свобода – две главные темы романа. Причем и судьба, и свобода применяются к Родине. Родина предстает и как судьба, и как свободный выбор для главного героя, который должен вместить в себе и страшную религию свободы, требующую от человека невероятных дерзаний духа, и поистине детское принятие судьбы у язычников-пермяков. «Они (язычники-пермяки. – А. К.-Л.) дети душой, – убеждал себя Питирим. – Не по злонамерению богохульствуют, а по неведению...» Дети без отца, посреди дикого мира. Враждебное пермякам племя вогулов, тоже язычников, убивает Питирима, христианского проповедника:

«Владыка оставался один, распятый над снежным берегом, только он – и огромная река да, может, еще где-то и Бог». С точки зрения автора в этих землях русские действительно действуют в одиночку, без Бога, они остаются наедине с холодной бесконечностью дикой природы, и с её детьми, язычниками.

В это пространство, где еще нет Бога и где бродят дети-язычники, убивающие пришедших к ним христианских проповедников и богохульствующие не по злонамерению, а по неведению, – в эту дикую и безбожную землю всматривается главный герой романа, князь Михаил. Вот как автор описывает своего героя: «Ему нравились не ратные подвиги, а именно та нерусская жуть, с которой богатыри боролись. И когда отец вдруг поменял княжество, перевез свой двор и стол куда-то на край земли, за синие леса <...>, когда Миша впервые увидел на обрыве над темной рекой частокол пермского городища, эта самая нерусская жуть словно холодом из пещеры дохнула ему в лицо. Отец привез Мишку в сказку».

Но эта сказка злая, темная сказка, жуткая. Потому маленький князь сразу понял, что главные враги русских в этих диких землях вовсе не язычники-пермяки или язычники-вогулы, и вообще не язычники, вообще не люди; маленький князь, которого тянуло к этой «нерусской жути», понял, что «за стенами острогов русские прятались от чего-то другого, незримого – от чего стены, наверное, и не могли защитить». «Миша понял, что далеко не сказочно всё это – добро, зло, человеческие дела. А потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро, и что есть зло, и что надобно делать». Затем молодому князю придется столкнуться с этим выбором, и столкнуться с внешними силами, которые будут навязывать ему свой собственный выбор, будут заставлять его позволить сделать с ним то, что они хотят. Будет заставлять Москва, потом будет заставлять Парма, потом снова Москва, а еще Совесть, Свобода, Долг, Судьба... Князь, главный герой эпоса, окажется в месте пересечения многих дорог, в эпицентре сражения между гигантскими силами, на границе между христианским миром Свободы и природным, диким миром слепой Судьбы, которая не знает никакого выбора. Князь окажется между молотом и наковальней, между имперской волей Москвы и дикой и слепой волей Судьбы, Природы... И когда в начале романа маленький князь смотрел, как язычники-вогулы сжигали город его отца, то он не плакал, потому что «чувствовал, что пламя этого пожара еще осветит всю его жизнь, а пока что оно уже высушило все слезы».

В романе нет манихейства в рассуждениях о религии, хотя в речах языческих шаманов очень часто прослеживается эта линия, мол, все боги одни и те же, и в итоге они лишь персонификация некоей высшей силы, которой и вовсе нет дела, как её воспринимает человек, она просто действует, и действие её неумолимо. Так, в эпизоде, когда князь Михаил видит шамана, приносящего в жертву щенков, очень хорошо видна позиция автора, которую выражает Калина. Князь, глядя на щенков, которых закалывает шаман, думает о том, что эти щенята «просто искорки, которые старик бережно выпускает в остывшие за долгую зиму угли жизни, такой хрупкой и быстротечной». В это время к князю подходит Калина и говорит: «А наш Христос не та же ли искра? – вдруг спросил Калина, шагавший рядом. – Только такая, что веки не погаснет».

Князь при этом сомневается, что Христова вера нужна пермякам-язычникам: «Михаилу потом еще долго не давала покоя мысль о предстоящем крещении пермяков. Он вглядывался в себя: не потерял

ли в нем христианин? Нет, вера в нем не пошатнулась. Но здесь, в дремучей Перми Великой, где городища стерегут тайгу, Христова вера была пока еще ненужная, излишняя. Люди, верящие в зверей и демонов, не примут богочеловека. Богов принимают лишь тех, что вырастают из своей земли. А здесь вырастают идолы, а не иконы»

Судьба и свобода переплетаются в действиях князя, интерпретируются по-разному разными сторонами, каждая из которых претендует на его верность. Москва велит ему идти на вогулов и взять вогульского князя Асыку. Это державная воля, это державный долг князя. Супруга князя, ламия (то есть женщина-ведьма) Тиче просит его остаться и не ходить на вогулов с войной:

- « – Прошу тебя, Михаил, любимый мой... – шептала Тиче.
- Там погиб мой брат, – сказал князь, зная, что ламия услышит.
- Судьбе не мстят...
- Это не месть... это совесть, Тиче...
- Ты не виноват в его гибели... А боль пройдет...
- Совесть – это не только когда болит. Это когда делаешь»

В князе Михаиле совесть как свобода преобразуется в его судьбу, в его действие и шире – в его Дело. Это дело покорения новых земель, дело, которое не им начато, но это его дело. Дело, которое он должен окончить. «Бессмертен любой, кто не доделал своего дела». Но Дело, которое тебе дает Судьба, может стать твоим только тогда, когда ты свободно его примешь. И главный герой значительную часть своего пути как раз пытается свободно принять Дело, которое дается ему Судьбой. Это сопряжено с крайностями. Он то бунтует против судьбы, то покоряется ей (ни один из вариантов не верен), он то бьется с москвитями против вогулов, то вместе с пермяками и вогулами обороняет Чердынь от московских ратей...

Невыносимая русскость бытия во всех своих крайностях выражается в жизни князя Михаила, который оказался наконецником на победоносном русском копье.

Историческое движение Русской империи к новым землям коснулось его княжеской судьбы, прошло через его сердце, чтобы это одно сердце смогло свободно направить русскую волю вперед и в этом направлении отыскать свою судьбу, реализовать свою свободу. Так и отыскивает свою судьбу князь Михаил, когда он к концу романа отбивает атаку язычников-вогулов на Чердынь при помощи пермяков и затем подошедшего подкрепления от Москвы, а сам гибнет от стрелы вогульского князя Асыки. Гибнет, потому что он сделал свое Дело, позволил русской державной воле двинуться вперед и покорить новые земли, привнести в эти земли Христову веру.

Михаил спрашивает себя перед решающим боем о том, какие силы еще в нем остались? «Бог? Русский Бог ничего не объясняет, попросту разрубая узел волшебных нитей равнодушным мечом прощения. А пермские боги похожи на половцев, что привязывали пленников к хвостам диких кобылиц, – они мчатся по дороге судьбы и не останавливаются, даже не задержат бега, если обессиленный человек споткнется и упадет». Вновь и вновь в романе возникает мысль о судьбе и о том, как в своей судьбе найти место своей свободе.

В конце концов, это вопрос не только о судьбе князя Михаила, это вопрос о судьбе России. И князь это понимает. Калине он признается в своих поисках: «Как же мне, князю, к своему народу путь найти? Как нам, русичам, с ними ужиться? Как же, в конце концов, людей любить,

не этих или тех, а всех?» Вот опять же странное пересечение судьбы и свободы, судьбы и совести, совести и воли... «Любить не этих и не тех», т.е. не русских и не пермяков, не кого-то из них, но всех! Это очень по-русски, всечеловечески, но до того как Достоевский высказал эту формулу, что русский это всечеловек и всечеловечность есть сама идея России, до этого был долгий путь к тому, чтобы эта формула смогла реализоваться. Вот о чем спрашивает князь. Он спрашивает о будущей русской идее.

Этот путь к русской идее и вообще к России в романе выражает князь Михаил. Князь созерцает судьбу, свободу и смерть, прежде чем сделать их своими. Характерен эпизод, когда на обратном пути после похода на вогулов пермяки вместе с русскими ратниками по «зимнему закону» топят в проруби раненых, чтобы смочь двигаться дальше. «Князь смотрел на это и не чувствовал в себе ужаса. Он слишком пристотрелся, притерся к смерти». Потому что смерть всегда идет рядом с судьбой, задает ей пределы, даже сотрудничает: «Бессмертен любой, кто не доделал своего дела».

Князь Михаил в итоге заслуживает уважение язычников-пермяков. Так, князь Пемдан, мудрый языческий старик, отвечает пришедшим покарать князя Михаила за своеволие москвитам: «Я отвечаю на те вопросы, которых ты не можешь задать. Мы уважаем князя Михаила за разум и справедливость. Но мы не пойдем защищать его от вас, потому что рознь между вашим хаканом Иваном и князем Михаилом рождена не пармой и парме не нужна. А мы поклоняемся Пантегу – кедровому духу пармы. Но в знак уважения мы не предадим князя Михаила и не пойдем против него с вами. Если князь Михаил отстоит себя, мы будем рады. Если нет, то поможем ему, но как человеку, а не как князю. Если князь Пестрый будет побит, мы с миром выпустим его вон, хотя на нем кровь людей Уроса; но мы не будем мстить. А если он победит, то мы будем смотреть, справедлив ли он в княжении. Если нет, тогда возьмем за меч. Если да – то будем давать ясак, как и прежде. Но это не значит, что мы ему покоримся. Мы просто примем его как часть своей судьбы, а ей мы и без князя Пестрого покорны. Я понятно сказал?» Однако это уважение к князю Михаилу со стороны язычников-пермяков не есть еще присоединение их к русским, язычники все еще говорят о своей судьбе и о принятии русских как части своей судьбы. Русские же пришли сделать так, чтобы их судьба и судьба язычников-пермяков стала общей.

Князь Пемдан говорит очень понятно, причем настолько, что в его речи, которая носит характер прежде всего политический, есть место и этике (не предадим князя и поможем ему как человеку), и метафизике (примем нового князя как часть судьбы и покоримся ему как судьбе, то есть и не ему даже, но судьбе, которой они и так покорны). Вообще у Алексея Иванова есть тенденция к тому, чтобы больше внимания уделять описанию языческой мудрости. Быть может, эта мудрость даже более симпатична автору. Например, епископ Иона изображается не мудрым стариком, а безумцем, исполненным надрыва и боли, и в то же время сознанием своей миссии. Собственно, епископ в итоге и вправду становится безумным и гибнет в бою с языческим идолом. Вот как автор изображает этот бой христианского миссионера с языческим истуканом, бой в огне: «Вокруг епископа затрещал воздух, края рясы начали обугливаться, но Иона этого не заметил. От пота его лицо и обнажившиеся из рукавов руки засияли в огне, как медные. Иона

рубил идола – последнего в своей жизни». Безумный епископ, переступивший законы морали, «преодолевший этику» (убийство своего же единомышленника, поджог Чердыни, затем убийство скудельников), в итоге гибнет, уничтожив при этом и языческого идола.

Князь Михаил, долго проживший среди пермяков-язычников, среди их языческого мудрого спокойствия и честной, прямой вольности, в какой-то момент забывает об этом русском проекте, о русском движении вперед, о русской боли и русском надрыве по еще не ставшему, но предвосхищаемому русскому царству. «Михаил задыхался, думая о московитах. Где-то там, за семью далями, они варились в своем котле, за кого-то дрались, к чему-то стремились, но все это было далеко, было ихнее, не пермское». Московиты дрались где-то и за что-то, суетились, строили, бредили свои русским проектом, совсем не так было в Парме: «Дикий еловый край, увалы и утесы, ледяные реки, заповедные чащи, дожди, низкое небо и белые ночи, капища, идолы, городища, курганы, колдуны... И народ – тихий, спокойный, задумчивый народ, словно вечно вспоминающий свое отшумевшее время; народ, владеющий золотом, самоцветами, мехами, рыбьим клыком...»

При этом Михаил был готов воевать за Москву, он воспротивился Москве не потому, что ему был чужд дух московский, просто Михаил хотел других отношений с Москвой: «Если бы Москва объяснила свои беды, если б попросила добром – он согласился бы. Он тоже русский и молится тому же Христу. Он бы дал двойной, тройной ясак, он послал бы в помощь полк, он сам пошел бы простым ратником куда угодно и, наверное, целовал бы крест Великому князю. Но Москва не пожелала заметить, что у него, у его людей, у их земли тоже есть душа». Князь думает о душе своего народа, о душе Пармы, которую следует не подавить, но соединить со своей, русской.

Но Москва не поймет князя Михаила, во время битвы с московитами князь будет думать так: «Московиты победят, потому что на их стороне судьба. Но если судьба уже предрешена, зачем же она завела его, князя Михаила, сюда, на Искорскую гору? Зачем? Для чего? Что ещё ей нужно от князя? Да, он согласен идти в потоке своей судьбы. Он не дурак, чтобы переть против течения, не трус, чтобы выбираться на берег; не глупец, чтобы искать другую судьбу; не безумец, чтобы торопить её бег; не малодушный, чтобы влачиться безвольно... Он хочет именно идти одним ходом – осмысленно, твердо, до конца. “Чего же тебе, сова, от меня надо?”». Это едва ли языческая мудрость, хотя видны попытки автора представить дело так, что этой мудрости князь набрал в свое сердце от Пармы. Это вечная мудрость стоиков: посреди тотальной необходимости отыскать пути для свободы. Есть судьба, и течение судьбы понесет тебя туда, куда ему надо в любом случае. И князь видит, чувствует это течение и его силу, чудовищную, нечеловеческую. И в то же время он делает выбор и принимает направление этого течения, не смиряется с ним, но избирает его вольно и смело. Волю Судьбы свободно принимает как свою собственную волю. В этом его княжье и человеческое, русское достоинство, единственно возможное в его ситуации: «И у него только одно оружие против всех бед, обмана и зла, только одно доказательство существования своей души и себя самого на земле – достоинство. Он – человек, живущий в мире людей по людским законам, а людской мир – это толчея волн над глубинным и ровным течением судеб. Пусть его судьба видит, что князь принимает её не как раб, не как влюбленный, не как мятежник и вор. Князь

принимает её с достоинством». И далее: «Пусть он знает свою судьбу и пусть судьбе безразлично, каким он пройдет свой путь, – ему это не безразлично. Он пройдет свой путь с достоинством». «Говорят, судьба не дает выбора. Это неправда. Судьба дает выбор. Судьба дает выбор, но настоящий выбор только один». И князь принимает этот единственный выбор, принимает свое поражение от москвитов, принимает будущую войну, которую он станет вести за Москву и за Россию против нерусской жути, которую следует подвинуть, чтобы родилась Россия.

В Парме можно безнадежно запутаться в судьбе (как один из персонажей романа Вольга), но можно и обрести судьбу, как князь Михаил. Но это не благодаря Парме и языческой мудрости, а благодаря самому человеку! Не Парма и не Москва дали князю его судьбу, судьбу ему дал его собственный выбор. Судьбу дает свобода.

Накануне осады Чердыни москвитами Калина говорит одному из московских ратников: «Вы, москвиты, больны. Вы захватываете огромные земли, а сами разделяетесь на всё более мелкие части – на княжества, на города, на владения бояр. У вас только один исцелившийся человек – ваш великий князь, поэтому боги даруют ему победу за победой». Вольга, запутавшийся в своей судьбе и бежавший от своего стана, спрашивает Калину, как ему излечиться? Калина отвечает: «Я тебе скажу, как считаем мы. Все душевные болезни лечатся любовью к родине. Перестань врать себе и другим, трезво оглядись по сторонам и зажги в своем сердце эту любовь – ты удивишься, насколько проще тебе станет жить и как ясен делается мир».

А вот разговор Михаила с великим князем Василием, единственным исцелившимся человеком, по слову Калины. Василий говорит, что хочет «все народы перемешать, чтобы по всем нашим землям от Смоленска до Чердыни не было чердынцев, тверяков, москвитом, не было чудинов, литвинов, русинов, – а все были русские!» Здесь Россия – проект. Россия – это мечта, поэтому она или в будущем, или в прошлом. Здоровое отношение к мечте полагает её в будущем. Россия нам еще только предстоит. Князь Михаил потом сам скажет язычникам то, что сказал великий князь Василий ему в каземате: «Русский народ по-настоящему еще не родился, хотя мы и зовем всех москвитов “роччиз” – “русские”. Русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы – и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев...».

Как видно, князь Михаил сильно переменялся после своего поражения от москвитов: «Иван Васильевич и Фёдор Пёстрый его не научили, потому что не было в них духовного превосходства, – но научила судьба. И еще научил Нифонт, у которого судьбы не стало. Он научил Михаила жить на своей земле и идти к своей правде через все препятствия. Эта правда – если, конечно, до неё дойдешь – и оправдывает насилие». Не свое то есть насилие, а все то зло, которое случилось с тобой. Причем оправдывает только для тебя, а не для тех, кто творил.

После возвращения из московского плена князь Михаил проходит долгий путь, от пути крови он отходит к пути праха: ведь землю можно сделать своею не только напоив её своею кровью на три сажени вглубь (это путь войны), но есть еще и путь мира, когда землю мы устилаем поверху своим прахом. Пашем эту землю, сеем в нее свое семя, взращиваем хлеб, едим его, затем умираем в эту землю, становясь её частью. Князь Михаил уходит на время от пути крови и войны к пути праха, мира и покоя. Но судьба вновь призывает его к активному

строительству и затем к войне. Все-таки уложенный в землю прах следует пропитать не только потом, но и кровью...

Но перед этим князь восстанавливает Чердынь: «Михаил смотрел на стройку, и ему казалось: нет, не бой на Искорке, а вот это время – самое главное в его жизни. Время, когда возрождается Чердынь, первая, самая надежная русская застава навстречь солнцу». Значит, не сломала Михаила Москва и великий князь, не сломали, но укрепили, и не они даже, а сама судьба, которую он избрал себе. Судьба русского князя, судьба, которая проводит, как электропровод, мощный заряд русской энергии. Таким электропроводом и явился князь Михаил.

Антагонист главного героя, вогульский князь Асыка, знает выбор князя Михаила, чувствует его, потому что его дело, которое делает его бессмертным до тех пор, пока он его не завершил, это убить князя и не дать ему провести через себя эту мощную русскую энергию в новые земли. Эпизод переговоров князя Михаила с Асыкой это ясно демонстрирует:

«– Какое у тебя еще дело? – мрачно удивился Калина.

– Убить кана Михаила и сжечь Чердынь.

– Почему ты меня ненавидишь? – устало спросил Михаил. – Ты убил моего отца, сгубил брата, отнял жену. Разве тебе мало?

– Ты не прав, – возразил вогул. – При чем тут ненависть? Я тебя уважаю. Мои потомки будут гордиться, что их предок убил русского кана, который вел за собой на каменные горы Русь. Дорогу для неё топчут ваши пахотники, воины, шаманы, но ведешь их ты». Вот самая ясная формулировка того Дела, той Судьбы, которую избрал и осуществляет князь Михаил – вести за собой Русь на Каменные горы. И Асыка это понимает. Они оба хумляльты, бессмертные до той поры, пока не сделают своего дела.

Оба этих дела, Русское Дело князя Михаила и Дело язычника-вогула Асыки, схлестнутся в финальной битве. И Дело князя Михаила победит. Потому что в этом деле Судьба и Свобода соединились, соединились московиты и пермяки, соединились в русских. И потеснили ту самую нерусскую жуть, которая так поразила князя в детстве и которую олицетворял вогульский вождь Асыка.

Когда во время осады Чердыни вогулами силы обороняющегося князя и его воинов уже истопились, пришла подмога из Москвы. «Русь, Русь пришла!.. – закричал Михаил». Но это пришли не московиты в красных плащах, которые осаждали его на Искорке, хотя фактически пришли именно они, по-настоящему же это пришла Русь, и князь Михаил это осознал.

Князь Михаил довершил свое дело, он привел Русь на Каменные горы. А Асыка и язычество проиграли, Асыка не сделал свое дело, не сжег Чердынь, не остановил князя. Русь пришла в Парму, затем отправилась в Сибирь и постепенно в этом своем походе стала Россией, московиты-русичи и пермяки вместе стали русскими, и дикие земли стали их, нашими землями, потому что мы устелили их своим прахом, который время превратило в перегной, и напоили своею кровью вглубь на три сажени.

Лариса МИРОНОВА

Родилась в 1947 году в Германии, в семье советского военнослужащего. Окончила физический факультет и факультет психологии МГУ, отделение философии Французского университетского колледжа и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

Автор более 40 книг: научные монографии, эссе, сценарии, поэзия и проза (на русском и французском языках). Награждена медалями имени М.Ю. Лермонтова и имени А.С. Грибоедова.

Член Союза писателей России. Живёт в Москве

ЭД ПОБУЖАНСКИЙ: «Я СЛОВАМИ ЛИШЬ И ОБРАЗОВАН»

Новый сборник стихов Эда Побужанского называется «Между слов» (Москва: издательство «Образ», 2018), а то, что между словами находится, именуется контекстом. Вот о нём и пойдёт речь.

Сборник имеет подзаголовок – «Юбилейное неизбранное», хотя трудно себе представить, чем отличаются те и другие стихи (избранные от неизбранных). Читаю уже не первую книжку стихов этого поэта, знаю которого уже четверть века, вижу, как он меняется, растёт над собой, но поделить его стихи на хорошие и плохие как-то не получается. Все они хороши, так или иначе.

Но мы о контексте хотим поговорить. Каков он? Контекст в стихах может быть важнее сюжета. Контекст – это глубина и широта поэтической мысли, то самое место, откуда корни стихотворения произрастают.

В этом сборнике больше стихов, которые традиционно относят к гражданской лирике, а Эд мне знаком в первую очередь как певец любви, тонкий исследователь отношений. Некоторые его образы, однажды попав в наше сознание, никак оттуда не стираются. К примеру, мальчик, лежащий поперёк разложенного дивана, как будто палец на губах (ведь никто не должен узнать, что к его маме пришёл молодой любовник), так и стоит у меня перед глазами все эти двадцать пять лет. В этом образе всё – и беспомощность, и трагичность, и указание на твою ответственность, а то и вину... Надо уметь так увидеть.

Образы, рождённые в стихах, и стихи, порождающие образы, это перетекающие одна в другую две близкородственные стихии. И в этих бесконечных переливах где-то затерялся поэт, творец и создатель этих стихий, ими же и питающийся, ибо для поэта его поэзия и есть та самая духовная энергия, которая даёт ему силу жить. Запрети поэту писать

стихи, и он уже не сможет быть самим собой. Станет кем-то третьим. Почему — третьим? Потому что лишним.

Ибо первые два — он (поэт) и дитя (рожденная им поэзия), с этого момента живут уже своей собственной жизнью.

А когда поэту становится всё до лампочки, значит, что-то в душе не контактит, не искрит и не производит образы. Так что лампочки иногда гаснут как раз для того, чтобы осветить потемки нашего сознания — яркой вспышкой замыкания. И тут, при этой вспышке, загрузивший в немощи безделья поэт вдруг обнаруживает на дне чемодана «пару ненадёванных крыл», и вот, отряхнув с себя (или вытряхнув из себя) пепел да прах, он берёт и пишет новую книжку стихов, да ещё каких!

Таких, что «глас твой — стучит в перепонки», про то, что «нет правды в удушливой злости», и про то, что «вера... слаба», а при таком раскладе аж «искрят от неискренности слова». Тогда вспоминается друг, от которого ждёшь «весточку с собакой вестовой», и всё для того лишь, чтобы убедиться, что у друга всё хорошо, что с ним «и бог, и блог, и мама, и вайфай». Последнее особенно важно. Можно сказать, основа основ. А когда ты уверен, что друг твой не один, «как в скверике на лавке», и расстояние между вами — вовсе не расстояние даже, а всего лишь один клик, то тут открываются весьма радужные перспективы такого общения (не видно седин хотя бы, воображение абсолютно разнузданно может рисовать самые радужные картины) в том волшебном пространстве, где «мёртвая ссылка» — это «ключ от двери в доме, который снесли». А если случится такое, что с вайфаем что-то неладно, и отсох смартфон по этой причине, то у тебя сразу появляется шанс «друг на друга посмотреть...» и «как будто случайно к оголённой руке прикоснуться». А это, согласитесь, уже совсем другой колер.

Жизнь как она есть предстаёт перед читателем сборника «Между слов», рождая в душе читателя то тоску, замешанную на грусти, то радость, переполненную нежностью. «А что вы, собственно, хотели, от отпрыска страны недалёней?»

Эд Побужанский, чьё детство и юность прошли на солнечной земле молдавской, всё же не только молдавский поэт, которым может по праву гордиться его малая родина, но и отличный русский поэт, потому что Эд прожил в Москве, где и были изданы его последние книги, целых двадцать пять лет — ровно столько же, сколько прожил он и в Молдавии. Так что юбилей у него получился двойной. С чем его и поздравляем.

Стихи по кругу

Евгения ОРЕХОВА

Нижний Новгород

О деревянном доме и торговом центре

Сжатый новостройкой тихий островок,
Старый дом уснувший дряхл и одинок.

Флюгером приветив в яблони дыму,
Вспомнит с другом ветром жизни кутерьму...

Задержав в окошке прошлого глоток,
Душу городскую спрячет под порог.

В пламени заката с песенкой дрозда
Проскрипит о детях, севших в поезда.

Не однажды звёздно-лунною порой
Зачарован будет скрипача игрой.

Для своих хозяев и погост, и зыбка,
Он уйдёт в дорогу с мудрою улыбкой.

И стекло-бетонный гляцевый сосед
Не вздохнёт украдкой. Не заметит, нет...

Сергей СКУРАТОВСКИЙ

Нижний Новгород

* * *

Есть часы, страшные, как печать.
Ее не сломать, не соскрести сургуч.
Смотри на часы, ты должен смотреть и молчать,
И вот секундная стрелка превращается в луч
Медного солнца, забытого в грязном окне.
Все будет вовремя, и не важно, когда
Сварятся макароны на небольшом огне...
Сухой можжевелевой веткой к тебе потянулись года.
А дальше, под метроном, тебе сплет твою кровь
Странную древнюю песню гиперборейских теней,
И сказано в ней, что время – это всего лишь бог,
Заточенный между пяти часовых камней.

Не сгорят

Разбитое окно – запасный, быстрый выход
 В сырую плоть небес, из немоты в стихи,
 В разлитую сирень, где слово – это выпад,
 En garde, моя весна! Не так уж и плохи
 Дни каменной тоски, где вечность так гранитна,
 Где лишь прямая речь, как комариный звон,
 Зависла над свечой. С трудом, но было видно,
 Сквозь ребра, сквозь бетон единственный закон,
 Что бьется против тьмы. Примерный ритм ноль восемь.
 Империя проста, ее кумир – число.
 Сквозь восемь раз по семь весна постигнет осень.
 Так думал Велимир. Я – меряю веслом
 Сегодняшний разлив. И птичий крик тревожит
 Озоновую ночь, просодию корней.
 Слова ведь не сгорят, когда я буду прожит,
 Они растут в земле, они парят над ней.

Валерий СЕРЯКОВ

п. Башмаково, Пензенская область

Останемся

Мы останемся чем-то на этой земле:
 Поминальной молитвой, свечой на столе,
 Фотоснимком в альбоме, и креслом в углу,
 И плащом на стене, и ковром на полу,
 Песней той, что друзья, собираясь, поют,
 Третьей рюмкой, что стоя, не чокаясь, пьют,
 Болью в памяти дочки, печалью жены,
 Оборвавшимся эхом гитарной струны,
 Пустотой неоконченных рваных стихов,
 Недописанных строк, недосказанных слов,
 Нерешённым вопросом о смысле пути,
 На который никто не ответил почти,
 На который и сам я ответа не дал:
 Для чего я родился, любил и страдал?

Соловьи

Куда уходит отгоревший день?
 На занавесках – тени от ветвей.
 Ты знаешь, нашу старую сирень
 Облюбовал залётный соловей.
 Любимая, взгляжусь в твоё лицо,
 Как в омут, окунусь в глаза твои.
 Давай, родная, выйдем на крыльцо,
 Когда зайдутся в трелях соловьи.
 Мы сядем на ступенечках вдвоём,

Оставив все заботы и дела.
Давай с тобой, родимая, споём,
Как по селу казачка утром шла.
Не попоём, а громко покричим,
Как носит Галя воду из ручья.
А может, лучше просто помолчим –
Послушаем рулады соловья.
И все тревоги унесутся прочь –
За облако в серебряных лучах,
Когда качнётся бархатная ночь
Цыганской шалью на твоих плечах.
И будут соловьи свистать в тиши,
Дробить коленца в вымерших садах,
На струнах тихо плачущей души
Играть, как на поющих проводах.
А мы с тобою, позабыв про сон,
Обнявшись, будем слушать без конца
И ощущать, как бьются в унисон
Твоё с моим усталые сердца.
Я никому не пожелаю зла,
О всех, кого обидел, восскорблю.
Прости меня, Господь. Не за дела,
А лишь за то, что верю и люблю.

Игорь ЛУНЁВ

Санкт-Петербург

* * *

Человечек человечку волчок.
Человечки друг дружке дают толчок –
Да вы сами слышали: «Чок!»
Дальше кружатся человечки,
Танцуют, как могут, от печки и к печке –
Хорошо, если был не сильным толчок,

Если не пострадал ничей бочок,
Если ни у кого никто не урвал клочок...
А вот как научаются человечки
Встречаться да друг друга беречь,
Тут и тают тоски колечки,
Наполняется смыслами речь.

* * *

я зашёл купить пирожок
старушка в зелёном платке
устроилась на краешке стула
глаза
карие камешки глубоки
как воспоминания о море

дрожит вокруг них кафетерий
к далёким островам
уплывают согретые мысли
тихие черепахи

* * *

Вспоминаем эпоху, лайкаем фотки,
Произносим модное слово «флешмоб»...
Вот в былые годы плавал я в лодке,
Чем-то очень смахивающей на гроб.

Как и нынче, было много течений,
Не всегда поймёшь – грести, не грести.
Спазмы нервные – следствия тех приключений.
Вот и нынче свербит, как взаперти.

Не хочу держать это, не могу,
Отпускаю, сижу и дрожу
На берегу.

* * *

не откладывая на потом
ночной снег
гляди на него, засыпая
молись благодарно
так Господь утешает тебя красотой
с неба тихо плывут корабли
чтобы в белых полях
претворятся в пушистые звуки
проложенных робко тропинок

Андрей ГАЛАМАГА

Москва

Баллада про двери

Видно, все премудрости не впрок нам,
А тем паче, если кто упрям;
Я всегда был равнодушен к окнам,
И питал пристрастие к дверям.

Время не торопится меняться.
Скажем, вор, что раньше, что теперь,
Норовит тайком в окно забраться,
А хозяин входит через дверь.

И в лесу пустом и одиноком
Можно, чтоб укрыться от зверей,

Наскоро поставить дом без окон,
Но нельзя оставить без дверей.

Все мы чересчур несовершенны,
Бог – за нас, но и соблазн – силен;
Слишком часто нас глухие стены
Окружают с четырех сторон.

Грех роптать на чью-то злую прихоть,
Коли жизнь – ни две, ни полторы.
Будет дверь – отыщется и выход
Даже из безвыходной игры.

Но однажды – дверь запрут снаружи
На железный кованый засов.
Я решу, что никому не нужен,
И погибну там, в конце концов.

И не все ль равно, во что я верю;
Только спор останется за мной,
Я умру перед закрытой дверью,
А не под бессмысленной стеной.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Арзамас

* * *

Вот дождь пришёл из ниоткуда,
Нахлынул на октябрьский вечер
И в небе появилась вечность
Космической расцветки. Скука
Развеялась. Запахла осень
Листовою спелой и промокшей.

И стало всё вокруг хорошим –
Как не было печали вовсе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 03.10.2018.
Выпущено в свет 25.10.2018.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13